

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Роман¹

Один из людей, стройный силуэт которого вырисовывался в ночи, взглянул на арку ворот и тихо сказал:

— Здесь будет в самый раз...

Маленький худенький мальчик, ловко снуг острыми локтями и коленками, взобрался на арку, некоторое время повозился на самой ее середине, и вдруг Фомин увидел высоко над собой толстую веревочную петлю, раскачивавшуюся в рассеянном мутном свете неба.

— Закрепи двойным морским, — сурово сказал снизу мальчик постарше с торчащим в небо черным козырьком кепки.

Фомин услышал его голос и вдруг представил свою горницу на Шанхае, обставленную кадками с фикусами, и плотную фигуру сидящего за столом человека с крапинами на лице, и этого мальчика. И Игнат Фомин стал страшно извиваться на мокрой холодной земле длинным, как у червя, телом. Извиваясь, он сполз с места, на которое его положили, но человек в большой куртке, похожей на матросский бушлат, приземистый, с могучими руками и неимоверно широкими плечами, ногой пододвинул Фомина на прежнее место.

В этом человеке Фомин признал Ковалева, вместе с ним служившего в полиции и выгнанного. Кроме Ковалева, Фомин узнал еще одного из шоферов Дирекциона, тоже сильного широкоплечего парня, которого он еще сегодня видел в гараже, куда забегал мимоходом перед дежурством прикурить. Как ни странно это было в его положении, но Фомин мгновенно подумал о том, что, должно быть, этот шофер является главным виновником непонятных и многочисленных аварий машин Дирекциона, на что жаловалась немецкая администрация, и что об этом следует донести. Но в это мгновение он услышал над собой голос, который тихо и торжественно заговорил с легким армянским акцентом:

— Именем Союза Советских Социалистических республик...

¹ Продолжение; см. «Знамя» №№ 2, 3, 4, 5—6, 9, 10, 1945 г.

Фомин мгновенно притих и поднял глаза к небу и снова увидел над собой толстую веревочную петлю в рассеянном свете неба и худенького мальчика, который тихо сидел на арке ворот, обняв ее ногами, и смотрел вниз. Но вот голос с армянским акцентом перестал звучать. Фоминым овладел такой ужас, что он снова начал дико извиваться на земле. Несколько человек схватили его сильными руками и подняли в стоячем положении, а худенький мальчик на перекладине сорвал полотенце, стягивавшее ему челюсти, и надел ему на шею петлю.

Фомин попытался вытолкнуть кляп изо рта, сделал в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва не доставая ногами земли, в черном длинном пальто, застегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его лицом к Садовой улице и английской булавкой прикрепил на груди бумажку, объяснявшую, за какое преступление казнен Игнат Фомин.

Потом они разошлись, каждый своим путем, только маленький Радик Юркин отправился ночевать к Жоре на выселки.

— Как ты себя чувствуешь?— блестя во тьме черными глазами, страшным шопотом спрашивал Жора Радика, которого была дрожь.

— Спать охота, просто спасу нет... Ведь я привык очень рано ложиться,— сказал Радик и посмотрел на Жору тихими кроткими глазами.

Серезка Тюленин в раздумьи стоял под деревьями парка... Вот, наконец, свершилось то, в чем он поклялся себе еще в тот день, когда узнал, что большой и добрый человек, которого он видел у Фомина, выдан своим хозяином немецким властям. Серезка не только настоял на совершении приговора, он отдал этому все свои физические и душевные силы, и вот это свершилось... В нем мешались — чувство удовлетворения, и азарт удачи, и последние запоздалые вспышки мести, и страшная усталость, и желание начисто вымыться горячей водой, и необыкновенная жажда чудесного дружеского разговора о чем-то совсем, совсем далеком, очень наивном, светлом, как шопот листвы, журчание ручья или свет солнца на закрытых утомленных веках...

Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе с Валей. Но он никогда бы не решился зайти к ней ночью, да еще в присутствии матери и маленькой сестренки. Да Вали и не было в городе: она с позавчерашнего дня находилась в поселке Краснодоне...

Вот как получилось, что этой необыкновенной мутной ночью, когда в воздухе все время оседала какая-то мелкая-мелкая морось, Серезка Тюленин, продрогший, в одной, насквозь влажной, рубашке, с залубневшими от грязи и стужи босыми ногами, постучался в окно к Ване Земнухову.

С опущенным на окно затемнением, при свете коптилки, они сидели вдвоем на кухне. Огонек потрескивал, на плите грелся большой семейный чайник, — Ваня решил-таки вымыть друга горячей водой, — и Серезка, поджав босые ноги, жался к плите. Ветер порывами ударял в окно и осыпал окном мириадами росинок, и их множественный шелест и напор ветра, даже здесь на кухне чуть колебавший пламя коптилки, говорили друзьям, как плохо сейчас одинокому путнику в степи и как хорошо вдвоем в теплой кухонке.

Ваня в очках, босой, говорил своим глуховатым баском:

— Я так вот и вижу его в этой маленькой избушке, кругом воеет метель, а с ним только няня Арина Родионовна... Воеет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено жужжит, а в печке потрескивает огонь... Я его очень чувствую, я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь, тоже совсем неграмотная женщина из деревни, как и твоя... Я как сейчас помню нашу избушку, я лежу на печке, лет шести, а брат Саша пришел из школы, стихи учит... А то, помню, гонят овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лаптями понукавать, а он меня сбросил...— Ваня вдруг засмутился, помолчал, потом заговорил снова:— Конечно, у него бывала огромная радость, когда приезжал кто-нибудь из друзей... Я так и вижу, как, например, Пущин к нему приехал. Он услышал колокольчик: «Что,— думает,— такое? Уж не жандармы ли за ним?» А это — Пущин, его друг... А то сидят они себе с няней, где-то далеко заметенная снегом деревня, без огней, ведь тогда лучину жгли... Помнишь «Буря мглою небо кроет»? Ты, наверно, помнишь. Меня всегда волнует это место...

И Ваня, почему-то встав перед Сережкой, глуховато прочел:

...Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя: где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой по утру шла...

Сережка тихо сидел, прижимаясь к плите, выпятив свои подпухшие губы, в глазах его, обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение. На чайнике на плите запрыгала крышка, и вода бесело забулькала, зашипела.

— Довольно стихов!..— Ваня точно очнулся.— Раздягайся! Я, брат, тебя вымою по первому разряду,— весело сказал он.— Нет, брат, совсем, совсем, чего стесняться! Я и мочалу припас.

Пока Сережка раздевался, Ваня снял чайник, достал таз из-под русской печки и поставил его на табуретку и положил на угол обмыленный кусок простого, что употребляют для стирки, дурно пахнущего мыла.

— У нас на селе в Тамбовской губернии — теперь это Московская область, Шацкий район — был один старик, он, понимаешь, служил всю жизнь банщиком в Москве у купца Сандунова,— говорил Ваня, сидя верхом на табурете, расставив длинные босые ступни.— Ты знаешь, что это значит — банщиком? Вот, скажем, пришел ты в баню. Скажем, ты барин или просто ленишься мыться, напимаешь банщика, он тебя и трет, эдакий усатый чорт,— понимаешь? Он, этот старик, говорил, что вымыл за свою жизнь не менее полутора миллионов человек. А что ты думаешь? Он этим гордился,— столько людей сделал чистыми! Да ведь, знаешь, человеческая натура,— через неделю снова грязный!

Сережка, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел в тазу воду погорячей и с наслаждением сунул в таз жесткую курчавую голову.

— Гардероб у тебя на зависть,— сказал Ваня, развешивая его

влажную одежду над плитой,—похлеще еще, чем у меня... А ты, я вижу, порядок понимаешь. Вот слей сюда в поганое ведро и еще разок, да не бойся брызгать, подотру...—Вдруг в лице его появилась грубоватая и в то же время покорная усмешка, он еще больше ссутулился и странно свесил узкие кисти рук, так что они вдруг стали казаться тяжелыми, набрякшими, и сказал, еще больше сгустив свой басок:—Повернитесь, ваше степенство, по спинке пройдуся...

Серезжка молча намылил мочалку, искоса взглянул на приятеля и фыркнул. Он подал мочалку Ване и уперся руками в табуретку, подставив Ване сильно загорелую, худенькую и все же мускулистую спину с выступающими позвонками.

Ваня, плохо видя, неумело стал тереть ему спину, а Серезжка сказал ворчливо с неожиданными бархатными интонациями:

— Ты что ж это, братец ты мой? Ослаб? Или ленишься? Я не доволен тобой, братец ты мой...

— А харч каков? Самы посудите, ваше степенство! — очень серьезно, виновато и басисто отозвался Ваня.

В это время дверь на кухню отворилась, и Ваня в роговых очках и с засученными рукавами и Серезжка, голый, с намыленной спиной, обернувшись, увидели стоящего в дверях отца Вани в нижней рубашке и в spodниках. Он стоял, высокий, худой, опустив тяжелые руки, такие самые, какие Ваня только что пытался придать себе, и смотрел на ребят сильно белесыми, до мучительности, глазами. Так он постоял некоторое время, ничего не сказал, повернулся и вышел, притворив за собой дверь. Слышно было, как он прошаркал ступнями по передней в горницу.

— Гроза миновала,—спокойно сказал Ваня. Однако он тер спину Серезжке уже без прежнего энтузиазма.—На чаешко бы с вас, ваше степенство!

— Бог подаст,—ответил Серезжка, не вполне уверенный, говорят ли это банщикам, и вздохнул.

— Да... Не знаю, как у тебя, а будут у нас трудности с нашими батьками да матерями,—серьезно сказал Ваня, когда Серезжка, чистенький, порозовевший, причесанный, снова сидел за столиком у плиты.

Но Серезжка не боялся трудностей с родителями. Он рассеянно взглянул на Ваню.

— Не можешь дать мне клочок бумажки и карандаш? Я сейчас уйду. Мне надо кое-что записать,—сказал он.

И вот что он записал, пока близорукий Ваня делал вид, будто ему что-то еще нужно прибрать на кухне.

«Валя, я никогда не думал, что буду так переживать, что ты ушла одна. Думаю все время, что, что с тобой? Давай не разлучаться никогда, все делать вместе. Валя, если я погибну, прошу об одном: приди на мою могилу и помяни меня незлым словом».

Своими босыми ногами он снова проделает весь окружный путь «шанхайчиками», по балкам и выбоинам, под этими стонущими порывами ветра и леденящей моросью — снова в парк, на Деревянную улицу, чтобы успеть на самом рассвете вручить эту записку валиной сестренке Люсе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Мысль о том, — а как же мама? — отравляла Вале всю прелесть похода в то раннее пасмурное утро, когда она шла по степи вместе с Натальей Алексеевной, притко и деловито перебиравшей своими пухленькими ножками в спортивных тапочках по влажной глянцевиной дороге.

Первое самостоятельное задание, сопряженное с личной опасностью, но — мама, мама!.. Как она посмотрела на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, что просто-напросто она уходит на несколько дней в гости к Наталье Алексеевне! Каким, должно быть, жестоким холодом отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери — теперь, когда нет отца, когда мать так одинока!.. А если мама уже что-нибудь подозревает?

— Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, она соседка моей матери, точнее — Тося и ее мама живут вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Она девушка характера независимого и сильного, и она много старше вас и, я откровенно скажу, она будет смущена тем, что я приведу к ней вместо бородатого подпольщика хорошенькую девочку — говорила Наталья Алексеевна, как всегда заботясь о точном смысле своих слов и совершенно не заботясь о том, какое впечатление они производят на собеседника. — Я хорошо знаю Сережу как вполне серьезного мальчику, я верю ему в известном смысле больше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от районной организации, это так и есть. И я хочу вам помочь. Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы обратитесь к Коле Сумскому, — я лично убеждена, что он у них самый главный, по тому, как Тося относится к нему. Они, правда, дают понять тосиюной и моей маме, будто у них отношения любовные, но я, хотя и не сумела еще сама из-за перегруженности организовать свою личную жизнь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. И я знаю, что Коля Сумской влюблен в Лиду Андросову, очень кокетливую девушку, — неодобрительно сказала Наталья Алексеевна, — но тоже несомненного члена их организации, — добавила она уже из чистого чувства справедливости. — Если вам потребуется, чтобы Коля Сумской лично связался с районной организацией, я воспользуюсь своим правом врача районной биржи, дам ему двухдневный невыход на работу по болезни, — он работает на какой-то там шахтенке — говоря точно, крутит вороток...

— И немцы верят вашим бумажкам? — спросила Валя.

— Немцы! — воскликнула Наталья Алексеевна. Они не только верят, они подчиняются любой бумажке, если она исходит от официального лица... Администрация на этой шахтенке своя, русская. Правда, при директоре, как и везде, есть один немец из технической команды, какой-то ефрейтор, барбос барбосом, как, впрочем, они все. Мы, русские, для них настолько на одно лицо, что они никогда не знают, кто вышел на работу, а кто нет. Их очень легко обманывать...

И все случилось так, как предсказала Наталья Алексеевна.

Вале суждено было провести в этом поселке, таком разбросанном, бесприютном с его казарменного типа большими зданиями, огромными черными терриконами и застывшими копрами, совершенно лишенном

зелени, провести в нем двое суток среди людей, которым трудно было вышнить, что за длинными темными ресницами и золотистыми косами стоит могучий авторитет «Молодой гвардии».

Мама Натальи Алексеевны жила в старинной, более обжитой части поселка, образовавшейся из слившихся вместе хуторов. Там были даже садоочки при домиках. Но садоочки уже пожухли. От прошедших дождей образовалась сметанообразная, по пояс, грязь на улицах, которой уж, видно, суждено было покоиться до самой зимы.

В течение этих дней через поселок беспрерывно шла какая-то румынская часть, направлением на Сталинград. Ее пушки и фуры с бьющимися в постромках худыми конями, стояли часами в этой грязи, и ездовые, с голосами степных вольнок, по-русски ругались па весь поселок.

Тося Елисеенко, девушка лет двадцати трех, тяжелой украинской стати, полная, красивая, с черными глазами, страстными до неприимиримости, сказала Вале напрямик, что она обвиняет районный подпольный центр в недооценке такого шахтерского поселка, как поселок Краснодон. Почему до сих пор ни один из руководителей не посетил поселок Краснодон? Почему на их просьбу не прислали ответственного человека, который научил бы их работать?

Валя сочла себя вправе сказать, что взрослые подпольщики в городе арестованы, а она представляет молодежную организацию «Молодую гвардию», работающую под руководством областного подпольного центра в Ворошиловграде.

— А почему не пришел кто-нибудь из членов штаба «Молодой гвардии»? — говорила Тося, сверкая своими недобрыми глазами. — У нас тоже молодежная организация, — самолюбиво добавила она.

— Я доверенное лицо от штаба, — самолюбиво приподымая верхнюю яркую губу, говорила Валя, — а посылать члена штаба в организацию, которая еще ничем не проявила себя в своей деятельности, было бы опрометчиво и неконспиративно... Если вы хоть что-нибудь в этом понимаете, — добавила Валя: это был яд, настоенный на льду.

— Ничем не проявили своей деятельности?! — гневно воскликнула Тося. — Хорош штаб, который не знает деятельности своих организаций! А я не дура рассказывать о нашей деятельности человеку, которого мы не знаем!..

Возможно, они так бы и не договорились, эти красивые самолюбивые девушки, если бы Коля Сумской со своим носатым, смуглым и умным лицом, полным старинной, дедовской запорожской отваги и хитрости и одновременно прямоты, что и составляло его обаяние, не пришел на помощь.

Правда, когда Валя упомянула его фамилию, Тося прикинулась, что и не знает такого. Но тут Валя, прямо и холодно сказала, что «Молодая гвардия» знает руководящее положение Сумского в организации, и, если Тося не сведет ее с ним, Валя разыщет его сама.

— Интересно мне, как вы его разыщете, — с некоторой тревогой сказала Тося.

— Хотя бы через Лиду Андросову...

— У Лиды Андросовой нет никаких оснований отнестись к вам иначе, чем я!

— Тем хуже... Я буду искать его сама и по незнанию адреса могу его случайно провалить...

И Тося Елисеенко сдалась.

Все повернулось иначе, когда они очутились у Коли Сумского. Он жил на самом краю поселка в просторном деревенском доме, — за домом шла уже степь. Отец его раньше был возчиком на шахте, весь быт их был наполовину деревенский.

Сумской, прищурившись, выслушал надменные пояснения Вали и страстные Тоси и молча пригласил девушек из хаты. Приставной лесенкой они вслед за ним влезли на чердак. Оттуда с шумом взвились в небо голуби, а иные обсели плечи и голову Сумского и норовили сесть на руки, и он, наконец, подставил руку точно вырезанному по лекаллу турману, такому ослепительному, уж подлинно чистому, как голубь.

Сидевший на чердаке юноша, сложением — истый геркулес, ужасно смутился, увидев чужую девушку, и быстро прикрыл что-то возле себя сном, но Сумской дал ему знак: «все в порядке». Геркулес, улыбнувшись, откинул сено, и Валя увидела радиоприемник.

— Володя Жданов... Валя Неизвестная, что ли, — без улыбки сказал Сумской. — Вот мы трое — Тося, Володя и аз грешник у пекли — мы и есть руководящая тройка нашей организации, — говорил он, обсаженный воркующими, ласкающимися к нему и вдруг точно вспыхивающими крыльями голубями.

Пока они договаривались, сможет ли Сумской пойти с Валею в город, Валя чувствовала на себе взгляд геркулеса, и взгляд этот смущал ее. Валя знала среди «молодогвардейцев» такого богатыря, как Ковалев, которого за силу его и доброту звали на окраине «царьком». Но этот был необычайно благородных пропорций и в лице, и во всем теле, шая у него была, как изваянная из бронзы, от него исходило ощущение силы спокойной и красивой. И неизвестно почему, Валя вспомнила вдруг Сережку, босого, и такая счастливая, нежная боль пронзила ей сердце, что она замолчала.

Они все четверо подошли к краю чердака, и вдруг Коля Сумской схватил турмана, сидевшего у него на руке, и, свободно размахнувшись им снизу, изо всех сил запустил его в пасмурное морозящее небо. Голуби снялись с его плеч. Все следили в косое отверстие окна в крыше за турманом. А он, завившись столбом, исчез в небе, как божий дух.

Тося Елисеенко, всплеснув руками, присела и завизжала. Она завизжала с таким выражением счастья, что все оглянулись на нее и посмеялись: это выражение счастья и в голосе ее и в глазах как бы говорило всем: «Вы думаете, что я недобрая, а вы лучше глядите, как я гарна дивчина с села!..»

Утро застало Вало и Колю Сумского в степи по дороге к городу. Всю хмарь точно смыло за ночь, солнце так припало к рассвету, что кругом уже было сухо. Степь раскинулась вокруг в одних увядших кулиничках и все же прекрасная в свете ранней осени, свете расплавленной меди. Тонкие длинные паутинки все тянулись, тянулись в воздухе. Немецкие транспортные самолеты наполняли степь своим роко-

том, — они летели все в том же направлении, на Сталинград, на Сталинград, и снова становилось тихо.

Пройдя с полшута, Валя и Сумской прилегли отдохнуть на солнцепеке на склоне холма. Сумской закурил.

И вдруг до слуха их донеслась песня, свободно разносившаяся по степи, такая знакомая, что мотив ее сразу зазвучал в душе у Вали и у Сумского... «Спят курганы темные»... Для них, жителей донецкой степи, это была родная песня, но как же очутилась она, родимая, здесь, в это утро?.. Валя и Коля, приподнявшись на локте, мысленно повторяли слова песни, которая все приближалась к ним. Исполняли ее два голоса, мужской и женский, очень юных, исполняли до отчаянности громко, с вызовом всему миру.

Валя быстро скользнула на вершину холма, глянула украдкой, потом высунулась до пояса и засмеялась.

По дороге, по направлению к ним, шли, взявшись за руки, Володя Осмухин и его сестра Людмила и пели эту песню, — они просто орали.

Валя сорвалась с холма и во всю прыть, как в детстве, помчалась им навстречу. Сумской, не очень удивившись, медленно пошел вслед.

— Вы куда?

— На деревню к дедушке, хлеба разжиться... Кто это кульгает за тобой?

— Это свой парень, Коля Сумской с поселка.

— Могу рекомендовать тебе еще одну сочувствующую, мою родную сестру Людмилу, — сейчас в степи произошло объяснение, — сказал Володя.

— Валя, судите сами: разве это не свинство, ведь все же меня знают, а родной брат все от меня скрывает, а ведь я все вижу, вплоть до того, что наткнулась у него на шрифт из типографии и какой-то вонючий раствор, которым он его промывал и часть уже промыл, а часть еще нет, когда вдруг сегодня... Валя! Знаете ли вы, что случилось сегодня? — вдруг воскликнула Люся, быстро взглянув на подошедшего Сумского.

— Обожди, — серьезно сказал Володя, — наши мехцеховские лично видели, они же мне все и рассказали... В общем, они идут мимо парка, смотрят: в воротах кто-то висит в черном пальто, и записка на груди. Сначала они думали, немцы кого-нибудь из наших повесили. Подходят, смотрят — Фомина. Ну, знаешь, эта сволочь, «полицай»? А на записке: «Так будем поступать со всеми предателями наших людей». И все... Понимаешь? — снизив голос до шопота, сказал Володя. — Вот это работка! — воскликнул он. — Два часа при дневном свете висел! Ведь это был его пост, никого поблизости из «полицаев» не было! Масса народу видело, сегодня в городе только об этом и говорят.

Ни Володя, ни Валя не только не знали о решении штаба казнить Фомина, но не могли даже предполагать о возможности такого решения, и Володя был уверен, что это сделала подпольная большевистская организация. Но Валя вдруг так побледнела, что бледность выступила даже сквозь ее золотистый загар.

— А не знаешь, с нашей стороны все прошло благополучно, жертв не было? — спрашивала она, едва владея своими губами.

— Блестяще! — воскликнул Володя. — Никто ни черта не знает, и все в порядке. Но у меня дома компот... Мама убеждена, что это я по-

несия этого сукиного сына и стала предсказывать, что меня тоже по-несят. Я уже стал подталкивать Люську, говорю: «Ты видишь, мама глуховата, и у нее температура, и вообще пора к дедушке...»

— Коля, пойдемте,— вдруг сказала Валя Сумскому.

Весь остальной путь до города Валя едва не загнала своего спутника, и он ничем не мог объяснить происшедшей в ней перемены.

Вот каблуки ее застучали по родному крыльцу. Сумской вслед за нею, смущенный, вошел в столовую.

В столовой молча и напряженно, как на именинах, сидели друг против друга Мария Андреевна в темном платье, плотно облегавшем ее полное тело, и маленькая бледная Люся с светлыми золотистыми волосами до плеч.

Мария Андреевна, увидев старшую дочь, быстро встала, хотела что-то сказать и задохнулась, бросилась к дочери, одно мгновение подозрительно глядела то на нее, то на Сумского и, не выдержав, стала испуганно целовать дочь. И только теперь Валя поняла, что ее мать пераживала то же самое, что и мать Володи: она подозревала, что ее родная дочь, Валя Борц, принимала участие в казни Фомина и именно поэтому отсутствовала эти дни.

Забыв о Сумском, который смущенно стоял у дверей, Валя смотрела на мать с выражением: «Что я могу сказать тебе, мама, ну, что?»

В это время маленькая Люся, молча подошла к Вале и протянула записку. Валя машинально развернула записку, даже не успела прочесть, а узнала только почерк. Детская счастливая улыбка осветила ее загорелое, запылившееся с дороги лицо. Она быстро оглянулась на Сумского, и краска залила ей даже шею и уши. Валя схватила мать за руку и потащила за собой в другую комнату.

— Мама! — сказала она. — Мама! То, что ты думаешь, это все глупости. Но неужели ты не видишь, не понимаешь, чем мы, я, все мои товарищи, живем, неужели ты не понимаешь, что мы не можем жить иначе? Мама! — счастливая, красная, говорила Валя, прямо глядя в лицо матери.

Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покрылось бледностью, оно стало даже вдохновенным.

— Дочь моя! Да благословит тебя бог! — сказала Мария Андреевна, всю жизнь и в школе и вне школы занимавшаяся антирелигиозным просвещением. — Да благословит тебя бог! — сказала она и заплакала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Тяжело родителям, которые, не зная душевного мира детей своих, видят, что дети вовлечены в скрытную таинственную деятельность, а родители не в силах проникнуть в мир их деятельности и не в силах запретить ее.

Уже за утренним чаем по угрюмому лицу отца, не смотревшего на сына, Валя почувствовал приближение грозы. И гроза разразилась, когда сестра Нина, сходя по-воду к колодезю, принесла слух о казни Фомина и то, что говорят об этом.

Отец изменился в лице, и на худых щеках его надулись желваки. — Мы, наверно, у себя дома лучше можем узнать,— сказал он ядовито, не глядя на сына.— Информацию...— Он любил иногда вставить эдакое слово.— Чего молчишь? Рассказывай. Ты же там, как сказать, поближе,— тихо говорил отец.

— К кому поближе? К полиции, что ли?— побледнев, сказал Ваня.

— Чего Тюленин вчера приходил? В запрещенное время?

— Кто его соблюдает, время-то! Будто Нинка в это время на свидания не ходит! Приходил поболтать, не в первый раз...

— Не врать!— взвизгнул отец и ударил ребром ладони по столу.— За это — тюрьма! Если ему своей головы не жалко, мы, твои родители, за что будем в ответе?

— Не о том ты, батя, говоришь,— тихо сказал Ваня и встал, не обращая внимания на то, что отец бил ладонью по столу и кричал: «Нет, о том!»— Ты хочешь знать, состою ли я в подпольной организации? Вот что ты хочешь знать. Нет, не состою. И о Фомине я тоже услышал только что, от Нины. А скажу только: так ему и надо, подлецу! Как видишь с ее слов, и люди так говорят. И ты тоже так думаешь. Но я не скрою: я оказываю посильную помощь нашим людям. Все мы должны помогать им, а я — комсомолец. А не говорил об этом тебе и маме, чтоб зря не беспокоить...

— Слышала, Настасья Ивановна?— И отец почти безумно посмотрел на жену своими белесыми глазами.— Вот он, печальник о нас!.. Стыда в тебе нет! Я всю жизнь работал на вас... Забыл, как жили в семейном доме, двенадцать семейств, на полу валялись, одних детей двадцать восемь штук? Ради вас, детей, мы с вашей матерью убили все свои силы. Посмотри на нее!.. Александра учили, не доучили, Нинку не доучили, положили все на тебя, а ты сам суешь свою голову в петлю. На мать посмотри! Она все глаза по тебе проплакала, только ты ничего не видишь!

— А что, по-твоему, я должен делать?

— Иди работать! Нинка работает, иди и ты. Она — счетовод, работает чернорабочим, а ты что?

— На кого работать? На немца? Чтобы он больше наших убивал? Вот когда придут наши, я первый пойду работать... Твой сын, мой брат, в Красной Армии, а ты велишь мне итти немцу помогать, чтобы его скорей убили!— гневно говорил Ваня.

Они уже стояли друг против друга.

— А жрать что?— кричал отец.— А лучше будет, когда первый из тех, за кого ты радеешь, продаст твою голову! Немцам продаст! Ты знаешь хоть бы людей на нашей улице? Кто чем дышит? А я — знаю! У них своя забота, своя корысть. Только ты один радеть за всех!

— Неправда!.. Была у тебя корысть, когда ты отправлял государственное имущество в тыл?

— Обо мне речи нет...

— Нет, о тебе речь! Почему ты думаешь, что ты лучше других людей?— говорил Ваня, опершись пальцами одной руки о стол и упрямо склонив голову в роговых очках.— Корысть! Каждый за себя!.. А я тебя спрашиваю: какая была в тебе корысть в те дни, когда ты

уже выходное получил, знал, что остаешься здесь, что это дело может повредить тебе, большой грузил не свое имущество, не спал ночей? Неужто ты один такой на земле? Даже по науке это не выходит!..

Сестра Нина, из-за воскресного дня бывшая в этот час дома, сидела на своей кровати, насупившись и не глядя на спорящих, и, как всегда, нельзя было понять, что она думает... А мать, рано и сильно постаревшая, добрая, слабосильная женщина, весь путь жизни которой ограничивался работой на поле да возней у печки, больше всего боялась, чтобы Александр Федорович всердцах не выгнал и не проклял Ванюшу. И когда говорил отец, она заискивающе кивала ему, чтобы умиловить его, а когда говорил сын, она опять-таки смотрела на мужа с фальшивой улыбкой, мигая, словно предлагая ему все-таки прислушаться к сыну и извинить его, хотя оба они, старики, понимают, насколько неразумно он говорит.

Отец, в длинном пиджаке поверх застиранной косоворотки, стоял посреди комнаты, в туфлях на полусогнутых по-стариковски ногах, в оттопыривавшихся и залатанных на коленях вытертых штанах и, то судорожно прижимая к груди кулаки, то беспомощно опуская руки, кричал:

— Я не по науке доказую, а по жизни!

— А наука не из жизни?.. Не один ты, а и другие люди ищут справедливости!— говорил Ваня с неожиданной в нем запальчивостью.— А ты стыдишься даже в себе признать хорошее!

— Мне стыдиться нечего!

— Тогда докажи, что я неправ! Криком меня убедить нельзя. Могу смириться, замолчать,—это так. А поступать все равно буду по совести...

Отец вдруг сразу сломался, и белесые глаза его потускнели.

— Вот, Настасья Ивановна,— визгливо сказал он,— выучили сынка... Выучили, и больше не нужны. Адью!..— он развел руками, повернулся и вышел.

Анастасия Ивановна, быстро и мелко перебирая ногами, вышла за ним. Нина, не подымая головы, сидела на кровати и молчала.

Ваня бесцельно потыкался из угла в угол и сел, не утишив угрызений совести. Попробовал даже, как в былые дни, излить душу в стихотворном послании к брату:

Мой преданный и славный друг,
Мой брат прекрасный Сама...

Нет:

Мой лучший друг, мой брат родной...

Нет, стихотворное послание не ладилось. Да и нельзя было послать его брату.

И тогда Ваня понял, что нужно ему сделать: нужно пойти к Клаве в Нижнюю Александровку.

Елена Николаевна Кошечкина страдала вдвойне от того, что она сама не могла решить, должна ли она воспрепятствовать деятельности сына или помочь ему. Ее, как и всех матерей, неустанно, изо дня в день, лишая способности деятельности, изнуряя душевно и физически, отлагая на лице морщины, мучила тоска-боязнь за сына. Иногда боязнь

эта принимала просто животный характер: ей хотелось ворваться, накричать, силой оттащить сына от страшной судьбы, которую он готовил себе.

Но в ней самой были черты ее мужа, отчима Олега, единственной глубокой и страстной любви ее жизни,—в ней самой клокотало такое пламя битвы, что она не могла не сочувствовать сыну.

Часто она испытывала обиду на него: как может он скрытничать перед ней, перед его мамой, ведь он был всегда так откровенен, любовно-вежлив, послушен! Особенно обижало то, что ее мать, бабушка Вера, была, повидимому, вовлечена в заговор внука и тоже таилась от дочери. Даже брат Коля, судя по всему, был участником заговора. Но кто же из всех людей на земле сможет лучше понять ее сына, разделить его дела и думы, защитить его силою любви в злой час жизни? А правдивый голос подсказывал ей, что сын скрывается перед ней впервые именно потому, что не уверен в ней.

Как все молодые матери, она больше видела хорошие стороны единственного дитяти, но она действительно знала своего сына.

С того момента как в городе начали появляться листовки за таинственной подписью «Молодая гвардия», Елена Николаевна не сомневалась, что сын ее не только причастен к этой организации, но играет в ней руководящую роль. Она волновалась, гордилась, страдала, но не считала возможным искусственно вызывать сына на откровенность.

Только однажды она, словно бы невзначай, спросила:

— С кем ты больше дружишь сейчас?

Он с неожиданной в нем хитростью перевел разговор как бы на продолжение прежнего разговора о Лене Позднышевой, сказал, немного смутившись:

— Д-дружу с Ниной Иванцовой...

И мать почему-то поддалась на эту хитрость и сказала неискренно:

— А Лена?

Он молча достал дневник и подал ей, и мать прочла в дневнике все, что ее сын думал теперь о Лене Позднышевой и о прежнем увлечении Леной.

Но в это утро, когда она услышала от соседей, Саплиных, о казни Фомина, из нее едва не вырвался звериный крик. Она сдержала его и легла на постель. И бабушка Вера, не сгибающаяся и таинственная, как мумия, положила ей на лоб холодное полотенце.

Елена Николаевна, как и все родители, ни на мгновение не подозревала о причастности сына к самой казни. Но вот каков был тот мир, где вращался сын, вот как жестока была борьба! Какое же возмездие ждет его!.. В душе ее все еще не было ответа сыну, но нужно было, наконец, разрушить эту страшную таинственность,—так жить нельзя!..

А в это время сын ее, как всегда аккуратно одетый, чисто вымытый, румяный, вобрав голову в плечи, одно из которых было чуть выше другого, сидел в сарае на койке, а против него, подмостив полешки, сидел носатый, смуглый и ловкий в движениях Коля Сумской, и они резались в шахматы.

Все вниманье их было поглощено игрой, лишь время от времени они как бы вскользь обменивались репликами такого содержания, что

человек неискушенный мог бы подумать, что он имеет дело с закоренелыми злодеями:

Сумской: Там на станции ссыпной пункт... Как только свезли зерно первого обмолота, Коля Миронов и Палагута запустили клеща...

Молчание.

Кошевой: Хлеб убрали?

— Заставляют весь убирать... Но больше стоит в скирдах и сусло-нах: нечем обмолотить и вывезти.

Молчание.

Кошевой: Скирды надо жечь... У тебя ладья под угрозой!

Молчание.

Кошевой: Это хорошо, что у вас свои ребята в совхозе. Мы в штабе обсуждали и решили: обязательно свои ячейки на хуторах. Оружие у вас есть?

— Мало.

— Надо собирать.

— Где ж его соберешь?

— На степи. И у них воруйте,— они живут беспечно...

Сумской: Извиняюсь,— шах...

Кошевой: Он, брат, тебе отрыгнется, как агрессору.

— Агрессор-то не я.

— А задираешься, как какой-нибудь сателлит!

— У меня скорей положение хранцузское,— с усмешкой сказал Сумской.

Молчание.

Сумской: Извини, коли не так спрошу: этого подвесили не без вашего участия?

Кошевой: Кто его знает...

— Хорошо-о,— сказал Коля с явным удовольствием.— Я думаю, их вообще стоит больше бить, хотя бы просто из-за угла. И не столько холуев, сколько хозяев.

— Абсолютно стоит. Они живут беспечно.

— Ты знаешь, а я сдамся, пожалуй,— сказал Сумской,— положение безвыходное, а мне домой пора.

Олег аккуратно сложил шахматы, потом подошел к дверям, выглянул и вернулся.

— Прими клятву...

Не было никакого перехода от той минуты, как они сидели и играли в шахматы, но вот уже и Кошевой, и Сумской, оба в рост, только Олег пошире в плечах, стояли друг против друга, опустив руки по швам, и смотрели с естественным и простым выражением.

Сумской из карманчика гимнастерки достал маленький клочок бумаги и поблел.

— Я, Николай Сумской,— приглушенным голосом заговорил он,— вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь...— Им овладело такое волнение, что в голосе пробился металл, но Сумской, боясь, что его услышат во дворе, смирил свой голос.— Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут на-

веки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!..

— Поздравляю тебя... Отныне твоя жизнь принадлежит не тебе, а партии, всему народу,—сказал Олег и пожал ему руку.

Самое главное — это попасть в дом, когда мама уже спит или притворяется, что спит, тихо раздеться и лечь. И тогда не нужно отводить глаз от ясных и измученных глаз мамы и не нужно притворяться, будто ничего не изменилось в жизни...

Ступая на цыпочках и сам чувствуя, какой он большой, он входит на кухню, тихонько приоткрывает дверь и входит в комнату. Окна, как всегда, наглухо закрыты ставнями и затемнены. Сегодня топили плиту,— в доме нестерпимая духота. Коптилка, поставленная, чтобы не марать скатерти и чтобы была повыше, на старую опрокинутую жестяную банку, выделяет из мрака выпуклости и грани знакомых предметов.

Мать, всегда такая аккуратная, сидит на разобранной ко сну постели в платье и прическе, сцепив положенные меж колен маленькие смуглые, с утолщенными суставами руки, и смотрит на огонек коптилки.

Как тихо в доме! Дядя Коля, теперь почти все дни пропадающий у своего приятеля инженера Кистринова, вернулся и спит, и Марина спит, а маленький племянник, наверно, давно уже спит, выпятив губы. Бабушка спит и даже не похрапывает. Даже тиканья часов не слышно... Не спит одна мама. Прекрасная моя!..

Но главное — не поддаваться чувству... Вот так вот, молча, пройти мимо на цыпочках и лечь, а там сразу можно притвориться спящим...

Большой, тяжелый, он на цыпочках подходит к матери, падает перед ней на колени и прячет в ее коленях свое лицо. Он чувствует ее руки на своих щеках, чувствует ее неподменное тепло и едва уловимый, точно наносимый издалека девичий запах жасмина и другой, чуть горьковатый, то ли полыни, то ли листочков баклажана,— не все ли равно!..

— Прекрасная моя! Прекрасная моя!— шепчет он, обдавая ее снизу светом своих глаз.— Ну, ты же все, все понимаешь... прекрасная моя!

— Я все понимаю,— шепчет она, склонившись к нему головой и не глядя на него.

Он ищет ее глаза, а она все прячет глаза в его шелковистых волосах и шепчет, шепчет:

— Всегда... везде... Не бойся... будь сильным... орлик мой... до последнего дыхания...

— Будет, ну, будет... Спать пора...— шепчет он.— Хочешь, я выпущу их на волю?

И он, как в детстве, нащупывает руками одну и другую скрепочки в ее волосах и начинает выбирать шпильки. Пряча лицо, она все клонит голову ему на руки, но он вынимает шпильки все до одной, выпускает ее косы, и они, развернувшись, падают с таким звуком, как падают яблоки в сад, и покрывают всю маму.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Человек со стороны,—если бы мог быть такой человек,—попав в сельские районы немецкой оккупации, был бы поражен необычайными, то мрачными, то неожиданными по контрасту картинами, открываю-

щимися его взгляду. Он встретил бы десятки и сотни пепелищ, где на месте сел, станиц, хуторов остались только остовы печей, да головни, да одинокая кошка на пригретом солнцем полуобгоревшем и прорастающем бурьяном крыльчке. И встретил бы хутора, где даже не ступала немецкая нога, если не считать случайно забредших раз-другой мародеров-солдат.

Но были и такие села, где немецкая власть утвердилась так, как она считала наиболее выгодным и удобным для себя, где прямого военного грабежа, то есть грабежа, совершаемого проходящими частями армии, и всякого рода насилий и зверств было не больше и не меньше, чем это отпущено было историей для немецкого военно-оккупационного господства, где хозяйствование немцев было представлено, так сказать, в наиболее чистом виде.

Именно к такого рода хуторам принадлежал хутор Нижне-Александровский, где у родни по материнской линии нашли приют Клава Ковалева и ее мать.

Казак, у которого они жили, родной брат матери, до прихода немцев был рядовым колхозником. Он не был ни бригадиром, ни конюхом, ни тем более служащим сельпо, а был тем обыкновенным колхозником, который работает со своей семьей в бригадах артели на общественном поле и живет с того, что вырабатывает на трудодни и получает с своей усадьбы.

И Иван Никанорович, дядя Клавы, и вся его семья с момента прихода немцев испытали не больше и не меньше того, что отпустила история на рядовой обыкновенный крестьянский двор во время немецкого господства. Они были ограблены во время прохождения наступающей немецкой армии, ограблены в той мере, в какой их скот, птица и продовольственные запасы были на виду, то есть ограблены очень сильно, но не дочиста, так как нет ни одного крестьянина на свете, который обладал бы таким многовековым опытом в запрятывании своего добра в лихое время, как русский крестьянин.

После того как прошла армия и начал устанавливаться новый порядок, Ordnung, Ивану Никаноровичу, как и другим, было объявлено, что земля, закрепленная за Нижне-Александровской артелью на вечное пользование, теперь, как и вся земля, будет собственностью немецкого государства. Но,—говорил устами рейхскомиссара из Киева новый порядок, Ordnung,—но эта земля, которую с такими трудами и испытаниями удалось соединить в одну большую артельную землю, теперь будет снова разделена на мелкие участки, которые перейдут в единоличное пользование каждого казака. Но! Это мероприятие будет проведено только тогда, когда все казаки и крестьяне будут иметь собственные сельскохозяйственные орудия и тяговую силу. А так как сейчас они не могут их иметь, земля останется в прежнем состоянии, но уже как собственность немецкого государства, и для обработки ее над хутором будет поставлен староста, русский, но от немцев,—и он был поставлен,—а крестьяне будут разбиты на десятидворки и над каждой десятидворкой будет поставлен старший русский, но от немцев,—и старшие были поставлены,—и за свою работу на этой земле крестьяне будут получать хлеб по определенной норме. А чтобы они работали хорошо, они должны знать, что только те из них, кто будет сейчас

работать хорошо, получают потом участок земли в единоличное пользование.

Для того чтобы хорошо работать на этой большой земле, немецкое государство пока что не может дать машин и горючего для машин и не может дать лошадей, а работники должны обходиться косями, серпами, тяпками, а в качестве тягловой силы использовать собственных коров, а кто будет жалеть своих коров, тот вряд ли может рассчитывать на получение земли в единоличное пользование в будущем. При всем том, что такой вид труда требовал особенно много рабочей силы, немецкая власть не только не стремилась сохранить эту силу на месте, а прилагала все меры к тому, чтобы наиболее здоровую и трудоспособную часть населения угнать в Германию.

Ввиду того, что немецкое государство не могло сейчас учесть своих потребностей в мясе, молоке, яйцах, оно взяло на первый случай с хутора Нижние-Александровского по одной корове с каждых пяти дворов и по одной свинье с каждого двора и еще пятьдесят килограммов картофеля, двадцать штук яиц и триста литров молока с каждого двора. Но! Так как могло понадобиться и еще,—и эта надобность действительно постоянно возникала,—то казаки и крестьяне не могут резать свой скот и птицу для себя, а если уж в крайнем случае очень захочется зарезать свинью, то четыре двора, соединившись, могут зарезать ее, только они обязаны при этом сдать три свиньи немецкому государству.

Для того чтобы взять все это из двора Ивана Никаноровича и его односельчан, кроме старших над десятидворками и старосты над хутором, был учрежден аппарат районной сельскохозяйственной комендатуры во главе с зондерфюрером Сандерсом, и зондерфюрер, учитывая жаркий климат, подобно обер-лейтенанту Шприку, разъезжал по селам и хуторам в мундире и трусиках, и казаки при виде него крестились и плевались, как если бы они видели сатану. Эта районная сельскохозяйственная комендатура подчинялась еще более многолюдной окружной сельскохозяйственной комендатуре во главе с зондерфюрером Глюккером, который ходил, правда, в штанах, но уже сидел так высоко, что оттуда не спускался, а эта комендатура в свою очередь подчинялась ландвиртшафтгруппе, или сокращенно группе «Ля» во главе с майором Штандером,—эта группа была уже так предельно высоко, что ее просто никто не видел, но и эта группа была только отделом виртшафтскомандо 9, или сокращенно «Виндо 9», во главе с доктором Люде, а уж виртшафтскомандо 9 подчинялась, с одной стороны, фельдкомендатуре в городе Ворошиловграде, то есть, попросту говоря, жандармскому управлению, а с другой стороны—главному управлению государственных имений при самом райхскомиссаре в городе Киеве.

Чувствуя над собой всю эту лестницу все более обремененных чинами бездельников и воров, разговаривавших на непонятном языке, которых тем не менее надо было кормить, повседневно испытывая на себе плоды их деятельности, Иван Никанорович и его односельчане поняли, что немецкая власть не только зверская власть,—это уж было видно сразу,—а власть несерьезная, воровская и, можно сказать,—глупая власть.

И тогда Иван Никанорович и его односельчане, так же как и жители ближайших станиц и хуторов—Гундоровской, Давыдова, Ма-

марова Яра и других начали так поступать с немецкой властью, как только может и должен поступать уважающий себя казак с глухой властью,—они начали обманывать ее.

Обман немецкой власти сводился, главным образом, к видимости работы вместо настоящей работы на земле и в развевании по ветру, а если была возможность,—в расхищении по собственным дворам того, что удавалось выработать, и в утаивании скота и птицы и продовольствия. А чтобы сподручней было обманывать, казаки и крестьяне стремились к тому, чтобы старшие над десятидворками и старосты над хуторами и селами были своими людьми. Как всякая зверская власть, немецкая власть находила достаточно зверей, чтобы сажать их на место старост, но, как говорится, человек не вечен. Был староста, а вот его уже и нет, манул человек, как в воду...

Клаве Ковалевой было восемнадцать лет, и она была далека от всех этих дел. Она только страдала от того, что очень несвободно стало жить и нельзя учиться и нет подруг и неизвестно, что с отцом, и скрашивала свое время тем, что мечтала о Ване, мечтала в очень ясной жизненной форме,—как вся эта неразбириха когда-нибудь кончится и они женятся, и у них будут дети, и они очень хорошо будут жить вместе детьми.

Еще она скрашивала свое время тем, что читала книжки, но очень трудно было доставать книжки в Нижне-Александровке. И когда она услышала, что на хутор прибыла новая, уже от новой районной власти учительница, взамен старой, успевшей эвакуироваться, Клава решила, что не зазорно будет попросить у этой учительницы книжек.

Учительница жила при школе, в комнатке, где жила старая учительница,—пользовалась даже ее мебелью и вещами, как болтали соседки. Клава постучалась и, не дожидаясь ответа, отворила дверь своей полной сильной рукою и, уже войдя в комнату, выходящую на теневую сторону и занавешенную, искоса стала разглядывать, кто же тут есть. Учительница, нагнувшись в полуоборот к Клаве, обметала крылом птицы подоконник, обернула голову, и вдруг одна из ее выгнутых густых бровей приподнялась, и женщина отпрянула, точно прижалась к подоконнику, потом выпрямилась и снова внимательно посмотрела на Клаву.

— Вы...

Она не договорила, виноватая улыбка появилась на лице ее, и она пошла навстречу Клаве.

Это была стройная белокурая женщина, одетая в простое платье, с прямым, даже строгим взглядом серых глаз, губами, резко очерченными, но тем милее была простая ясная улыбка, время от времени возникавшая на ее лице.

— Шкаф, где была школьная библиотечка, разбит,— в школе стояли немцы,— страницы книжек можно видеть в совсем неподходящем месте, но кое-что осталось, мы с вами посмотрим,—говорила она, так правильно и чисто выговаривая фразу, как может выговаривать только хорошая русская учительница.— Вы здешняя?

— Можно сказать, здешняя,—нерешительно сказала Клава.

— Почему вы оговорились?

Клава смутилась.

Учительница прямо смотрела на нее.

— Давайте присядем.

Клава стояла.

— Я видела вас в Краснодоне,— сказала учительница. Клава молча искоса глядела на нее.— Я думала, вы уехали,— сказала учительница со своей ясной улыбкой.

— Я никуда не уезжала.

— Значит, провожали кого-нибудь.

— Откуда вы знаете? — Клава смотрела на нее сбоку с испугом и любопытством.

— Знаю... Но вы не смущайтесь... Вы, наверно, думаете: приехала от немецкой власти и...

— Ничего я не думаю...

— Думаете.— Учительница засмеялась, даже лицо у нее порозовело.— Кого же вы проводили?

— Отца.

— Нет, не отца.

— Нет, отца.

— Ну, хорошо, а отец ваш кто?

— Служащий треста,— сказала Клава, вся багровая.

— Садитесь, не стесняйтесь меня,— учительница ласково чуть дотронулась до руки Клавы. Клава села.— Ваш друг уехал?

— Какой друг?— у Клавы даже сердце забилось.

— Не скрывайте, я все знаю...— Из глаз учительницы совсем ушло строгое выражение, они искрились от смеха доброго и задористого.

«Не скажу,— хоть зарежь!» — подумала Клава, вдруг свирепея.

— Не знаю, про что вы говорите... Нехорошо так! — сказала она и встала, покраснев от обиды.

Учительница, уже не в силах сдерживать себя, громко смеялась, от удовольствия складывая и разнимая белые руки и клоня белокурую голову то на один бок, то на другой.

— Милая вы моя... простите... у вас все сердце наружу,— сказала она, быстро встала, сильным движением притянула Клаву за плечи и чуть прижалась к ней.— Я все шучу, вы меня не бойтесь. Я просто русская учительница,— жить-то ведь надо,— а не обязательно учить злему, даже при немцах.

В дверь сильно постучали.

Учительница, отпустив Клаву, быстро подошла к двери и чуть приоткрыла ее.

— Марфа... — сказала она негромко и радостно.

Высокая, сильной кости женщина в ослепительно белой хустке и с черными от загара, запылившимися босыми ногами, с узелком подмышкой, вошла в комнату.

— Здравствуйте,— сказала она, вопросительно взглянув на Клаву.— Живем вроде близко, а вон аж когда собралась проведать! — громко, с улыбкой, обнажившей крепкие зубы, сказала она учительнице.

— Как вас зовут?.. Клава! Я провожу вас в класс, и вы присмотрите себе книжку, только не уходите, я быстро освобожусь.

— Что? Ну, что? — с волнением спрашивала Екатерина Павловна, вернувшись.

Марфа сидела, закрыв глаза большой натруженной загорелой рукою, горькая складка обозначилась в углах ее все еще молодых губ.

— Не знаю, чи радость, чи горе,— сказала она, отняв руку.— Прийшов до мене чоловік с хутора Погорилого, каже жив мий Гордий Корниенко. Катерина, дай мими совет!— сказала она, подняв голову, и заговорила по-русски:— На Погорелом в лесхозе пленные работают, под охраной, человек шестьдесят, рублять лес для армии, и мой Гордий там. Живут в бараке, отлучиться не можно... С голоду опух. Як мими быть? Чи пойти мими туда?

— Как он дал знать тебе?

— Там и вольные работают, случилось так, ще удалось ему шепнуть одному с хутора. А немцы не знают, що вин здешний.

Екатерина Павловна некоторое время молча смотрела на нее. Это был один из тех случаев жизни, когда нельзя было дать совет. Марфа могла недели прожить на этом хуторе Погорелом и извести себя и так и не увидеть мужа. В лучшем случае они могли увидеть друг друга издалека, но это прибавило бы к физическим страданиям ее мужа невыносимые нравственные мучения. И даже еды подбросить ему нельзя: можно себе представить, что это за барак для военнопленных.

— Поступай по совести...

— А ты б пошла?— спросила Марфа.

— Я бы пошла,— со вздохом сказала Екатерина Павловна,— и ты пойдешь, а только напрасно...

— Вот и я кажу, що напрасно... Не пойду,— сказала Марфа и закрыла глаза рукою.

— Корней Тихонович знает?

— Каже, коли б отряд був, могли б освободить...

Екатерина Павловна даже не спрашивала о Иване Федоровиче: она знала, что если Марфа ничего не сказала о нем, значит вестей нет.

Клава стояла у шкафа с книгами,— это были книги, читанные в детстве, и грустно ей было от встречи с друзьями детства. Грустно было смотреть на черные пустые парты. Вечернее солнце косо падало в окна, и в его тихом и густом свете была какая-то грустная и зрелая улыбка прощания. Клаву даже не мучило больше любопытство, откуда знает ее учительница, так грустно было Клаве жить на свете...

— Выбрали кое-что?— Учительница прямо смотрела на Клаву, резко очерченные губы ее были плотно сжаты, но в серых глазах ее где-то очень далекое стояло печальное выражение.— Вот видите — жизнь-разлучница, оборачивается иногда жестоко,— говорила она.— А в молодости мы живем суетно, не зная, что то, что нам дано, дано на всю жизнь... Если бы я могла снова стать такой, как вы, я бы уже это знала. Но я не могу даже вам передать это... Если ваш друг придет, обязательно познакомьте меня с ним...

Так судьба свела Ваню Земнухова с Екатериной Павловной — женой Проценко.

— Страшно оборачиваются судьбы людей!— говорила Екатерина Павловна, только что выслушавшая от Вани мрачную повесть гибели красдонского подполья.— У Остапчука, как вы его называете, осталась семья у немцев и тоже, может быть, замучена, а не то бродит бедная женщина с детьми по чужим людям и все-таки надеется, придет же он

когда-нибудь спасти ее и детей, а его уже и в живых нет... Или вот была у меня женщина...—Екатерина Павловна рассказала о Марфе и о ее муже.—Рядом,—даже повидаться невозможно. А потом погонят его куда-нибудь поглубже, и сгинет он... Какая же казнь справедлива за это — им, этим!..— сказала она, стиснув в кулак плотную сильную маленькую руку.

— Погорелый — это возле нас, там один наш парень живет,— сказал Ваня, вспомнив о Вите Петрове. Смутная мысль забродила в нем, но он даже себе еще не отдавал в ней отчета.— Пленных много? Охрана большая?— спрашивал он.

— Попробуйте вспомнить, кто из наших людей, способных организовать других, остался еще в живых в Краснодаре?— вдруг спросила она в какой-то своей внутренней связи.

Ваня назвал Кондратовича. Потом он вспомнил, что осталась женщина-коммунистка, работавшая на почте.

— А из военных, осевших после окружения или по другим причинам?

— Таких много...— Ваня вспомнил военных из числа раненых, спрятанных по квартирам: он знал от Сережки, что Наталья Алексеевна продолжает тайно оказывать им медицинскую помощь.

— Вы установите связи с ними и привлекайте их... Это ничего что вы молодые, а они старше вас,—с улыбкой сказала Екатерина Павловна,— зато у вас есть организация, а у них пока нет... Да, вот еще что: здесь на снимке скрывается директор школы имени Горького, Саплин. Передайте его семье, что он жив...

Ваня изложил свой план сделать у Клавы явочный пункт для связи «Молодой гвардии» с молодежью села и попросил помочь Клаве в этом.

— Пусть лучше она не знает, кто я,—с улыбкой сказала Екатерина Павловна,—мы будем с ней просто дружить.

— Но откуда вы все-таки знаете нас?—не вытерпел Ваня.

— Этого я вам никогда не скажу, а то вы будете очень смущены,— сказала она, и лицо ее вдруг приняло грустное выражение.

— Что у вас за секреты?—ревниво спрашивала Клава у Вани, когда уже в полной темноте они сидели в горнице в доме Ивана Никаноровича и мама Клавы, давно относившаяся к Ване, а особенно после событий на переправе, как к своему человеку в доме, спокойно спала на пышно взбитой воздушной и жаркой до дурмана казачьей перине.

— Ты умеешь держать тайну?—на ухо спросил Ваня.

— Спрашиваешь...

— Поклянись!

— Клянусь.

— Она сказала мне, что наш директор Саплин жив и просила передать родным, а потом разговорились по пустякам... Клава!—тихо и торжественно сказал он, взяв ее за руку.—Мы создали организацию молодежи для борьбы с немцами,— вступишь в нее?

— А ты в ней состоишь?

— Конечно.

— Конечно вступаю!..—она приложила свои теплые-теплые губы к его уху.—Ведь я же твоя, понимаешь?

— Я приму от тебя клятву. Мы писали ее с Олегом, и я знаю ее изусть, и тебе придется ее выучить.

— Я ее выучу, ведь я же совсем твоя...

— Тебе придется организовать молодежь здесь и по ближайшим торам.

— Я тебе все организую...

— Ты не относись к этому так легкомысленно. В случае провала, это возит гибелью...

— А тебе?

— И мне.

— Я готова погибнуть с тобой...

— Но я думаю, нам лучше обоим остаться живыми.

— Конечно, гораздо лучше.

— Ты знаешь, мне постелили там у ребят, надо идти, а то неудобно.

— Ну, зачем тебе туда идти? Ведь я же твоя, ну, понимаешь, совершенно твоя,— шептала ему на ухо Клава своими теплыми губами.

ГЛАВА Сороковая

К концу сентября организация «Молодой гвардии» на Первомайском руднике, вместе с Восьмидомиками и районом шахты № 1-бис, была уже одной из наиболее крупных подпольных групп молодежи. Все, что было наиболее деятельного среди молодежи, учившейся в старших классах первомайской школы, было вовлечено в организацию. Несколько пришедших молодых людей, младших офицеров Красной Армии, попавших в окружение и осевших в районе Первомайки, примкнули к организации.

Первомайцы установили свой радиоприемник и выпускали сводки Информбюро и листовки, которые писали тушью на страничках школьных тетрадей.

Сколько переживаний было с этим радиоприемником! В совершенно различных домах были обнаружены давно заброшенные, поломанные дешевые радиоприемники,— и радиоприемники выкрали. Борис Гловань, молдаванин, бежавший с родителями из Бессарабии и осевший в Краснодоне,— в группе звали его «Алеко»,— взялся сконструировать из них один хороший радиоприемник. Но по дороге домой он был с отдельными частями аппаратов и лампочками схвачен на улице «полицаем».

Гловань, белозубый, хитрый цыганенок, разговаривал в полиции только на румынском языке, кричал, что полиция лишает всю его семью средств к существованию, поскольку весь этот материал был нужен ему, чтобы делать зажигалки, и клялся, что он будет жаловаться командованию румынской армии: в Краснодоне всегда бывало на постое некоторое количество румынских офицеров из проходящих частей. На зартире Глованя было обнаружено несколько готовых зажигалок и столько находящихся в производстве,— он действительно подрабатывал и жизнь тем, что делал зажигалки. И полиция отпустила этого представителя союзной державы, хотя и отобрала у него части радиоприемника. Но он все-таки сделал радиоприемник из тех частей, что еще оставались.

Первомайцы имели самостоятельные связи с ближними хуторами — через Лилю Ивановну, которая, оправившись после плена, пошла работать учительницей на хутор Суходол. Они были главными поставщиками оружия, которое собирали по степи, совершая иногда очень дальние походы в районе боев на Донце, и крали его у остававшихся на постой немецких и румынских солдат и офицеров. Оружие это, после того как все юноши-первомайцы, члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке Тюленину и шло на склад, местопребывание которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц.

Подобно тому как душою всей организации «Молодая гвардия» были Олег Кошевой и Ваня Земнухов, а душою организации в поселке Краснодар — Коля Сумской и Тося Елисеенко, так душой организации на Первомайке были Уля Громова и Анатолий Попов.

Толя Попов был назначен штабом командиром первомайской группы и с его организационными навыками, обретенными в комсомоле, и с присущей ему серьезностью, он привнес во все, что бы ни делала молодежь Первомайки, дух ответственной дисциплины и решительной смелости, опирающейся на исключительно слаженную и четкую работу ребят.

А Уля Громова была автором большинства воззваний и листовок первомайцев. Только теперь стало видно, какой огромный моральный авторитет среди подруг и товарищей был накоплен этой девушкой еще с той поры, когда, равная среди равных, она училась со всеми и ходила в степь и пела, и танцевала, как все, и читала стихи, и водила пионеров, стройная девушка с тяжелыми черными косами, с глазами, то брызжащими ясным сильным светом, то полными таинственной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, чем страстная, но и та и другая вместе.

Молодости свойственно судить о показном и подлинном, о живом и скучном, ложном и значительном, не на основе изучения и опыта, а с первого взгляда, слова, движения. Уля не имела теперь подруг, особенно приближенных к ней, она была равно внимательна и добра, и требовательна ко всем, но достаточно было девушкам видеть ее, обменяться с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это в Уле не от скудости душевной, а за этим стоит огромный мир чувств и размышлений, разных оценок людей, разных отношений к ним, и этот мир может проявить себя с неожиданной силой, особенно если заслужишь ее моральное осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отношение воспринимается как награда, — что же сказать, если они хоть на мгновение приоткроют свое сердце?

И так же ровна она была со всеми юношами. Никто из них не только не мог сказать, что она более дружна с ним, чем с другим, ни один из них внутренне не смел даже допустить этой возможности для себя. По одним ее взглядам, движениям каждый юноша понимал, что он имеет дело не с самолюбивым преувеличением своей личности и тем более не с бедностью чувства, а с тем цельным, скрытым миром подлинных страстей, которые еще не нашли того, на кого они изольются полной великой чистой мерой, но они не могут расходовать себя по капле. И Уля была окружена тем неосознанным, бережным и беско-

гласным обожанием ребят, которое выпадает на долю исключительно гильных и чистых девушек.

Именно поэтому, а не только потому, что она была начитанна и умна, она естественно, свободно, даже незаметно для самой себя владела душами подруг и товарищей-первомайцев.

Девушки собрались у сестер Иванихиных, где они теперь большей частью собирались: они располагали здесь отдельной комнатой, а родители сестер были наиболее наивны и беспечны в отношении занятий своих дочерей,—девушки собрались у Иванихиных, они делали индивидуальные пакеты с перевязочным материалом для раненых.

Перевязочный материал был похищен Любкой еще у тех офицеров и солдат медицинской службы, которые гуляли у нее,—она похитила его так, мимоходом, не придавая ему значения. Но Уля, узнав об этом, сразу пустила его в дело.

— Каждый из наших мальчишек должен иметь при себе индивидуальный пакет, они ведь не то, что мы, им придется сражаться,—говорила она.

И, должно быть, она видела очень далеко, когда говорила:

— А придет время, когда мы выступим все, и тогда нам нужно будет очень много перевязочного материала.

Так они сидели и делали эти пакеты, и даже Шура Дубровина, студентка, которую в былые времена считали не общественной, какой-то просто индивидуалисткой, принимала участие в этой работе, потому что она из любви к Майе Пегливановой тоже вступила в «Молодую гвардию»,—а тоненькая Саша Бондарева говорила:

— Знаете, девушки, на кого мы все сейчас похожи? На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а потом вышли на пенсию или на иждивение своих детей,—я их сколько насмотрелась у своей бабушки. Они вот так же, одна за другой, каждый день соберутся у моей бабушки и сидят: одна вяжет, другая шьет, третья пасьянс кладет, четвертая помогает бабушке картошку чистить,—и молчат... Молчат, молчат, потом одна встанет, потянется и говорит: «А что, бабоньки,—встряхнемся?..» Бабки улыбнутся себе под нос, а другая скажет: «Да что не грех бы встряхнуться»... И тут у них уже идет складчина, почиталтынному с носа,—глядишь, и косушка на столе, много ли им нужно, бабкам-то? Выпьют по наперстку, подопрут щеки вот эдак румяной и—запоют: «Ой, ты, колечко мое позлащенное...»

— Ох уж эта Сашка, и всегда она что-нибудь выкопает такое!—смеялись девушки.—Да и уж не составить ли и нам что-нибудь такое, как те старушки...

И в это время пришла Нина Иванцова,—теперь она уже редко приходила просто так, посидеть с девушками, теперь она всегда приходила, как связная от штаба, а где он был, этот штаб, и из кого он состоял, девушки не знали. Со словом штаб связано было у них представление о каких-то взрослых людях, которые сидят где-то там в подполье, возможно в блиндаже под землей, и стены вокруг увешаны картами, и сами эти люди вооружены и они могут тут же по радио связаться с фронтом, а может быть, даже и с Москвой. И вот пришла Нина Иванцова и вызвала Улю на улицу, и девушки уже понимали, что, значит, Нина пришла с новым заданием. И действительно,

через некоторое время Уля вернулась и сказала, что она должна отлучиться. Потом она отозвала Майю Пегливанову и сказала ей, чтобы индивидуальные пакеты девчата разобрали по домам, а штук семь-восемь она отнесла бы к Уле, потому что они могут скоро понадобиться.

Не прошло и четверти часа, как Уля, подобрав юбку и перекинув через плетень сначала одну, потом другую, длинные стройные ноги, перелезла из своего садика в садик Поповых, где на высохшей травке в тени старой вишни лежали друг против друга на животе Анатолий Понов и Витя Петров и рассматривали карту района.

Они издали заметили Улю, и, когда она подошла к ним, они, тихо переговариваясь, продолжали смотреть в карту. Уля небрежным движением выгнутой кисти руки закинула за спину косы, павшие ей на грудь, и обобрав по ногам юбку, опустилась возле них на корточки, стиснув коленки, и тоже стала смотреть в карту.

Дело, которое было уже известно Анатолию и Виктору и ради которого была вызвана Уля, было первым серьезным испытанием для первомайцев: штаб «Молодой гвардии» поручил им освободить военнопленных, работавших в лесхозе на хуторе Погорелом.

(Окончание следует)

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ
СУД В КРАСНОДАРЕ

— Вы были следователем гестапо?

— Да.

— Вы допрашивали русских?

— Да.

— С пристрастием, конечно, а?

(Молчит.)

— Садитесь.

(Тищенко садится.)

Зал

громного кино зашевелился.

Рабочие, священники, армейцы,
крайкомовцы, домашние хозяйки.

Бухгалтеры, казаки — вся Кубань

швельновалась, как ее пшеница:

здесь каждого седьмого нет в живых.

— Рычкалов!

Я.

— Профессия шофер?

— Шофер.

— Кем вы работали в гестапо?

— Шофером и работал.

— Не стреляли?

— Что?

— Не расстреливали, говорю?

— Да нет. Помилуй бог.

Не приходилось.

Ночить — возил. В том сознаюсь.

Повинен.

Герр оберста возил. Герр лейтенанта.

Герр доктора однажды привозил.

Случалось и герр Тищенко?

Случалось.

(Сидит в зале.)

— Так. И больше ничего?

— Да вот как перед богом!

— Отчего же вас именуют палачом,

Рычкалов?

— Болтать-то можно, гражданин

судья,

да кто поверит? Сами понимаете:
на кой, простите, надобно шоферу
стрелять и вешать, если у гестапо
для этого на службе спецребята?

(— Действительно! — толкнул меня N. N.

корреспондент газетного концерна:

Не думаю, чтобы его, шофера,

держали не по назначению, а?

Не по немецки это, а?

— Возможно.)

Жужжание по залу пронеслось.

Рычкалову поверили. Судья,

внимательно и несколько печально

взглянув на нас, негромко позвонил.

Комендатура пропустила в зал
кого-то в черной мешковатой паре,
настолько новой, что на пиджаке
еще остался номерок «Швейпрома».
Какая-то смешливая девица
хихикнула. Смешинка, зародившись,
еще кому-то залетела в ноздри —
и тот, конечно, фыркнул. Но пришелец
обвел очами зал — и мы застыли:
как будто в душу каждому взглянули
его христообразные глаза.

— Свидетель Котое!

— Я.

— Скажите, Котов:
знаком ли вам вот этот человек?

Два белых самоцвета повернулись
и осветили голову и плечи
понурого Рычкалова.

— Узнали?—

Но Котов неподвижен. Председатель,
расплескивая, наливает воду
в стакан, где возникают пятна, краски,
огни и карлики амфитеатра,
и, словно чудо, посылает вниз.

— Припомните, свидетель. Это
важно —

Но Котов неподвижен. Подсудимый
уже меняет позу. Из понурой
она сперва становится свободной
и, наконец, развязной. Подсудимый
с чуть брезжущей скифской улыбкой
засовывает за спину одну,
потом другую лапу и, качаясь
с подбитых каблучицей на носы,
уверенно и нагло ждет.

— Рычкалов!

Вы где находитесь?

И тут лицо

Рычкалова до дуба отупело.

Он вытянулся, точно прусский унтер,
с готовностью исполнить все на свете,
чтоб только вышло послабление.

Котов,

который все глядел, не отрываясь,
двумя своими лунами,— сказал:

— Теперь я узнаю вас. Вы шофер!
Вы правили машинной. Тою самой,
в которой нас везли из лазарета.
(— Ну, тут большого преступления
нет,—

шепнул N. N. и записал в блокноте:
«Свидетель подтверждает
непричастность
Рычкалова»).

Но Котов продолжает:

— Она была железной, как ядро.
А дверь ее, обитая резиной,
присасывалась насмерть. В тот снаряд

не проникал ни звук, ни луч, ни
воздух.

Лишь черный газ от выводной трубы,
припаянной вовнутрь меж колес,
литую эту камеру заполнит
в течение пятнадцати минут.

Я видел из окна больницы. Ночью
при свете черных факелов германцы
по сорок душ сгоняли с этажей
и впахивали в душегубку. Доктор
в халате и резиновых перчатках
их принимал по описи, затем,
захлопнувши за ними дверь, садился
в шоферскую кабину. И вот тут-то
палач входил в шоферскую кабину,
садился, заводил мотор и... ждал!

— Итак вы утверждаете,
свидетель,

что этот человек и был шофером
машины-душегубки?

— Утверждаю.—

Дремучая улыбка притаилась
в закраинах прорубленного рта,
похожего на зев степного бога.

— Рассказывать, понятно, можно все,
да кто ж поверит? Гражданин
свидетель

все чисто из окошка рассмотрели.
К примеру то, что выхлопная трубка
была припаянная посередке
меж задних скатов. Хорошо. Положим.
А только—как же это можно видеть
с окна второго этажа? С окна
возможно видеть только верх
машины,

но уж никак, свидетель, не подлаз.
Ну, и опять же дело было ночью.

(«Вот видите,— волнуется N. N.—
его желают впутать. Но возможно,
что душегубки и на свете нет.
Легенда!»)

Подсудимый наслаждался
взволнованностью зала и глядел,
все с тою же загадочной усмешкой,
в которой то ль издевка над судом,
порочащим невиногого, а то ли

самодовольство опытного волка,
уверенного, что уйдет.

Но Котов
двумя своими лунами воззрися
в преступника с такою силой света,
что показалось, будто на мгновенье
две тени пали на пол от того...
И голос в истеричной тишине
взмученного зала произнес:
— Я был в четвертой партии, шофер.
Ужель не узнаете привиденья?

И тут феерией взорвался магний!
«Юпитера» заглябли голубизной...
Восставший из могилы побледнел
и стал еще прозрачней. Иностранец
вскочил и потрясенно прошептал:
— Но это же баллада!

Подле парка
на голом и обширном пустыре—
три деревянных буквы «П» торчали
в кольце бойцов. Огромная толпа
цветастой ярмаркой покрыла
площадь:

старухи, молодницы и дивчата,
рабочие, крайкомовцы, студенты,
священники в своих туманных рясах,
казаки от Майкопа до Тамани

польпанах, петушках, ручьях и
травах,
да многие с дитёнком на руках...
— Папаны! А карусели будут?

«Эмки»,
«Паккарды», «Студебеккеры» и
«Доджи»,

возы, тачанки, брички, экипажи,
армейские ландо и верховые
на белых, вороных и золотых.
Казнимые стоят на табуретах,
а табуреты на грузовиках.
Одиннадцать изменников стоят
лицом к лицу перед своей Кубанью —
и это горше казни. Наконец
герр Тищенко не выдержал мученья:
на шею петля, на груди плакат —
все кончится минут через пятнадцать,
но с черной славой трудно умирать,
и он кричит: «Товарищи! Ребята!
Я ж закадычный сын Кубани, братцы!

Я ж ненавижу палачей-хвашистов!»
Рычкалов же загадочно застыл
Все с тою же гранитною ухмылкой.
— О чем он думает?—

Спросил N. N.

— Да ни о чем не думает! Считает:
за сколько дней он мог бы увезти
в своей машине вас, меня и площадь.

Военная труба поет вниманье!
У микрофона в жаркой тишине
Зачитан приговор. Гремит команда.
Грузовики срываются вперед —
И табуретки набок.

Я гляжу,

сердцебиением слитый с боем сердца
огромного народа моего,
что строгостью священной оваян,
и стал подобен самому Закону,
обретшему на площади свой лик.
И это ощущение чистоты,
безгрешности и святости всего,
что совершилось волею народа,
всё что в меня горячею волной,
всю жизнь мою раскрыло предо мной
и душу мне слезою осветило.
— Вам жалко их?—спросил меня N. N.
(записывая быстро на магнеты:
«качаются, как маятники») — А?
Сознайтесь, жалко?

— Нет, совсем не жалко.

— Я вам не верю. Этот ваш ответ
совсем не более, как пропаганда.

— А вы, коллега, видели в Керчи
семь тысяч трупов?

— Нет, не видел.

— Семь.

Там были дети, женщины, калеки.
Возможно, ЭТИ их и расстреляли.
Вот тех мне было жалко.

— Допускаю.

Но согласитесь: те уже мертвы,
а эти живы. Как христианин,
я должен пожалеть сейчас вот этих.

Немыслимая боль, как от удара,
на миг оборвала мое дыханье
и тошнотой под горло.

— Уходите! второй квартал и справа. Ну!
«Христианин» опешил. Ступайте!
— У-хо-ди-те! Мне очень жалко вашего Христа.
Благодарите бога, что никто
не слышал этой фразы. Ваш отель — Станица Темрюк. 1943.

„ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО“

1

Здесь прежде улица была...
Она вбегала так неожиданно
В семейство конского каштана,
Где зелень свечками цвела;
А там, за милым этим садом,
Вздымался дом с простым фасадом,
И шла, голубизны полна,
Рояля нежная волна.

2

Среди обугленных стволов,
Развалин, осыпей, клоаки
Входили конные казаки —
И боль не находила слов!
Мы позабыли, что устали...
Чернели номера у зданий.
Но самых зданий больше нет:
Пещеры да стальной скелет.

3

У городов, как у людей,
Свое лицо, свои движенья.
Но как собрать все эти звенья,
Чтоб в этой каменной ладье
Узнать фасад многоожонный,
Литое кружево балкона,
Сквозь двери на стене пейзаж
И пальцев тающий пассаж.

4

Большой рояль, от блеска бел,
Подняв крыло, стоял, как айсберг.
Две-три триоли, взятых наспех...
Нет, не рыдал он и не пел:
Дышал! И от его дыханья
Рождалось перьев колыханье...
Не звук, а музыкальный дым
Ходил над блеском ледяным.

5—6

Я не сказал бы, чтоб тогда
Я был счастливее, чем прежде.
Но если парк в бывшей одежде
Теперь обуглен навсегда;
Но если город с парком этим
Мы больше никогда не встретим,
То — как бы это объяснить? —
Какая-то на сердце нить
Оборвана.

И счастья нет.

И словно что-то в нас убито.
Воспоминания без быта
Чего-то требуют, как бред!
Как если б ты проспал столетье.
Очнулся — и виденья эти
Стремилась населить собой
Любую пыль и прах любой.

7

Вот тут был дом. Он должен быть
Такой же в точности — иначе
Я существую, но не значу.
Ведь «быть» еще не то, что «жить»
Когда хоронишь друга — это
Ты сам частицею со света
Уходишь. Что же значит «я»
Без теплых связей бытия?

8

Вот здесь, товарищи, была
Моя Россия...

Есть и будет?

Ну, да. О да! Но кто осудит
За то, что в родине мила
Не география простая
От Буковины до Китая,
Что от отечества мне дан
Не только ведь меридиан.

О, современники мои,
Седое с детства поколенья!
Мы шли в сугробах по колени,
Вели тяжелые бои,
Сквозь наши зубы дым и вьюга
Не в силах вытащить ни звука;
Но столько наглотаться слез
Другим до нас не довелось...

10

И вдруг из рупора, что вбит
В какой-то треснувший брендмауер,
Сквозь эту ночь и этот траур,
Невероятный этот быт —
Смычки легко затрепетали,
И, нежно выгибая тальи,
В просветах голубых полос
Лебяжье стадо понеслось.

11

Оно летело, словно дым
От музыкального дыхания,
В самом полете отдыха,
Груясь движением одним,
Но той же линией единой
Заметнулся поезд лебединый —
От оперенья воздух сиз,
И веет, веет pas de six¹.

12

«Шестнадцатые»² из-под ног
На рампу нотами летели.
Рой балерин игрой метели
В живой сплетается венок.
Блестательны, полувоздушны.
Смычку волшебному послушны,
То стан совьют, то разовьют
И быстрой ножкой ножку бьют.

13

Но вмиг все замерло. Столбы
Пржекторов над царством птичьим.

¹ «Танец шести» из балета Чайковского «Лебединое озеро».

² Деления ноты.

Торжественным и страшным кличем
Проносится труба Судьбы —
И вот, не оставляя следа,
Охваченная пеной Леда
Над ледяною гладью вод
Наплывом музыки плывет.

14

Она, как свет. Она, как вздох.
Она почти неощутима.
За нею лебеди, как зимы...
Виолончель под ней, как бог!
Движеньем горестным и лунным
Она спускается по струнам,
И где-то на вершине сна
Сквозь душу движется она.

15

И я гляжу... И грезит сад
В какой-то дымке небывалой.
Кругом руины и обвалы,
Как зачарованы, стоят.
Все ближе задушевный лепет —
Перед тобой Царевна-Лебедь,
И вскинула ночная мгла
Ее метельные крыла.

16

Чаруй, метелица, чаруй.
Пари над миром русский гений!
Ты утоляешь зной мучений
Прикосновеньем вьюжных струй.
Кружится ворожба живая —
И я очнулся, оживая:
Углы обугленной страны
В лебяжий пух наряжены.

17

И все парит, парит она
Из сказки в черный порох были.
На ней, как мамушки любили,
И впрямь короною луна;
Ее глаза, как звезды, сини...
Она с тобой, душа России!
Ты узнаешь? Впиваешь ты
Ее любимые черты?

Краснодар, 1943 г.

ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ

АВИНЬОНСКИЕ ЛЮБОВНИКИ

Повесть

Книга «Авиньонские любовники» вышла нелегально во Франции в 1943 году. В том же году она появилась на французском и немецком языках в Швейцарии, а в 1944 году в Алжире, куда текст был передан из Лондона фотографическим способом. Настоящее имя автора — Эльза Триоле — было тогда скрыто под псевдонимом Лоран Даниэль.

«Авиньонские любовники» — повесть об обыкновенной девушке, которая ежедневно незаметно рискует жизнью. Таких незаметных героев во Франции во время оккупации было много. Повесть эта вошла в книгу «Порванное сукно стоит двести франков», за которую Эльза Триоле в 1945 году получила Гонкуровскую премию.

Мне Жюльетта Ноэль очень нравится. По-моему, она очень хороша собой. Говорят, что я слишком снисходительна к женщинам и что для меня они все хороши, или, вернее, что для меня в каждой из них есть что-нибудь хорошее. Когда у женщины нежный цвет лица, шелковистые волосы, белые ручки, родинка или ямочка на щеке, то с меня и этого довольно, и мне она кажется красавицей. Но на этот раз можете мне поверить, без всякой снисходительности невозможно не согласиться, что Жюльетта очень собой хороша! Вылитая машинистка из американского фильма: светлые кудри, длинные ресницы; что бы она ни надела, все на ней нарядно, а носит она обыкновенную вязанную кофточку, очень короткую юбку и туфли на очень высоких каблуках. Да она и на самом деле машинистка, и притом первоклассная, настолько хорошая, что, будучи сначала лишь одной из двадцати машинисток авиационного завода, она вскоре стала секретарем мосье Мартена, главного инженера, а потом и личным секретарем самого патрона. Произошло это так, как это бывает с маленькой актрисой, которую за минуту до поднятия занавеса предупреждают, что она должна заменить примадонну и которая с этого вечера становится знаменитостью: стенографистка правления не явилась, и в последнюю минуту вызвали Жюльетту; она так хорошо записала все доклады и даже все прения, что сам патрон немедленно потребовал ее для себя. Инженер Мартен никак не мог утешиться.

Жюльетта хороша, как с картинки, но держит она себя с таким достоинством, так сдержанно, что люди к ней близко подходить

удачную любовь. В лесочке, мимо которого она шла, внезапно что-то зашевелилось, как будто упало тяжелое тело, послышалось ворчание. Звери... Говорят, что в окрестностях водятся волки. Волки! Каким могут быть волки в этой мягкой тишине, в мирном покое. Под самое Рождество небывалое, весеннее тепло! Верно, бог послал эту теплынь, чтобы пресвятой деве было легче рожать... Белые вершины гор набегали друг на друга, луна стояла очень высоко, окруженная золотым обручальным кольцом. Вот три тополя, три часовых, что стерегут дом за горой. А вот и самый дом... Он грозоздится против света темный, но когда Жюльетта обошла его, она вдруг остановилась как вкопанная, кто-то зажег электричество во дворе! Да нет, чего она испугалась, ведь это просто светит луна, да так, что отчетливо виден каждый камень, и рваный башмак, и осколки посуды, и черепицы крыши... Послышался голос фонтана, тонкий, как водяная струйка, падающая в бассейн.

В эту ночь Жюльетта не слышала крыс: она уснула совсем одетая на тюфяке; двадцать километров давали себя чувствовать! И ласковым солнечном лучом ее не разбудить, даже будильник, изо всех сил трещавший возле подушки, еле смог ее добудиться. Она открыла глаза, почувствовала, что у нее все болит, что в доме ужасно холодно и что ей хочется принять теплую ванну и выпить кофе с молоком, с маслом и вареньем... В большой мрачной комнате не было ничего, кроме белого квадрата окна и холодного камина. На столе, у самого изголовья, лежал крысиный помет.

Но на дворе было еще теплей, чем вчера. Стоял туман, и снег везде чуть подтаял. Жюльетта пошла по лужам и грязи.

Этот день был не таким удачным, как вчерашний. На первой ферме ее встретили плохо. На второй сразу же стало ясно, что это ошибка, и Жюльетта даже не подымала разговора. Дом был черный, беспросветный, хотя на дворе стоял ясный день. Казалось, что свету не хотелось переступить порог, и он останавливался у белесого окна. В камине тлели дрова, красноватые отблески разбегались во все стороны. На полу сидела девушка, а на табуретке перед огнем другая. Жюльетта едва различила стол, керосиновую лампу; рассмотрела, что девушки молоды, лет по шестнадцати, не больше. У стола стоял парнишка в берете. На нем был свитер, продранный на локтях. И девочки были низкорослые, обтрепанные. Они чистили каштаны, и шелуха засоряла весь пол, трещала под ногами. Жюльетта спросила дорогу до Б., ей нужно было как-то оправдать свой приход.

— Это совсем не та дорога, милая барышня, наша дорога никуда не ведет.

Обе девочки заговорили разом, объясняя, как пройти. У той, что сидела на земле, был крикливый, хриплый голос, и каждый раз, когда она заговаривала, она вся подавалась вперед, как будто собиралась наброситься на вас. Громко сжуря, они продолжали чистить каштаны, а та, что сидела на земле, так надрывалась, как будто эта работа требовала большой физической силы.

— Вы их чистите до варки?— спросила Жюльетта.— А я всегда делала наоборот.

— Так скорее сварятся,— сказала белокурая, сидевшая на табуретке. Видны были ее голые ляжки — она раздвинула ноги, чтобы со-

Потом началась война. эвакуация... Жюльетта и тетя Алина с ма-
лышом оказались в конце концов в Лионе. Жюльетта стала работни-
цей машинисткой в редакции газеты.

Крысы бесились всю ночь. Казалось, они берут дом приступом,
но на самом деле они возились в самом доме. Что-то падало, катилось,
грохалось о стенки, шла сумасшедшая гонка и грызня тут же, совсем
рядом... Но рассвет застал в доме неподвижную тишину. Вскоре окно
заискрилось снегом, втихомолку выпавшим за ночь. Куда только ни взгля-
нешь через это окно, везде широкая белизна, ни человек, ни зверь не
оставили на ней следов... И снег был гладкий, как свежеевыглаженная ска-
терть. Нужно было быть смелой женщиной, чтобы провести ночь в этом
одиноким доме, затерянном в горах. Она прыгнула со стола, на кото-
рый был положен тюфяк, и, дрожа, в пальто, накинутом на ночную
рубашку, присела на корточки у камина. К счастью, огонь разгорелся
быстро: головешки еще тлели со вчерашнего вечера. У женщины стучали
зубы, но ей сразу стало легче, когда она взяла в руки горячую чашку...
«Все-таки бессовестно посылать меня в такое место»,— подумала она.

«Место»— огромная комната с низким потолком, со старыми дере-
вянными балками, крепкими и темными, как железо, с когда-то выбе-
ленными стенами и одним-единственным окошком в глубокой, в меру,
амбразуре, с шаткими половицами, из-под которых дул лютый ветер...
Стол, на котором она спала, несколько табуреток... Это была заброшен-
ная ферма, а в этих краях, где даже жилые фермы как будто остались
от каменного века, пустая ферма сразу становится похожей на притон
разбойников.

Женщина одевалась чуть ли не в самом камине—уже в десяти
сантиметрах от огня было невыносимо холодно. Она кое-как при-
чесалась перед маленьким зеркальцем из сумочки. Пепел сыпался ей
на волосы, и она громко засмеялась, когда увидела сажу на носу.
Нахлобучила берет, накинула пальто...

Но когда она закрыла за собой дверь и спрятала ключ в печку,
пристроенную к дому и полную битых бутылок, старых сапог и ды-
рявых кастрюль, когда она вышла во двор, мощный крупным плоским
камнем, разубранный снегом и украшенный длинной струей воды,
падавшей в каменный бассейн весь в ледяных цветах, когда она огля-
нулась кругом, она была совершенно ослеплена: на переднем плане
огромного пейзажа стоял дом, низкий и широкий, приткнувшийся к го-
ре,— как будто для того, чтобы укрыться от ветра и людей,— кры-
тый старой телесно-розовой черепицей, сдвинутой от постоянного на-
пора ветра.

Вершины гор прятались друг за друга, постепенно перемещаясь,
по мере того, как она шла. Она подымалась в гору, оставляя за собой
на нетронутым снегу следы не больше детской ноги. Когда ветер сдул с
ее лица ночную усталость, оказалось, что цвет лица у нее тоже детский,
а глаза взрослой женщины... Наверху, по склону, шла дорога. Женщина
поднялась по ней до рожицы и пошла по тропинке, ведущей в чащу.

Там свежо запахло снегом,— так пахнет в шкафу с чистым бельем...
Совсем не было холодно, и если бы солнце пригрело еще немножко, оно
растопило бы всю эту белизну, непрочную, как тонкое кружево, без

мьяна окаймлявшее каждую голую веточку, каждую иголку... За рощей начинался другой склон, совсем непохожий на первый, как будто это был другой край: среди гор лежала долина, но горы суровые, голые. Здесь снега было мало, и склоны гор были точно небритые морявые щеки, с синевой... Кое-где фермы. Женщина пересекла поле, прошла мимо шалаша и вышла на дорогу. Солнце ярко освещало камни, вершины гор, белые складки снега. Стада овец, передвигаясь кустом скопом, щипали на склонах бесцветную траву. Пастушки в черном, укутанные в платки и шали, в черных круглых шляпах, стояли на солнце и вязали, провожая глазами прохожую... сторожевые собаки радостно лаяли и неслись за ней, потом внезапно отставали и спокойно возвращались к своим обязанностям.

Она еще раз свернула с дороги, круто спустилась до другой, которой шла ровно и как будто опоясывала всю гору целиком... Скоро в конце тропинки показался дом, сизобелый, как дым, выходящий из трубы. Тропинка ушла в грязь. По обе стороны ворот (стены не было, но ворота стояли) росли высокие тополя. Во дворе — грязь с соломой. Грозоздились дрова, уходя под самую черепичную крышу, валялись связки хвороста. В двух больших черных котлах стоял корм для свиней; гуляли куры, индейки гордо держались особняком. Собаки лаяли до хрипоты, но не трогали, они просто предупреждали кого надо, что во дворе чужие... Наконец появилась толстая женщина в берете и завязанном крест-накрест на обширной груди шерстяном платке... Очевидно, это здесь.

— Здравствуйте, мадам, — сказала гостья. — Вы мадам Буржуа? Я к вам от Константина. Меня зовут Роза Туссэн.

Оказывается, Жюльетта Ноэль умела врать.

Женщина сразу засуежилась.

Муж вернулся часам к одиннадцати. Он был похож на свою жену: такой же крупный, с таким же круглым лицом и ясными глазами.

Пятеро детей, сидевших вокруг стола, тоже обещали со временем стать такими же, как родители. К обеду был суп с салом и овечий сыр. Сначала пили красное вино, потом ячменный кофе с рюмочкой коньяку. В тот же день Жюльетта посетила еще две фермы, которые ей указали Буржуа. Понятливые люди эти Буржуа, она сразу почувствовала себя у них, как дома. Никогда Жюльетта не думала, что сумеет найти общий язык с крестьянами. До сих пор, когда ей приходилось иметь с ними дело, а это бывало не часто, — где-нибудь на даче, или когда случалось спросить дорогу, — ей всегда казалось, что они говорят на иностранном языке или что они глухие и не понимают ее. Но в семье Буржуа ее понимали очень хорошо, язык у них был несомненно общий: родной, французский язык. В двух других фермах ее встретили так же гостеприимно, и Жюльетта снова ела суп с салом, пила красное вино и коньяк. Потом сидели у огня и говорили все о том же.

Какое счастье, что взошла луна! Жюльетта пошла по самой близкой дороге, и ей было тепло от вина и надежды. В 1942 году зима была мягкая, и казалось, что это к добру. Все вокруг сияло от лунного света, и ей не было страшно. Чего бояться, когда так хорошо! Спать не хотелось, — кому охота расставаться с такой ночью. Другим бывает хорошо только вдвоем, а ей — нет. Она остро вспомнила свою не-

сидеть в юбку чистенные каштаны. На ней были черные шерстяные чулки, все рваные, большие дыры казались очень белыми. Две жидкие лапки были заколоты вокруг головы. Парень у стола играл пожом, не дотрагиваясь до каштанов, рассыпанных перед ним.

— Вы живете в Б.? — провизжала девчонка, сидевшая на полу, и шмыгнула к Жюльетте, как дикая кошка.

— Нет, я только проездом.

— А не то приходите завтра в деревню, мы завтра празднуем свадьбу моего братишки вот с ней.

Она показала на белокурую девочку.

— Что ж, тогда я, может быть, и останусь. А теперь я попробую пойти на дорогу.

Она пожала руки трем ребятам и вышла в туман, показавшийся ей совсем светлым после темной избы.

На третьей ферме она нашла людей разумных. Когда она рассказала, что была на ферме, где живут девушка с братом и с невестой брата, старушка с розовым лицом под белоснежными волосами покачала головой.

— Отец у них помер сумасшедшим, — сказала она, — и если б девчонка отказала сыну, его бы наверно тоже пришлось посадить в сумасшедший дом — до того его забрало. А если она с ним начнет шутки шутить, то и он помешается. Или помрет. Сироты несчастные, присмотреть за ними некому. Все поели, что у них было, — а чего-чего у них там только не было! Сколько раз я ей говорила: «Рене, пойди вымойся... зашей хоть дыры на платье». Ничего не помогает... И кто это нам велел к ним идти?

В честь гостей старуха подбросила в огонь охапку можжевельника, от которого пошел фейерверк, словно 14 июля¹. Старик с висячими усами, в сабо², из которых бахромой вылезала солома, бурчал, глядя в огонь:

— Ничего не скажешь... ружье мне отдавать неохота... весной у нас лисы кур воруют, что я буду без ружья делать... Только везде доносчики найдутся...

Старушка наливала в рюмки ликер.

— Жандармы говорят, — продолжал старик, — сдайте старое, негодное, а хорошее спрячьте. А где мне взять негодное? Они говорят: зарежьте поросенка, все равно немцы его отымут. А я почему знаю? Ведь это ж жандармы, они ходят к нам за продовольствием для себя, может, они для того и советуют зарезать поросенка. Вот вы, барышня, образованная, что вы на это скажете?

Старушка подала на подносе полные рюмки.

— Насчет поросенка ничего не могу сказать, — сказала Жюльетта, — и это вы верно говорите, что жандармы жандармами и останутся, но они не только жандармы, они еще и французы... На вашем месте, я не отдала бы ружье, когда оно вам понадобится лису подстрелить или еще для чего-нибудь, вам другого не отыскать. Не относите ружье в мэрию.

¹ 14 июля — французский национальный праздник.

² Сабо — деревянная крестьянская обувь.

— Вот и сын мой тоже так говорит. Да вот только доносчик.

Да, день выдался неудачный. Жюльетта очень устала, от фермы и фермы приходилось идти по пять-шесть километров, и не все крестьяне были похожи на семью Буржуа. Туман рассеялся, взошла чудесная луна и ночь была хороша, как накануне, но Жюльетте было не до красот природы... Ее дом за горой показался ей зловещим. Двор был ярко освещен, так же как и накануне. У Жюльетты ноги подкашивались от усталости. Долго шарила она в печке, никак не могла найти проклятый ключ.

В доме было куда холоднее, чем на дворе, и Жюльетта слишком устала, чтобы сразу уснуть... Лучше было развести огонь, чем лежать и слушать возню крыс. Дрова были сложены в сарае, куда вела дверь прямо из комнаты. Испугавшись электрического света, вдоль полусгнившей кормушки шмыгнула гигантская коричневая крыса. Жюльетта звонко вскрикнула и спокойно подошла к поленнице. Свет затейливо играл на столбах, которые поддерживали крышу, и на поднятых к небу, как разломленные руки, оглоблях повозки. На холодном земляном полу валялась солома, сено, щепки, хворост. К стене пристонилась куча битой посуды, тазы, бутылки и стаканы, груда сору... Ей пришлось тащить к камину не поленья, а целые деревья, она едва с ними справилась. Сухие ветки для растопки спутались, словно колючая проволока. Жюльетте стало жарко еще до того, как она развела огонь. Пламя вырвалось из-под дров, развеиваясь, как оперные яркие лохмотья. Одиноким с огнем веселее. Огонь живет, ведет себя то так, то этак... Характер у него неровный, коварный,— затаится за поленом, будто и нет его, и вдруг начинает бить высоко и светло, веселый, безудержный и жадный,—что бы ни захватил, все ему мало,—потом внезапно уходит в себя и тихо, благоразумно тлеет. Жюльетта разулась, села как можно ближе к огню и стала мечтать.

Мечтать для нее было делом привычным, но когда сон становится явью, то забываешь, что это сон, и кажется — так все и должно быть. Она не удивилась бы, если б ей пришлось идти по воде, как посуху. «Это вполне нормально», — как говорил рыжий доктор, когда ему рассказывали страшные подробности о каком-нибудь побеге, о ценах на черном рынке, или когда при нем говорили о невыразимом ужасе, — о расстрелянных заложниках. А между тем ведь это только во сне может присниться, что Жюльетта Ноэль, машинистка, вместо того чтобы работать в редакции и возвращаться домой к тете Алине и Хосе, бродит в полном одиночестве по заснеженным дорогам, сидит в полном одиночестве в этом доме, окруженном белой пустотой, и слушает крысиную возню... Как будто ей выпало на долю пережить сон, не ей предназначенный, чей-то чужой сон, потому что на самом деле Жюльетте снились обыкновенные сны о любви. И не о такой любви, какую довелось ей пережить, любви позорной, унижительной... Да, человека, который не сумел удержаться на высоте любви, надо выгнать из ее царства, чтобы любовь не была святотатством, чтобы она была тотальной, как война.

Ну и времена, когда Жюльетте Ноэль, вместо того чтобы мечтать о любви, приходится бродить по занесенным снегом дорогам!

Пламя упало, посинело, поленья еще сохраняли форму поленьев,

казались прозрачными сосудами, налитыми жидким огнем. Жюльетта стукнула по ним кочергой,— получился настоящий замечательный фейерверк. Раньше она боялась оставаться одна по вечерам даже в Париже, в большом доме, где жили люди сверху донизу. Ей становилось дурно при виде крохотного мышонка! Но такой уж она была: когда можно было выбирать, ей бывало и страшно, и холодно, и утомительно. А когда выбора не было... Какой же мог быть выбор в 1942 году! Пламя превратилось в золотую груду. Надо было идти спать, пока не пробрала дрожь.

Да, мечтать для нее было делом привычным. Ее мечта походила то на Гарри Купера, то на Чарльза Вояе...¹ Но как мечтать о любви, лежа на соломенном тюфяке, когда вокруг одни крысы и странные тени качаются на черном в белых полосах потолке, и кажется, что черные балки спускаются все ниже и ниже, прямо на голову... Жюльетта не потушила лампу,— может быть, крысы испугаются света. Электричество в этом доме казалось каким-то чудом, и ему было здесь как будто не по себе: оно вспыхивало, слабело, лампочка над столом то краснела, чуть светя, то вдруг снова накалялась добела. Много крюков и гвоздей торчало в черных балках потолка и в белых, задымленных и грязных промежутках между ними. Было неприятно вспоминать, что внизу незнакомый подвал, где носятся крысы.

Под утро весь воздух наполнился шумом моторов. Самолеты шли, шли без конца, а внизу, в домах каменного века, люди вставали, выгоняли скот, разводили огонь, дети бежали в школу, задрав носы, и смотрели, как летят немецкие самолеты. Жюльетта все вспоминала вчерашнего парнишку в берете и рваном свитере, который сошел бы с ума, если бы девочка не пошла за него. Две жидкие косички, заколотые вокруг головы, дыры в черных чулках... Сколько силы нужно, чтобы любить в такой обстановке. Жюльетте хотелось любить кого-нибудь красивого. Чтобы музыка была, песни...

Жюльетта встала. Надо было снова развести огонь. Не нравилась ей деревенская жизнь. Она посмотрела на свои почерневшие ладони. Жить только ради своего тела, чтобы его накормить, согреть... Да, наверно, не часто слушают крестьяне пенье жаворонка. Ей пришло в голову, что для того чтобы у них было время слушать пение, им нужны были бы трактора,— и она не осознала всей серьезности этой мысли. Ожоченными от холода руками Жюльетта собрала вещи, уложила их в маленький чемодан. Кое-какие продукты, которые ей дали на ферме Буржуа, уже были уложены в сумку,— там был даже целый кролик. Самые драгоценные вещи она тоже засунула в сумку под кролика: так вернее...

До деревни Б. было добрых десять километров. Жюльетта пошла по тропинке через лес. Вот тот самый небритый склон горы. К счастью, дорога шла под гору. После бессонной ночи Жюльетта, несмотря на чудесное утро и свежую белизну, с беспокойством думала о дальнем пути: за ночь снова выпал снег. На дороге никого не было, единственная ферма, попавшаяся на пути, казалась нежилой: труба не дымилась. Но видно было, что здесь работали рабочие, дорога была

¹ Известные кинематографические актеры на ампула «первых любовников».

изрыта, земля перемешена с острым щебнем. Жюльетте было жалко своих башмаков,—это были ее единственные крепкие башмаки, хоть и слишком тонкие для таких дорог. Чемодан и сумка с кроликом отягивали руки. Ей пришлось несколько раз останавливаться; по правде сказать, она выбилась из сил... Наконец она вышла на шоссе: деревня, видневшаяся внизу, наверно и есть Б... Вдоль гладкой, широкой дороги стояли белые нарядные столбы с красным ободком. Но была гололедица — новая беда! Жюльетта шла медленно и все чаще опускала свою ногу на землю.

Деревня началась развалинами; без всякой живописности, просто торчали полуразвалившиеся стены. Кладбище, домики с садиками, мостик, улица... почта... лавка... кафе... церковь... небольшая площадь. Вот и кафе, у которого останавливается автобус.

Посредине кафе стояла печка с решеткой, было тепло. Жюльетта положила свои вещи на скамью и уселась подле печки, подавляя стон,—до того болели руки. Автобус должен был притти еще нескоро, в кафе были одни только тюки и мешки, да еще в углу сидели и закусывали двое рабочих. Тощая собачонка обнюхала жюльеттины руки. Хозяйка, словоохотливая и приветливая, спросила, что ей угодно заказать, больше по привычке, потому что у нее ничего, совсем ничего не было ни из питья, ни из еды, кроме лимонада на сахарине. У нее был совсем сконфуженный вид: «Если бы не надо было обслуживать грузчиков, впору совсем закрыть...» Рабочие убрали в кошолку остатки еды и пустую бутылку из-под вина. К счастью, милая госпожа Буржуа, кроме кролика, дала Жюльетте толстый ломоть хлеба, сыру и крутых яиц. Жюльетта присела к столу. Хозяйка из задней комнаты принесла ей стакан вина. «Это свое,—сказала она.—Что ж делать, нельзя же вам есть всухомятку». Жюльетта поблагодарила с присущим ей достоинством и улыбнулась, отчего на щеке появилась такая ямочка, что она сразу покорила хозяйку.

Маленький автобус, серый и обтрепанный, пришел с опозданием на час и был переполнен доотказа. Там, в горах, в нетронутой предрождественской белизне, можно было забыть обо всей этой праздничной суете. Вместе с автобусом подошел жандарм. Он с важностью проверял документы у мужчин, которые выходили из автобуса, и у тех, что садились. Жюльетте удалось занять место на скамейке в первом ряду. Перед ней навалили багаж. Ее сосед, высокий детина, из «компаньонов»¹, подобрал длинные ноги, чтобы Жюльетте было где поставить свой чемоданчик. Влезла женщина с мальчиком на руках, который орал изо всех сил. «Компаньон» уступил ей место: так ему удобней было исподтишка любоваться Жюльеттой. Надрывавшийся от крика мальчишка ненавидел автобуса,—объяснила бабушка (женщина была его бабушкой). Весь автобус улыбался и заигрывал с мальчиком, у бабушки спрашивали, как поживает ее дочь и другие внуки... На каждой остановке входили люди, кондуктору поручали посылки: автобус был набит ими доотказа. В таких условиях не могло быть и речи о красотах природы. Жюльетта и свету не видела за спиной старухи, одетой во все черное. Старуха прислонилась к коленям Жюльетты, ей

¹ «Компаньоны» — вишийская организация молодежи.

нужно было уравновесить тяжесть трех корзин: в одной был живой индюк, в другой — два живых индюка, третья была набита пакетами. Как только эта старуха появилась, в автобусе поднялась вонь. Красные, обезумевшие головы индюков торчали из корзин. «Компаньон» уже несколько раз подхватывал старуху, которая падала на колени к Жюльетте, и весь автобус хохотал, а индюки гадили на юльеттины чулки и башмаки. Наконец, наконец-то доехали. Автобус прежде всего остановился у почты — сдать посылки. Чтобы доехать до вокзала, предстояло еще пересечь весь городок.

Пассажиры ждали без конца — такое количество рождественских посылок накопилось для сдачи. Автобус втиснулся в узкую улицу, которая называлась Большой, и плотно ее закупорил. В спину ему хлестал злующий визг автомобильного гудка. Посылки были сданы, но заглох мотор, и автобус не двигался с места. Шофер возился с мотором, нетерпеливые пассажиры слезали и шли пешком. Перед радиатором вырос немецкий солдат, он что-то кричал и размахивал руками. Теперь, в опустевшем автобусе, Жюльетте через заднее оконце был виден немецкий грузовик: это он и гудел, как бешеный. Автобус неожиданно рванул, немец бросился в сторону, шофер сел к рулю, крикнул: — Ишь, торопятся... За победой, что ли, гонятся! — и автобус пошел.

Женщина позади Жюльетты нагнулась к ней: — А все-таки, — зашептала она, — хорошо было бы, если бы они убрались! И когда только все это кончится!..

— Это верно, — ответила Жюльетта.

Оставив чемодан на хранение, она взяла билет и пошла искать комнату: если найдет — останется ночевать тут, если нет — поедет вечерним поездом и переночует где-нибудь в другом месте.

На Большой улице было очень оживленно. Глядя на витрины, можно было подумать, что действительно есть что купить: магазины выставили все, что у них было заготовлено к празднику: башмаки по карточкам, коробки с наждачным порошком, обернутые серебряной слюдой канителью и раскрашенные глиняные игрушки.

Церковь с колоннами казалась взрослым человеком среди детей — такая она была высокая, большая и важная среди домиков Большой улицы. Вот и гостиница. Комната действительно нашлась, но не было постельного белья; вернее, белье было, но оно не высохло, потому что, вместо того чтобы сохнуть, оно замерзло. «Если вам угодно, барышня, подождите, пока оно просохнет... Комната не топленная, но можете поглядеть в столовой, там печка...»

Печка в столовой, в которой никто не столовался, была почти холодная. Жюльетта села на стул у печки. Вошла женщина в вязаных фуфайках, надетых одна на другую. Явно старая дева... У нее была помодка человека, у которого болят обе ноги и который никак не может решиться, на какую ногу ему хромать. За ней семенила собачонка. Женщина протянула свои искривленные ревматизмом руки к печке, собачка взобралась на стул и принялась чихать.

— У нее насморк — произнесла женщина со сверхъестественным английским акцентом, улыбаясь Жюльетте. Жюльетта уже на улице слышала английскую речь: очевидно, в этом городке жили сосланные

англичане¹. Женщина вытащила из сумки для продуктов чулки и положила их прямо на печку. На этой печке они не сгорят.— В комнате так сыро, что ничего не сохнет,— объяснила она.— Ну, ну, Милли, не кашлай так! — Собака хрипела.

На улице светило солнце и кружилась алмазная путаница снежных хлопьев. «Вы не можете прекратить все это?»—спросила англичанка, показывая на снег хозяйке, выглянувшей в окошечко, через которое в былые времена выдавали обеды. Хозяйка улыбнулась шутке. «Я бы с удовольствием, но на Рождество полагается, чтобы шел снег». Она исчезла. Девушка лет пятнадцати—шестнадцати вошла в столовую.— Мама,—крикнула она,—здесь будем чай пить или в задней комнате?

Она неприязненно посмотрела на Жюльетту, как будто Жюльетта целиком заняла столовую и из-за нее придется пить чай в другой комнате... Девушка была стройная, с косами.

«Вы не можете прекратить все это?»—продолжала шутить англичанка, обращаясь к девушке. «Нет, не могу, на Рождестве обязательно должен идти снег». Хозяйка открыла дверь настежь, чтобы вынести стол видно, решено было пить чай в другой комнате. Жюльетта почувствовала себя лишней в этой гостинице, где как будто не любили посетителей. Она взяла свою сумку с кроликом и вышла, в то время как девушка возбужденно кричала кому-то:

— Идите скорее в эту комнату, мы затопили камин... Мама, где же бутерброды?

Все еще шел снег, небо посерело. Жюльетта направилась к вокзалу. Она опять останавливалась у витрин многочисленных парикмахерских, любуясь бутафорскими флаконами одеколona и пуговицами в окнах галантерейных лавок. В обувной магазин она даже зашла, соблазнившись детскими сандалиями без карточек. Но там не оказалось размера Хосе: у него была большая ножка для шестилетнего. Девушка с молодым человеком покупали башмаки на деревянной подошве, но с кожаным верхом. Наверно жених с невестой². Жюльетта зашла в аптеку. Хосе разбил термометр. Может быть, здесь найдется. Случается, что в маленьких городишках можно найти то, чего в больших уже нет. Но в аптеке ей с виноватым видом сказали, что термометра нет. Во всех магазинах у людей был виноватый вид, как будто им стыдно было признаться, что ничего нет.

В маленьком вагоне с выбитыми окнами упитанный жандармский офицер, подрагивая ляжками в синих штанах, всю дорогу разговаривал с почтительным молодым человеком, очевидно только что вышедшим из парикмахерской: от него несло духами. Из разговора выяснилось, что жандарм ехал на юг хоронить тещу. Молодой человек пытался выяснить — требуется ли высказывать соболезнование или нет: «Да... это несчастье... Хотя бывает, что это и не совсем несчастье...» Жандарм ничем не облегчил ему задачу — он не отвечал ни да, ни нет, и тот так и застыл в полуулыбке. Потом разговор оживился, заговорили о горах, о лыжах, о чемпионате. Все эти чемпионаты происходили недалеко

¹ Во время оккупации—англичан непризывного возраста, застрявших во Франции, посылали в то или иное место без права выезда.

² Молодоженам выдавались специальные карточки для обуви.

от итальянской границы, где как будто ничем, кроме лыжного спорта, не занимались. Однако время от времени в разговоре, как шило из мешка, вылезала война. «Ну, конечно, я его отлично знал,— говорил молодой человек,— такой маленький, черненький. Его убили рядом со мной в июне сорокового года, мы с ним были одного выпуска...» Поезд еще двигался, он просто трагически не двигался с места... Разговоры о лыжах становились все оживленней, замелькали женские имена, собеседники поглядывали на Жюльетту. Наконец-то, наконец-то доехали.

Было уже почти совсем темно. На полуосвещенной станции стояли гардмобили¹ темнее ночи, пассажиры столпились на перроне; нужно было перейти через платформу и для этого переждать, пока пройдет поезд, товарный поезд, который тут же двинулся! Люди молча смотрели: на открытых платформах — автомобили, пулеметы, повозки, немецкие часовые. Потом пошли закрытые вагоны... Призрачный поезд шел и шел, и конца ему не было, и только стук колес утверждал, что поезд это настоящий. Иногда из окошка машины, поставленной на платформу, высовывалась голова в каске. «Видно, бензину нехватает, раз машины тащат поездом»,— сказал кто-то около Жюльетты... Никто не отозвался. «К Парижу двигаются»,— проговорил женский голос. Ага, это соседка по автобусу! «Да,— сказала Жюльетта,— а я думала, что они собирались ехать в сторону моря». «Ничего не разберешь... Тут они все разграбили, а поедешь в деревню за продуктами, голову снесут»,— продолжала женщина. Поезд остановился, скрипели тормоза, потом дал задний ход... Немецкие голоса что-то кричали, солдат побежал вдоль путей. Поезд стал маневрировать. «Холодно,— сказала женщина из автобуса,— хотя бы этот поезд ушел, а то еще пропустим свой». Поезд снова дрогнул, и потянулись вагоны, без счета...

Следующего поезда пришлось ждать очень долго. Жюльетта ждала, прислонившись к столбу. «Сколько вы дали за кролика, барышня?» Эта женщина начинала ее раздражать — что она к ней привязалась! Становилось все холоднее. «Вот увидите, они уйдут еще скорее, чем пришли». Люди топтались на месте и всматривались вдаль, в надежде на поезд. Наконец он показался в долине, пугая быстротой и мощностью. Было полным-полно, полным-полно... Вот как будто свободное место. Жюльетта втиснулась в купе. «Здесь только одно место»,— сказала она женщине, не отстававшей от нее. «Что ж, ничего...» Но вид у нее был обиженный, будто самая лучшая подруга от нее отказалась. Она не стала больше искать свободного места и остановилась в коридоре, около купе Жюльетты, поставив потрепанный черный чемоданчик на пол возле себя. Жюльетта заметила, что она косит и что волосы у нее похожи на черный мокрый от снега мех ее воротника.

В купе третьего класса сидел маленький бледный человек с женой и хорошенькой дочкой. В углу — женщина неопределенного возраста, в черном, — должно быть, в трауре. Напротив Жюльетты — господин, только что вернувшийся из вагон-ресторана: ни белокурый, ни седой, в общем, какой-то бесцветный; он болтался в слишком широком пиджаке... Хорошее купе, симпатичное. Маленький человек, отец девочки, принял

¹ Гардмобили — полицейские в темносиней форме.

через окно красную сумочку и чемодан какой-то дамы и чей-то портфель из желтой кожи. «С вас на чай,— шутил он,— на чай с вас!..» Сумочка принадлежала даме в шляпе; эта дама, очевидно, совсем еще недавно была очень хороша собой... Сейчас она не обращала на себя внимания, красила волосы хной только по привычке и мазала губы как попало. За желтым кожаным портфелем последовал молодой человек восточного типа, красивый, с чересчур длинной шевелюрой и в хорошо сшитом пальто. Переменились местами, чтобы семье можно было сидеть вместе — так им будет удобнее закусывать.

— Простите, мосье,— обратилась Жюльетта к своему соседу — бесцветному человеку, болтавшемуся в слишком широком пиджаке, — в вагон-ресторане место есть?

— Есть! За тридцать пять франков вас накормят одной картошкой. Виноват, спутал: еще дают сельдерей... От сельдерея люди влюбляются, но жиров в нем — ни-ни!

В купе замелькали улыбки.

— Да,— продолжал пассажир,— зашел я как-то в ресторанчик, где можно пообедать из-под полы. Подали мне колбасу, жду следующего блюда. За соседним столиком сидели какие-то господа, тоже обедали,— что я говорю — тоже! Они не ели, а жрали! Только я доел свою колбасу, как они встают, подходят ко мне и говорят: «Мосье, вы кушали колбасу, разрешите ваши документы!» А я им на это: ежели люди обедают так, как вы пообедали, то нечего приставать к человеку из-за кусочка колбасы и требовать у него документы. Документы я им не показал, они подняли шум, вызвали полицию и,— пожалуйста, отдали под суд!

— Мы все живем как будто нас на поруки выпустили,— сказал отец маленькой девочки.

— А пока что я лишился девственности...

Все засмеялись, даже девушка в черном, а дама в шляпе спросила:

— Как это?

— Это моя первая судимость.— Вид у него был расстроенный.— Я спустил восемнадцать кило из-за этого сельдерея. Посмотрите, сударыни,— он вытащил свои документы с фотографией,— смотрите, какой я был и каким стал!

— Действительно,— отозвалась дама.

— А что еще будет,— продолжал человечек, болтавшийся в пиджаке,— придется, наверно, терпеть еще года два...

— Что вы! — закричало все купе.

— Они еще очень сильны,— уверенно сказал болтавшийся человек.— Смотрите, как они одеты, какая у них техника! Поглядели бы вы на них в Париже!

— А вы из Парижа?

— Я езжу взад-вперед.

— И я тоже,— сказала его соседка, дама в шляпе,— я без бумаг пересажала демаркационную линию¹ раз двадцать.

— А я вот железнодорожник,— сказал отец девочки,— и сейчас из

¹ Демаркационная линия — как бы внутренняя граница Франции, делившая страну на так называемую свободную и оккупированную области.

Парижа, только в Париже и становится понятно, что им скоро крышка. Дорио уже пристукнули.

— Значит, это правда?

— А то как же! То-есть умер ли он, этого я не знаю, но насчет покушения все чистая правда.

— У меня сын в плену,— сказала дама в шляпе,— он писал, что пленные, когда вернутся, наведут здесь порядок... Они не понимают как это можно быть заодно с их тюремщиками. Позор! Чтобы французы так себя вели... От одних антисемитских законов можно умереть со стыда... Французы!

Человек, болтавшийся в пиджаке, отшучивался.

Все купе и даже девушка в черном покатывались со смеху. В коридоре показался немец с ящиком в руках; было ему лет семнадцать, не больше! За ним гуськом шли другие немецкие солдаты. Прислонившись к двери жюльеттино купе, человек в мягкой шляпе читал газету, широко ее развернув,—немцам с ящиком мимо него было не пройти. Началась толкотня, немцы улыбались, француз орал, да так громко, что его было слышно сквозь закрытую дверь купе: «Чего толкаетесь, скоты!» Он из себя выходил. Немцы прошли, с ящиком и улыбками, очевидно ничего не поняв.

— Вот это свой человек!— воскликнула дама в шляпе.— Это свой! Слышали, как он их! Позовем его, пусть сядет, мы потеснимся!— Она открыла дверь:— Идите сюда, мосье, садитесь. Как вы их хорошо!.. Садитесь, вы свой человек, мы потеснимся.

Тот вошел, смущенный неожиданным успехом. Все потеснились, он сел и сразу стал рассказывать длинную историю о каком-то немце, который толкнул женщину с ребенком в присутствии его друга, и что этот друг сказал, и как он поступил.

— Я слышал, будто англичане бомбили аэродром около Парижа,— заговорил юноша восточного типа, который до сих пор не принимал участия в разговоре.

— Да ну?

Все сразу заволновались — тут были одни парижане. Стали соображать, какой бы это мог быть аэродром.

— Да,— сказал болтавшийся в пиджаке визави Жюльетты, тот самый весельчак,— это все так, но они еще очень сильны...

— Они продержатся до весны, если нам повезет, а не повезет — то до осени,— сказала Жюльетта. Этот тип ее раздражал.

— А из каких источников вы черпаете ваши сведения, из Нострадамуса¹, что ли?

Жюльетта ему мило улыбнулась, показав ямочку:

— Из общей ситуации,— сказала она, и стала доставать остатки своих запасов: не платить же тридцать пять франков за одну картошку.

— Если б англичане открыли второй фронт в сорок втором году, немцы теперь уже были бы разбиты,— сказал железнодорожник, с симпатией взглянув на Жюльетту.

¹ Нострадамус — знаменитый французский астролог XVI века, занимавшийся составлением гороскопов.

Весельчак, визави Жюльетты, ничего не сказал — он смотрел, как она ест.

— Это верно, — подтвердил человек в мягкой шляпе, — англичане плохо разворачиваются, можно подумать, что они это делают нарочно... Но весной немцев разобьют русские. И вообще нам все врали, — продолжал он запальчиво, очевидно человек он был вспыльчивый, — у русских, мол, нет армии, у русских нет генералов, у русских нет техники, да то, да се... А на поверку выходит, что все у них есть...

— Знаете, что думают различные народы об армии вообще? — спросил весельчак. — Для англичанина военная служба — ремесло, для немца — необходимость, для итальянца — красивый мундир, а французам на нее на...

— Ха-ха-ха-ха! — все купе хохотало, вместе с девушкой в черном. Дама в шляпе, которая только что закрыла глаза, собираясь вздремнуть, улыбнулась.

— Вы спите в полглаза, сударыня, если можно так выразиться, — сказал весельчак и стал нашептывать даме что-то на ухо, — она сидела с ним рядом.

Жюльетта тоже закрыла глаза. Теперь молодой человек восточного типа тоже принял участие в разговоре. Он говорил о Турции, о турецком антинацизме, о том, что для Турции прямой смысл встать на сторону англичан и русских. У него был застенчивый, интеллигентный голос, с акцентом, который вполне мог быть турецким... В купе стало жарко.

— А пока что, — слышался голос весельчака, — англичане продвигаются медленно, пока они доберутся до Туниса через пустыню...

Все зашумели. Как! Он, должно быть, не слушает радио или плохо представляет себе карту. И все стали ему подробно доказывать, называя пункты и число километров между ними, что англичане будут в Тунисе в самом непродолжительном времени.

— Да ведь в пустыне нет шоссе, там один песок, — защищал свою точку зрения болтающийся в пиджаке человек. Потом все успокоились. За окнами стояла черная ночь, шел дождь, оконные стекла были в каплях, как в оспе. Несмотря на затемнение, шторы не были спущены, и лампочка освещала купе, как ни в чем не бывало!

— У вас есть комната в Лионе, мадмуазель? — спросил Жюльетту весельчак.

— Есть, мосье.

— Потому что я всегда нахожу себе комнату... Я, конечно, не предлагаю вам разделить ее со мной — эта мысль от меня далека! Но в теперешние трудные времена, если я мог бы быть вам полезен... В той гостинице, где я обычно останавливаюсь, я так и сказал кассирше раз навсегда: если она мне не даст комнату, я пойду спать к ней. Ну, сами понимаете... Страшная угроза! Вы где покупали губную помаду, мадмуазель, на черном рынке?

Он, не улыбаясь, смотрел на Жюльетту. У этого человека был мрачный юмор.

Пытаясь пробраться сквозь толпу по перрону, Жюльетта думала о том, что этот сосед по купе что-то подозрителен, и она шла и спорачивалась, но быстро опередила всех своих спутников по вагону. И кроме того, если беспокоиться из-за каждого подозрительного человека...

Хотя бы та женщина, с косым глазом. Разве естественно так приставать? Наверно, она везла продукты из деревни и думала, что Жюльетта к тем же ездил, ну а вдвоем не так страшно. Жюльетта вышла из вокзала. Темный, хлопающий город захлопнулся за ней.

Свидание у нее было назначено на следующее утро. Ей дали адрес гостиницы, где она могла переночевать на тот случай, если поезд придет слишком поздно, и ей нельзя будет попасть домой. Она добралась до гостиницы еле живая от усталости, она выбилась из сил... Гостиница стояла во дворе. Две огромных овчарки, жирные и сопящие, жались к хозяину гостиницы. Скверная морда у хозяина. Не спрашивая документов, он провел Жюльетту по узкой лестнице в жарко натопленную комнату. Больше она ничего не заметила: она разделась с закрытыми глазами, легла и уже стала засыпать, но... внезапно вскочила и в пальто поверх ночной рубашки, в туфлях на босу ногу бросилась в коридор: она забыла в конторе гостиницы сумку с кроликом!

В коридоре стояла душная тишина, пахло центральным отоплением. Жюльетта ощупью добралась до лестницы и собиралась спуститься, как вдруг открылась входная дверь: мужчины... трое... пятеро... восемь человек! Мягкие шляпы, пальто, широкие спины, страшные морды... Жюльетта прислонилась к стене, надеясь сойти за узор на обоях; она даже не соображала, что лестница не освещена и что ее вряд ли видно снизу.

— Вот и добрались до хазы,— сказал один, потирая руки.

— Здорово,— сказал другой, окидывая взглядом хозяина, вышедшего из конторы, огромных еобак, которые сразу стали по-волчьи кружить около людей, обнюхивая их,— стоило идти восемь километров пешком, чтобы попасть в это место.

Они прошли гуськом в контору. Жюльетта ждала в темноте, на лестничной площадке: ей нужно было найти сумку с кроликом, найти во что бы то ни стало! Сумка валяется, а в доме эти бандиты, спекулянты,— или, может быть, они живым товаром торгуют? Снова наступила полная тишина, Жюльетта подождала еще немножко, потом сбегала вниз. Контора была погружена в темноту, но ей не нужен был свет, она и так помнила, куда положила сумку... если только она еще там. Она была на месте, слава богу. Жюльетта бегом взбежала по лестнице.

Легла, не выключая свет. Сердце бешено колотилось. Теперь не заснуть. Слишком она перепугалась. Постепенно комната вышла из тумана, и она снова подумала, как тогда на ферме: «Это все-таки бессовестно посылать меня в такое место». Совсем не надо быть завсегдаем такого рода домов, чтобы понять, что это такое... Она мгновенно уснула.

Медная дощечка у двери: «Доктор Арнольд, женские болезни».

Новый белый дом, как белый носовой платок, упавший в грязь лютневых домов. Жюльетта поднялась по лестнице, пахнувшей лаком и краской, и позвонила у двери красного дерева: медная дощечка и звонок блестели, как два солнца. Горничная открыла дверь: «Вы назначены на прием, мадамгазель?» Она провела Жюльетту в приемную, весьма гигиеническую, с венскими стульями, натертым паркетом без

ковров, грудой журналов и книг на застекленном столике, и двумя стеклянными шкафчиками, где странно было видеть китайские безделушки, вместо стальных инструментов. На стенах — акварели под стеклом, и в углу, на этажерке со стеклом — большой букет мимоз. Три женщины ждали, подремывая в особенной тишине приемных. Жюльетта взяла иллюстрированный «Еженедельник». Женщины не пытались читать — они просто ждали. Время шло, за дверьми ничто не шевелилось, тишина начинала жужжать в ушах у Жюльетты, как большая черная муха, и она совсем было стала засыпать, когда открылась дверь и вышел рыжий доктор...

Одна из женщин вскочила с места, и доктор пропустил ее в дверь. Жюльетта снова стала ждать. На этот раз ждать пришлось недолго, дверь открылась, и доктор, обращаясь к ней, сказал: «Войдите, пожалуйста, мадамгзель», жестом руки останавливая другую женщину, которая было вскочила. В нем была чисто хирургическая резкость.

— Ну вот,— сказал он, закрыв дверь и сядя в кресло у стола. Жюльетта села напротив. За ее спиной врачебное кресло казалось столом пыток, покрытым белым лаком, и здесь в шкафчике лежали не китайские безделушки.

— Можно послать десять, в крайнем случае двенадцать человек. Конечно, почти на всех фермах рассчитывают на помощь в работе. Но людей будут хорошо кормить, даже без продовольственных карточек. Можно будет послать туда не только «смену»¹, но и прятать политических.

— Прекрасно! А то у меня двое спят в приемной на полу.— Доктор потирал руки, розовые от постоянного мытья.

— Вам просили передать...— Жюльетта порылась в сумке, вытащила кролика и из-под него пачку кредиток.— Тут сто тысяч.

— И вы таскаете их в открытой сумке с продуктами, как ни в чем не бывало? Вы по крайней мере соблюдаете осторожность?— он пересчитывал деньги.— А как поживает Константин?

— Как будто хорошо. Он вам просил передать привет.

— Теперь следующее: я только что узнал, что в Авиньоне собираются арестовать шесть человек железнодорожников, замечательных ребят. Я думаю, что можно было бы успеть их предупредить, во всяком случае, есть еще шанс. Но мне некого, абсолютно некого туда послать, сам я не могу ехать, это совершенно невозможно... Вы не могли бы съездить туда сейчас же?.. Шесть человек...

— Хорошо,— сказала Жюльетта.— Я успею зайти домой? Если бы я успела вымыться и поесть...

— Поезд идет в четыре часа с чем-то... Превосходно! И еще следующее: раз вы едете в Авиньон, вы сможете отвезти туда незаполненные продовольственные карточки. Если ребята уйдут в «маки»², они им пригодятся, во всяком случае я их обещал Селестену... Вы познакомьтесь в Авиньоне с этим Селестеном. На обратном пути удержи-

¹ Под предлогом смены военнопленных, работавших в Германии, немцы мобилизовали молодых французов, которые повально бежали от этих принудительных работ. Эти «смены» целиком уходили в партизаны.

² «Маки» — «чаща» так называли прибежище партизан; «уйти в маки» — значит уйти в подполье.

...сь в Валансе, мне обязательно нужно передать несколько карточек слабым нашим людям... Только будьте очень осторожны!

— Я осторожна...— сказала Жюльетта.— Вы не могли бы дать мне выпить чего-нибудь горячего? Мне что-то нехорошо... Не знаю, что со мной... Я утром не завтракала...

— Простите меня, экая я скотина! — доктор позвонил.— Сейчас вам все принесут, вы выпьете рюмочку чего-нибудь спиртного. Жена с детьми уехала на Рождество, вы можете прилечь в спальне. Мадлен, проводите барышню в спальню, дайте ей чего-нибудь горячего выпить и поджарьте хлеб. Ей надо отдохнуть. Сейчас я разделаюсь со всеми пациентками и буду к вашим услугам.

У Жюльетты был измученный вид, горничная жалела молоденькую женщину, может быть беременную, и не удивлялась. Она торопливо сняла шелковое покрывало, и Жюльетта улеглась на широкую супружескую кровать доктора. Когда доктор вошел в комнату, она спала глубоким сном.

— Вот что,— сказал доктор, садясь на кровать,— уже двенадцать часов, и если вы хотите успеть домой... А когда вернетесь из Авиньона...

— Не забывайте, что, когда я вернусь из Авиньона, праздники уже кончатся, и у меня только вечера будут свободны... И еще есть почтовый ящик... Вы как будто упоминали о рюмочке?

— Я настоящая скотина,— доктор взъерошил розовыми руками волнистые рыжие волосы.— Сейчас принесу.

Вместо этого он взял руку Жюльетты и поцеловал.

— Бедная девочка, ну что это за жизнь! У меня в постели хорошенькая женщина, и вместо того чтобы за ней ухаживать, я отсылаю ее к чорту на рога, на работу, совсем для нее не подходящую, совсем не подходящую... Вы скажете, что это нормально...

— Нет, это вы скажете!

— Ладно, можете надо мной издеваться! Но вы ведь не будете спорить, что это вполне нормально, чтобы в такое время все было непорочно. В крайнем случае еще можно наскоро поцеловаться с женщиной, но откуда взять время и душевное спокойствие, чтобы говорить о любви с хорошей девушкой вроде вас... Еле хватает времени делать детей...

— Да вы не оправдывайтесь! — сказала Жюльетта, и доктор покраснел, как девушка. Он поднялся.

— Я за коньяком,— сказал он, выходя.

Жюльетта надела башмаки, жадно выпила холодный чай, оставшийся в чайнике на подносе у кровати.

— Надеюсь, оцените...— доктор вернулся с бутылкой и двумя рюмками.— Вы знаете, теперь такого не найти... А вот продовольственные карточки. Куда вы их спрячете?

— Под кролика.

— Отлично. Хорош коньяк? Отлично. Теперь поскорее дайте мне подробные сведения о фермах.

— Лучше всего начать с Буржуа...— Жюльетта стала подробно объяснять. Насчет аэродромов Константин поручил ей сказать, что наперняка он еще ничего обещать не может, но что в этих пустынных

местах, где люди ведут себя достойно, можно считать, что дело на мази...

В деревне, где жили Буржуа, если только можно назвать деревней место, где дома на таком расстоянии друг от друга, в 36-м году все голосовали за коммунистов,—ясно, что они там немцев не любят! Ей об этом рассказали Буржуа... Смешно, что их фамилия — Буржуа, а сами они коммунисты! Прежнее место посадки отлично функционирует — Константин туда направил людей для приемки сбрасываемых с парашютами пакетов.

— Прекрасно! Ваш поезд уходит в четыре пятьдесят. По приезде вам надо будет позвонить по телефону, вот вам номер, а вот список рабочих, которым угрожает арест, пусть они немедленно скроются и не тратят времени на сбор вещей, на прощание с женами, тут вопрос минут, вопрос жизни и смерти... Вы поняли? Вы спросите по телефону Селестена, он вам назначит свидание, вы передадите ему список. Ну, отправляйтесь, дитя мое... Дело идет о жизни и смерти, не забывайте...

— Я не забуду...

— Хорошо... Будьте осторожны.

— Я буду осторожной.

— Когда вернетесь, немедленно зайдите ко мне.

Когда тетя Алина и Хосе услышали, что она опять уезжает, они страшно огорчились: уехать в самый сочельник! Тетя Алина три часа простояла в очереди за устрицами, взамен индейки¹, приготовила жареную капусту с настоящей колбасой... Кролик, которого привезла Жюльетта, был принят почти без восторга,—его ведь придется есть без нее. А рождественский дедушка может и совсем не притти, когда узнает, что Жюльетты не будет... Хосе бросился на кровать в спальне. Ужасно было жалко его, что он так плачет.

— Тетя Алина, уверяю тебя, это вопрос жизни и смерти...

Тетя Алина, все еще прямая,—только грудь впала и чуть тряслась седая голова,—ничего не сказала и стала возиться с кастрюлями у плиты. Электричество горело среди бела дня, кухня выходила во двор, но так как кухня была единственным теплым помещением, то все сидели там. На потрескавшейся клеенке стояли два прибора: ее не ждали к завтраку, и ничего не было, кроме картошки, да, к счастью, нашелся еще кусочек сыру. Не хочет ли она стаканчик вина? В сущности говоря, вино берегли к сочельнику. В длинной и узкой комнате с глубоким альковом, откуда Жюльетта выдвинула кровати,—ей не нравилось спать, как в собачьей конуре и потом в альков было очень удобно сваливать картошку,—в этой узкой комнате, где стояли две одинаковые железные кровати и кроватка Хосе у них в ногах, Хосе плакал, лежа ничком, зарыв голову в подушки жюльеттиной кровати (он всегда ложился на жюльеттину кровать).

Солнышко мое, золотко,—говорила Жюльетта, покрывая его поцелуями,—будь мужчиной, ты знаешь, что немцы злые, что их надо выгнать отсюда.

Я не хочу, чтобы ты их прогоняла в сочельник! Прогонишь их в другой день.

¹ Индейка обязательное в сочельник блюдо, как кулич на пасху.

— Ты и без меня получишь лошадку, обещаю тебе, и ты научишься ездить верхом и будешь настоящим кавалеристом, когда я вернусь после-завтра, ладно? Ты мне оставишь кислой капусты, ты знаешь, капуста не портится.

— А устрицы?

— Ну, мы купим других, или, может быть, я привезу... Хочешь? Тебе дадут большого кусок кролика, ведь ты любишь кролика? Маленький мой, родной...

Она даже не бранила его за то, что он лег с ногами на вязанное покрывало, которое они привезли с собой из Парижа, она держала его на руках, маленького Хосе,— он весь горел от слез, от горя; глаза у него — черные бриллианты, волосы крупными завитками, крепыш, а посадка головы, осанка истого каталонца.

— Тетя Алина говорит, что ты умеешь смотреть на часы, неужели это правда?

Хосе подбежал к маленькому столику между кроватями, на котором стояла большая фотография в серебряной раме с траурной лентой (портрет жюльеттино брата, погибшего в Ливии), графин с водой, стакан, куда тетя Алина клала на ночь свои фальшивые зубы, и никелированный будильник, привезенный из Парижа — драгоценность... Тетя Алина не вынесла бы уныния меблированной квартиры без этих своих вещей, которые скрашивали нищую, хромоногую мебель (сколько ее ни чисти, она все такая же тусклая, потрепанная), вмятины на кастрюлях, трещины на посуде, убогость этого дома, коридора, темной лестницы... Только подумать, что им приходилось платить за эту дыру 700 франков в месяц, да еще радоваться, что нашли ее после года жизни в гостинице, с ребенком. Все-таки здесь в спальню была проведена вода. Пока Жюльетта раздевалась, мылась, Хосе путался у нее под ногами. Тетя Алина преподнесла ей кофточку, которую она только что довязала, — подарок к Рождеству. Жюльетта сразу ее надела, — жалко было в ней ехать, но уж очень она была ей к лицу: синяя закрытая, с белой каймой вокруг самой шеи и очень сложной вязки, изобретенной самой тетей Алиной. За завтраком было почти весело, выпили по чашечке кофе. Пока Жюльетта отмачивала руки в теплой воде, — никак не отмыть их после деревни, возни с дровами, ужас! — тетя Алина чистила ее синее пальто. Каждый раз, когда она бралась за это пальто, она говорила, что Жюльетте повезло в тот день, когда она его купила на распродаже в дорогом магазине, ему сносу нет, а такие спортивные пальто никогда не выходят из моды. «Меня беспокоит, выдержат ли твои туфли эту зиму?» — тетя Алина осматривала их со всех сторон, смазывала мазью, которая очень сильно пахла, — все эти нынешние мази плохо пахнут, а блеску от них никакого... Значит, в деревне ее встретили хорошо? Страна начинает прозревать! Выпьешь чаю перед отъездом?

Жюльетта нахлобучила берет, расцеловала Хосе и тетю Алину. Как бы не опоздать на поезд. Да, она будет осторожной, очень осторожной...

Перед закрытыми глазами Жюльетты летали огневые мотыльки. Они продолжали летать, когда она открывала глаза. Елка подымала

кверху огненные пальцы свечей, она стояла в углу, вся в темном серебре, и звездой доставала до сводчатого потолка. На убранном столе стояли зажженные свечи, в камине горел огонь. Огни играли то тут, то там, на мебели, на коврах, на картинах и драпировках, внезапно освещая светлосерый камень стен. Над дверью каменные амурь держали тяжелые лепные гирлянды. Над высоким камином тоже летали каменные амурь, окна же за портьерами были узкие, готические, с легкими украшениями... И мебель стояла разнообразная: жесткие скамьи с высокими прямыми спинками, большие мягкие кресла.

— *Agia, aqua, terra d'amor plena*¹.

Город мой, город любви! Авиньон — безумный, город святой, город проклятый, город чудес и святотатств. Он принадлежит богородице, Венере и дьяволу, в зареве костров, инквизиции и ночного разгула... Рыцари, красавицы, лукавые мужчины и женщины от лукавого... Но внезапно у любви вырастают крылья, и любовь превращается в святую, бессмертную. Женщины отрекаются от мира сего, затворяются монастырские ворота. Вы увидите, Авиньон заколдует и вас! В каком другом городе вы найдете на стене надпись, прославляющую рождение любви, как прославляют рождение гения? «Здесь зародилась неземная любовь Петрарки к Лауре, которая сделала их бессмертными». Но не подумайте, что Авиньон задыхается под бременем истории, нет, этот город соткан из легенд, каждый день влетается новая нить, здесь каждый мужчина — Петрарка, каждая женщина — Лаура. Город любви, город мистики и безверия, где каждый умеет любить. А теперь... Теперь они отняли у нас все... Все, вплоть до любви... В мире одна разлука, одна расколотая надвое любовь. На стенах нашего города чужие знамена, по улицам бродят толпы солдат-победителей...

Он смотрел на огонь сквозь красное вино в стакане. Кавалерийские бриджи, сапоги, расстегнутая гимнастерка без нашивок. Высокий рост, резкие движения, вот-вот все опрокинет, но он был похож на скакового коня, берущего препятствия, не задевая их. Темное лицо падшего ангела, горящие глаза, надменная бровь... Огонь, тропическая жара в комнате, казалось, исходили от него.

Голод, револьвер, тюрьма.

— Нет больше места для любви. Она за это мстит, прячется от нас, и мы утратили любовь! Я пойду, пойдете и вы, босиком по снегу спасать от смерти неизвестного брата... Где-то убивают... Убивают предателей... Нет ни единой щели в уме или сердце, где бы могла зарыться любовь иная, любовь не партизанская. Люди, уставшие от героизма без блеска, без звона шпор, без цимбал, уставшие от лишения, разочарований, мерзости врага, мерзости предателей...

Жюльетта следила за полетом мотыльков перед глазами. Она чувствовала, что она до краев наливается огнем, как раскаленные угли в камине.

— Милый друг мой, — говорил он, — сегодня нам удалось спасти шестерых... Вы не прилетели на хвосте кометы, не прискакали на коне, вы сели в поезд, прошли мимо жандармов, ели бутерброды с резиновой

¹ «Воздух, вода, земля полны любви» (Петрарка).

■мбасой, а я сел на велосипед... Я видел взволнованных людей, бро-
сивших жену и детей, чтобы куда-то бежать... Каждый делает что
■может, защищается, переходит в наступление, а иной раз мне ка-
жется, что мы только комары на серой слоновьей шкуре. Роза, вы
■молчите...

— Я не Роза — я Жюльетта... Дайте мне выпить. Я хочу предло-
жить вам одну игру. Давайте играть, как будто мы любим друг друга.

— А как играют в эту игру?

— Ну, как в детстве играли в «доктора» или в «гости»... Все де-
лается «как будто», понимаете?

— Я не совсем уверен, что я умею играть...

— Умеете... А мне это нужно...

— Вы — сама смелость и сама женственность. Вам, Жюльетта,
ставшей отныне моей любовью, я расскажу одну тайну, потому что
я люблю вас и потому что я пьян: позавчера я убил человека.

— Я вас люблю, — сказала Жюльетта.

— Он пытал, убивал... Мы решили его убрать. Он на дне Роны.

— Война...

— Цельными днями приходилось ходить за ним, выслеживать. Нужно
жить ненавистью. Нужно быть уверенным в своей правоте до конца,
чтобы делать это и не опуститься.

— Вас не подозревают? Я люблю вас, я боюсь вас потерять.

— Жюльетта...

Селестен соскользнул на пол, стоя на коленях, он целовал голые
ноги Жюльетты.

— Теперь я пойду спать, — сказала она.

Она сперлась на его руку. Трэн длинного домашнего платья
волочился за ней, у платья были пышные рукава, а сборок на широ-
кой юбке было так много, что талия казалась тонкой на удивление —
вот-вот переломится. Босые ноги Жюльетты прятались в туфлях с
золочеными каблукками.

Все три факела высокой, стоящей на полу лампы были заж-
жены. Кровать была постлана, ночная рубашка крестом раскинула
кружева рукавов. Кровать с балдахинном стояла против зеркала в
золоченой раме; по бокам зеркала были прекрасные лепные двери.
Окна были закрыты портьерами белого шелка, вышитого белым же
шелком. На туалетном столике, между окнами, была откинута крышка
с зеркалом, и он был весь уставлен флаконами и коробочками всех
цветов и фасонов. На камине стояли безделушки, горел огонь; на
креслах, на коврах лежали подушки... Над туалетом висела огромная
фотография женщины; она сидела очень прямо и смотрела в сторону,
скрестив руки на столе, но не опираясь на него. На ней было темное
платье с высоким воротом.

— Мне хотелось, чтобы она жила в этой комнате, даже когда
ее здесь нет... — Селестен посмотрел Жюльетте прямо в глаза.

— Спокойной ночи, любовь моя, — безмятежно сказала Жюльетта
и обняла его, — до завтра!

— До завтра! Спи, отдохни... — он начал напевать.

Посередине ложа
Река так глубока,
До второго пришествия можем
Мы в ней проспать века¹.

— Хорошая песня! Для тебя...— Селестен прижал ее к себе. Он плыл по рождественскому черному звездному небу. Такая нежность охватила его, что он еле смог сказать:— Я люблю тебя...

— Спокойной ночи,— повторила Жюльетта.

Селестен вышел.

Рождество, рождество, рождество...

Я люблю рассказывать о городе не тогда, когда я живу в нем, а когда этот город становится далеким, когда нельзя больше ни списывать, ни проверять, — рассказывать о нем свободно, представлять его таким, каким он сложился во мне сквозь время и пространство, каким он отражается в кривом зеркале памяти... Авиньон — громада стен, достигающих до неба, арфа, опирающаяся на светлосерый каменный пьедестал. Гуляет страшный авиньонский ветер, перебирая стены, как струны, и слышится мне диссонирующие, неразрешенные аккорды...

Но наутро после ночи без снов, проведенной на кровати под балдахинном, когда Жюльетта шла под руку с Селестеном по берегу Роны, они не видели ни этой гигантской арфы, ни реки, которая, как всегда, рвала и метала где-то внизу.

Они рассеянно смотрели на деревья, на небо, стараясь ни на волос не отдаляться друг от друга. Проходили люди, как оудто бесцельно. В рождественской, звездной среде дня белизне, казалось, звонили колокола.

Завтрак в ресторане был настоящим рождественским. Вся страна старалась хорошо поесть, или хотя просто поесть на это рождество. Подавали индейку с каштанами. На барьшине, подававшей к столу, был накрахмаленный передник, на столике стояли гвоздики, а в углу — елочка. В ресторане было тепло, и сад за окнами праздновал рождество. Они выпили кофе и пошли по направлению к крепости св. Андрея.

Она стояла серая и одинокая в огромном небе. Орел на скале. Две башни у входа — бинокль для великана-астронома — все росли и росли по мере того, как они подходили к ним ближе. Они прошли под аркой, меж двух этих башен: старая безоружная крепость не противилась... Они были одни — времена туристов прошли, и среди этих стен, может быть, не было никого, кроме них. Каменистая тропинка, развалины домов, уцелевшие своды потолка, ступеньки, а то и целая лестница или стена, разрушенная только наполовину, с окошком, с дверью... Груды камней цвета сухой глины, светлосерого. жемчужного... Дорога шла в гору, пересекала всю крепость, останавливалась у низкой стены без зубцов: отсюда были видны все

¹ Старинная народная песня.

окрестности, далеко-далеко. Раскидывался пейзаж, суровый и строгий, как монашеская келья, где вставали видения и мнились чудеса... Они стояли плечом к плечу, прислонясь к стене, и вдыхали головокружильный воздух; они шли вдоль высокой зубчатой стены крепости, которая, как обруч, сдерживала, чтоб не рассыпались развалины домов, груды камней; сидели в глубокой нише, смотрели сквозь бойницу, словно в замочную скважину, на яркую долину. Здесь их не трогал ветер, который метался и тряс растрепанные кусты, темную зелень... Когда они поднялись к самой часовне, перед ними широко раскрылись объятия долины, и они увидели волшебный город — Авиньон!

Гигантская арфа сверкала в небе всеми своими блестящими туго натянутыми струнами; она опиралась на дома, как на пьедестал из светлосерой, сухой глины. Солнце пригревало ветер, и веяло теплым запахом растоптанных ими душистых трав. У подножья часовни, в узкой полоске тени блеснул рождественский иней — стало понятно, к чему этот блеск; рождество, рождество, рождество!.. А крепость окружала их огромной светлой стеной, и башни, словно стиснутые кулаки, подтверждали ее мощь. Воздух, камни, солнце, травы под ногами, ветер даже не старались больше притворяться безобидными — они признавались в волшебной своей силе, они колдовали при них.

Сюва ступени привели их к самой стене. Подняв головы, они любовались прямоугольниками зубцов, с ровными, острыми, в синеве веба, краями. Перед ними открылась дверь — они вошли в большой каменный зал, освещенный стрельчатыми окнами.

В башню подымались долго, по винтовой лестнице. Вот дверь на площадке, она не притворена... За дверью каменная комнатуха, будто камера, с окошком под самым потолком. Надо было привыкнуть к полутьме, и тогда появились большие неровные камни, железное кольцо, вделанное в стену, каменные плиты под ногами... Селестен затворил дверь. Тогда в каменной тишине внезапно зазвучали детские голоса, ясно и отчетливо... Башня была высока, земля — далека. Селестен обнял Жюльетту. Вот так бы и целовал без конца ее милое лицо. Мало просто любить, нужно выйти за пределы чувств человеческих. Жюльетта, совсем бледная, прислонилась к холодной, холодной стене...

— Смотри, — сказала она, — тот, кто любит, пишет на стенах...

Стена была сплошь покрыта надписями, сделанными карандашом, выцарапанными ножом. Ален и Маргарита. 7 июля 1938 года... Рейно де Сен-Сесиль 1799... Четыре сердца, вписанные одно в другое: Сюзанна, Люси, Фелисьен, Роберт... Еще имена, даты... Дверь окаймлена длинной колонной надписей заглавными буквами. Начинается наверху с надписи: 5-6-26 г. ОНА ПРИШЛА.

Но они отступили от стены, читая надписи на плитах, под ногами: там, в камне, было высечено подобие большого обелиска, увенчанного фригийским колпаком; на квадратном пьедестале можно было с трудом прочесть полустертую надпись: мученикам... На другой плите — расписание, рядом с ним по обе стороны подсвечники с высокими свечами. Дальше — надпись: Да здравствуют те... кто... Сердца, подковы, много подков... руки в натуральную величину, с распяленными пальцами... Лоран Дерлис. 1815... В углах было

темно, ничего не разобрать. Они снова стали читать надписи на стенах, на той, где была дверь, против окна, и на которую солнце указывало бледным пальцем:

5-6-26 г. ОНА ПРИШЛА.

Ниже тот же почерк, те же заглавные буквы, толстым синим карандашом.

1-6-29 г.— она пришла. 1929 г.

24-7-31 г.— они вернулись. Его сердце трепещет перед ней.

Жюльетта тяжелее оперлась на руку Селестена.

— А дальше есть?

И дальше было:

Они пришли

Верны своему обету

Он любит ее. Какое мужество!

7 лет. 1932 г.

23-8-33. Он постарел, но сердце ей верно. 8 лет.

Надписи шли все ниже и ниже, приходилось сгибаться в три погибели... Может быть, это все? Нет, не все...

27. Сентябрь. Его сердце верно.

Он стар, она прекрасна,

господь, увековечь его любовь.

9 лет 1934 г.

— Жюльетта, почему ты плачешь?.. Ведь мы любим друг друга...

Скажи, что ты плачешь от любви!

Жюльетта, на коленях у стены, читала:

Он стар,

она прекрасна,

о, если б мог он умереть

возле нее.

19 июля 1936 года.

Они искали продолжения, стоя на коленях: нет, конечно.

Вот... Еще... над дверью:

1937 год. 30 августа. Он стар

она прекрасна

они пришли.

— Жюльетта, если бы меня приковали к этому железному кольцу, я не чувствовал бы своих цепей, потому что на свете существуешь ты, потому что существует имя твое. Я хотел бы повторить тебе все старые слова любви, стертые слова, которые бывают правдой только раз в жизни... И если я говорю тебе, что я люблю тебя до безумия — это правда, это значит, что я обезумел от любви!..

Их принял воздух, голубой и белый, в нем плыло солнце, пелю рожество, по воздуху шли они до Авиньона и там запутались в паутине улиц, где посреди, словно толстый паук, сидел Палпский дворец с крестом на спине. Тесно прижавшись, они бродили по узким улицам, меж стен, где смешивались и поддерживали друг друга Франция, Италия, Испания, где камень нес в себе славу и падение то в грозной готике, то в роскошном безумии барокко, то гримасничая химерами, то лепясь кренделями. Городская стена, церкви, старые

таинственные особняки, внутренние дворики, сады за высокими стенами, из-за которых вырываются зеленые ветки... Нигде не могло быть такой тишины, какая царила в часовне на полузамершей улице Красильщиков. Наводнение, хлынувшее сюда (сколько веков прошло с тех пор?), водные хляби, чудом разверзшиеся, казалось, баюкали темную тишину в алых звездах неугасимых лампад.

Они вырвались из этой тишины, прошли вдоль мутного канала, где колеса красильщиков, несоизмеримо большие и неподвижные, гнили в зацветшей воде. Улицы снова втянули их в себя, они шли долго, долго...

— Вот и тюрьма,— сказал Селестен, — но меня им не взять, потому что ты любишь меня и потому что я должен помочь родине избавиться от лукавого.

Солнце уже начинало заходить за большие стены. Жюльетту пронизал декабрьский холод. Неподвижная толпа, мужчины, женщины со свертками, ждала у запертых ворот. Часовня «Черных кающихся грешников», прилепившаяся к длинной-длинной глухой тюремной стене, была далека от неподвижной толпы. Фасад часовни, прелестные колонны, легкие арки французского стиля скорее напомнили бы частный особняк, чем церковь, если б на высоте первого этажа, закрывая его почти целиком, не простиралось сияние, посреди которого ангелы несли голову Иоанна Крестителя... Внутренность часовни могла бы служить бальным залом. Золоченые стены, мрамор, холсты в богохульных тяжелых золотых рамах, золото на потолке. «Вот здесь, — обьсняла сторожиха, — смертникам разрешалось присутствовать на богослужении». Смертники... Нет, это не легенда,— тот, кто рядом с ней, тоже, быть может, смертник. Его схватят, закуют в тяжелые цепи... Жюльетта представила себе, как она стоит в этой толпе, у ворот... И снова, как весь этот день, ей вспомнился Питер Иббетсон... Она так плакала во время этого фильма, в то время как другие смеялись, что ей пришлось переждать, прежде чем вернуться домой, чтоб тетя Алина не видела, какое у нее заплаканное лицо... Питер Иббетсон, в кандалах, блаженно улыбающийся во время пыток, потому что он ничего, кроме любви, чувствовать не мог... Любовь, эта необходимость постоянной близости, сколько о ней говорили, сколько о ней плакали и пели...

Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

А когда нет этой уверенности, такая тоска наваливается на весь мир, и так все скучно: и двигаться, и говорить, и видеть, и слышать. Такая скука, что неизвестно, как быть, как жить, что делать со временем, которое не проходит, скука, от которой можно умереть, и вокруг один лишь пепел и развалины... А Питер Иббетсон — сильней разлуки! Ничто не могло их разлучить, она жила в нем, никогда его не покидая, играя его цепями, она улыбалась ему, как живая, она любила его... Он убил ради нее! Но не ради Жюльетты убил Селестен. «Пойдем отсюда!» — сказала Жюльетта.

Они поднялись к заглавному «А» Авиньона — к Папскому дворцу, они старались увидеть верхушки громадных отвесных стен, теряющихся в небе. То ли крепость, собор ли, дворец, пятой наступив на скалу,

поднимал голову к небу. На длинную мощеную площадь вступал, придерживая коня, черный Крильон¹. Они спустились по узким улочкам в закрытый квартал, прилепившийся к ногам великана-дворца. Там, меж неровных камней, под ногами росла трава. Маленькая четырехугольная площадь лежала пустая и тихая, как школьный двор во время уроков. Посреди площади вместо памятника или фонтана, уборная в разноцветных плакатах. Женщины в накинутых на плечи пальто мирно сидели на ступеньках у дверей и вязали. По фасадам шли красивые буквы вывесок: «Маленькое Шабанэ», «У Марго»...² Улица шла дальше и сразу, без перехода, начинался цыганский квартал. Тут улица стала такой узкой, что им пришлось еще теснее прижаться друг к другу.

В воздухе прозвенел аккорд, рассеялся, повторился... Цыгане в грязных лохмотьях сидели прямо на тротуаре, а пальцы срывали со струн гитары аккорды, раскалывавшие воздух на тысячи осколков... «Как я люблю гитару, как от нее кружится голова, — сказал Селестен. — А ты? Слышишь эти аккорды... они звенят, но не могут дозвенеть до следующего, и катится сердце в пропасть между ними, и срывается песня... Да нет, она не умерла... Слышишь, поют!»

Песня и гитара провожали их по переулкам, потом исчезли. И так они были подготовлены к встрече...

Она была в одном платье с квадратным вырезом, будто жарким летом, и она обнимала голыми, округлыми руками фонтан, подставляя под струю высокий кувшин. Она была великолепно, как картина из музея, как Папский дворец, как монастырский сад! Они остановились ослепленные. Голоса цыган замирали, и только струя воды еще ворковала. К фонтану подошел мужчина. Подняв полный кувшин, он обнял другой рукой девушку за плечи, и они пошли, обнявшись, оставляя за собой на земле многоточие капель... Жюльетта и Селестен разглядели мужчину только со спины: на нем был котелок и его пальто было темнее сумерек.

Потом они очутились вдвоем в крошечном ресторанчике; он подходил на игрушку, вызывающую изумление: до чего все хорошо сделано и похоже на настоящие большие вещи — и стулья, и занавески, и посуда.

Розовые стены были почти не видны за плакатами, веселыми, как флаги... Там было не больше шести столиков из мрамора, по краю высокой стойки со свинцовым верхом шла резная гирлянда, за ней цвели бутылки всех оттенков, а девушка за стойкой была такая молоденькая, что казалось, она только играет в «хозяйку».

Рука в руке, глаза в глаза, они отдыхали после долгой грогулки и глядели друг на друга через узкий столик. Вообразите кого-нибудь, кого вы видели только издали, или во сне, или в воображении: Мадам Гювари, Анна Каренина, Вертер... Гарри Купер, Чарльз Бойе... и вдруг вы очутились с ним за одним столом! У этих близко знакомых и таких далеких людей вдруг оказывается определенный цвет лица,

¹ Крильон генерал Генриха IV, известный своей смелостью. На Чанской площади Линьбона стоит памятник ему.

² Названия публичных домов наподобие парижских.

волос, невообразимые подробности, ногти, форма ушей. Жюльетта и Селестен глядели друг на друга с удивлением и любопытством, словно через увеличительное стекло. Зеркальце Жюльетты, вынутое из старенькой сумочки, губная помада в облезшем золоченом футляре, шерстяные перчатки, тщательно заштопанные на больших пальцах... Ее манера нахлобучивать берет на белокурые волосы, тонкие как у ребенка, и то, как она проводила пальцем за маленьким, безукоризненной формы ухом... цепочка на шее — наверно, на ней образок, — синева под глазами, перламутровая эмаль зубов. У него были красивые жесткие руки, указательный палец чуть пожелтел от табаку, золотое кольцо с гербом... На куртке нехватало пуговицы... Морщинки вокруг удлинённых глаз, рассеянный взгляд, волосы, имевшие склонность рассыпаться, редкая улыбка... Стаканчики коньяку были до смешного малы — наперстки. Они их выпили много.

Они обедали у Селестена в сводчатой комнате, полной живого огня. Селестен велел своему слуге принести самые неприкосновенные запасы — коробочку сардин, ананасный компот, и еще со вчерашнего обеда остался гусь. Хороший обед, превосходный обед... По радио передавали легкую застольную музыку. Что касается до вина, Селестен мог бы гордиться своим погребом, и он им гордился. Они были до глупости дико веселы, и когда слуга постучал в дверь, они собирались танцевать.

— Капитан, — сказал слуга, — опять тот самый человек... Он настаивает...

Селестен быстро вышел. Жюльетта, сидя в кресле, подрагивала плечами, — она танцевала сама с собой, то откидываясь, то выпрямляясь. От радио шли волны обольстительной музыки. Но Селестен не возвращался... Как он долго не идет. В дальнем углу елка казалась опушкой темного ночного леса, свечи на столе оплывали последними слезами, радио смолкло. Она осталась одна, ненужная, как выжатый лимон...

Селестен вернулся, когда радио начало передавать марш: «Маршал, мы перед вами»¹. Он подошел к радио, выключил его:

— Я вынужден уехать, — сказал он, — чрезвычайно огорчен, что приходится вас покидать... Если хотите здесь переночевать, будьте как дома. Если предпочитаете уехать еще сегодня вечером, то Франсуа проводит вас на вокзал.

— Случилось несчастье?

— Нет, ничего не случилось... Просто есть работа, и к тому же спешная. Вы едете прямо в Лион?

— Я остановлюсь в Валансе.

— Ну вот, Жюльетта, значит, до свидания. Ваш поезд отходит примерно через час, вы только отдайте Франсуа распоряжение...

— Селестен!

Селестен перекинул ногу через стул и опустился на низкое кресло у камина. Он смотрел в огонь чудными своими глазами, то быстро вскинет их, то смотрит остановившимся взглядом, не отрываясь.

¹ Фашистская песня в честь бывшего маршала Петэна, которой обучали детей в школах.

— Жюльетта, вы сказали: «Давайте играть!»

— О-о! — она вскрикнула чуть слышно.

— Страшная игра... Теперь я знаю, чего мне нехватает, чего у меня никогда не будет. Это чудо, Жюльетта! Но мне от этого еще тяжелее, чем было, теперь я знаю, что под пеплом ничего не осталось. Мне было показалось... да нет, если вы не смогли сотворить это чудо, значит, никто не сможет! Жюльетта, не плачьте. Никто не волен над сердцем. Я честный человек.

— Я не плачу,— сказала Жюльетта, схватив свой берет и нахлобучивая его.— Я знаю, что любовь — фальшивая монета, а правда только то, что кажется... Никто никого не любит... Я вас не люблю. Где же мое пальто?

— Значит, вы едете сегодня вечером? — Селестен встал. Он стоял чуть согнувшись, рукой держась за грудь, с левой стороны.

— Да, я переночую в Валансе. Что с вами? Вам плохо?

— Да нет, все в порядке... Прощайте, Жюльетта.

— Почему прощайте? До свидания — это естественней, не так ли?

— Тогда до свидания.

Они пожали друг другу руку.

Слуга Селестена шел за Жюльеттой, неся ее чемодан. На улицах было темно до черноты, но незачем было смотреть, и так было ясно, кто стучит сапогами: никто, кроме них, так мерзко не топает ими, будто сапоги у них свинцовые или чугунные... Авиньон, немецкий город...

И вот машинистка Жюльетта Ноэль снова в поезде. Поезд переполнен, как все поезда. Она сидит на маленьком чемоданчике в коридоре, битком набитом вещами и людьми, а между тем четыре пустых купе в этом вагоне заперты на ключ. На каждой остановке новые пассажиры дергают ручки этих дверей, на которых ясно написано: *Nur für die Wehrmacht*¹. Люди все-таки дергают ручки, ругаются и проходят дальше — в этом коридоре даже стоять негде. Однакоже, когда какой-то старикашка в нарядном пальто, с жемчужной булавкой в галстике и двумя зубами во рту очень громко заявляет, что если бы тут был немец, то он с удовольствием отпер бы двери и рассадил пассажиров, — немцы всегда рады оказать услугу, они так корректны! — когда пассажиры слышат эти слова, они сразу подхватывают их, словно античный хор: «Что касается корректности, то они очень, очень корректны!» В то время как какой-то мальчик ковыряет перочинным ножом в замке запертого купе, а соседи подбадривают его советами, Жюльетта ласковым голосом говорит: «Они так корректно расстреливают!» И на лице у молодого человека возле нее, скромно путешествующего со своей мамашей, появляется такое выражение, будто он оступился на лестнице. Тихо, так что слышно только Жюльетте, он спрашивает: «Многих расстреляли в Валансе?» — «И в Валансе, и в других местах», — равнодушно отвечает Жюльетта. Оконная рама не держится, каждую минуту ее кто-нибудь подымает, но она снова начи-

¹ Только для военных.

нет скользнуть вниз, медленно, медленно, и ледяной ветер пронизывает ступицы в коридоре людей.

— Вы не могли бы отпереть нам пустые купе? — спрашивает Жюльетта контролера, который проходит, оттесняя людей к стенкам вагона.

— Вы что, неграмотная? Видите, — для оккупантов.

— Я южного жаргона не понимаю, — говорит Жюльетта, и весь коридор хохочет. Контролер пожимает плечами и проходит дальше.

На остановках входят люди, таща чемоданы, ребят. Казалось, что поезд переполнен до того, что пройти нельзя, но новые пассажиры проходят, дергают двери запертых купе. Говорят:

— Отчего заперто? Для почты, что ли?

— Не видишь, что ли — это для фридолинов.

— Чорт побери! Это для фрицев!

И они проходят дальше, неизвестно каким образом, но они проходят, или же останавливаются и стоят на чужих ногах...

Ручка и замки чемоданчика впивались в тело Жюльетты. Ей вдруг осточертели все поездки, она очень, очень устала, и ей хотелось громко и отчетливо высказаться по поводу всего происходящего. Но надо было молчать, она и так слишком обратила на себя внимание, старик с двумя зубами косо на нее поглядывал. Он продолжал разглазговать, поганый старикашка: «Вы видели, какая на них одежда? А какая техника! Какая дисциплина!»

«Хочется ему плюнуть в лицо», — думала Жюльетта, а хор пассажиров подхватывал: «Какая дисциплина!» И сквозь открывшееся окно прихлывал мокрый ночной ветер... Молодой человек, едущий с мамашей, делает ей какие-то знаки: он постепенно очутился в другом конце вагона. Вот он пытается протолкаться к ней: — Мадмуазель, — говорит он ей, — там есть место, мама заняла его для вас.

— Спасибо... Вот Валанс, я выхожу.

В Валансе в отеле для разнообразия не топили. Жюльетта плохо спала, тревожно прислушивалась, потому что она записалась в отеле на имя Розы Туссэн (доктор ей настойчиво велел не разъезжать под своей фамилией, когда у нее с собой было «всякое такое»), а подложное удостоверение личности еще не было готово. Вот получит его — тогда будет ездить спокойно. Ей снились каменные катакомбы, откуда она не могла выбраться. Стены были темные, шершавые, серые тени скользили мимо нее и шептались, что ей отсюда не вырваться, не вырваться никогда! Зачем ей это говорят, она и сама знает, что не вырваться, от этого пытка становится еще мучительней. По стенам тюрьмы шла надпись огромными заглавными буквами: ОНИ ПРИШЛИ! И Жюльетта не знала, отчего ее охватывало такое отчаяние — оттого ли, что они пришли, или оттого, что она заперта навеки. «Святые авиньонские любовники, иже еси на небесах, — молилась Жюльетта во сне, — смилуйтесь надо мной, помогите мне!»

Наутро, ожидая часа, когда можно будет застать нужных ей людей, она бродила по улицам... Большой город Валанс. Большой вокзал, большие кафе, большие магазины, и кино большие... Немцы,

итальянцы в петушиных перьях. Смех! У Жюльетты до слез зябли ноги... К счастью, время свидания подходило, было около одиннадцати утра.

Кафе находилось около самого вокзала, одно из тех кафе, куда сдают на хранение вещи. «Нет, только не лимонад с сахарином, так холодно, мне бы горячего кофе». — «Может, хотите горячий кирпич под ноги, барышня?» — «Пожалуйста!» В ожидании кофе Жюльетта смотрела на человека за стойкой: это, наверно, он и есть. Но тут же стоя пил кофе жандарм, а двое других сидели за столиком!.. Вот они встают, уходят. Неплохо их, видно, кормят в Валансе, жирные — не хуже гардмобиелей. Напротив Жюльетты немецкий офицер пил кофе, прихлебывая из рюмочки желтую жидкость. Лицо у него тощее, руки костлявые. Плохой вояка... Жюльетта встала, подошла к стойке.

— Не дадите ли вы мне рюмочку того же самого, что пьет этот немец? — сказала она. — Вам очень кланяется доктор Арнольд.

— Ничего он хорошего не пьет! — сказал хозяин. — Поставьте чемодан в задней комнате, около уборной...

Жюльетта вернулась к своему столику, взяла чемодан, понесла его к уборной. За ней пошла хозяйка.

— Поскорее, — сказала она, — вдруг кто-нибудь зайдет.

Жюльетта достала из сумочки продовольственные карточки, хозяйка спрятала их за кофточку, на груди.

— Идите скорее, милая барышня, я вам принесу горячего кофе и рюмочку ликеру, для вас — настоящего!

Немецкий офицер сидел на том же месте, у стойки, попрежнему стоял жандарм. Двое мужчин играли в карты. Красное дерево мебели, тусклая желтизна стен, коричневое дерево скамеек, коричневая кожа курток на игроках, желтый галстук, желтое кашне, и где-то какой-то желтый блик — все это напоминало несуществующую картину какого-то великого мастера под названием «Картежники».

Поезд уходил вечером. Жюльетта позавтракала в столовке, унылой, сырой, битком набитой. Она выпила кофе где-то в другом месте... Было холодно, под ногами таял снег, и уже чувствовался конец праздников, тоскливый, как возвращение на рассвете после разгульной ночи, как неубранный стол с объедками... Жюльетта оставилась около кино: как раз начинался дневной сеанс. Она зашла. Кино было хорошее, почти такое же красивое, как «Парамаунт» в Париже. Там было пусто, абсолютно пусто и тепло. Жюльетта выбрала место на самой середине. Бархатное кресло было удобно, соседей не было, никто не обращал на нее внимания, а Жюльетте как раз и надо было, чтобы никто не обращал на нее внимания. Позади нее молодой человек, может быть студент, читал газету. Стояли, прислонясь к стене, две билетерши. С шумом ворвались трое мальчишек, но сразу затихли в этой церковной тишине. Хорошо тепло... Ребята уселись в первом ряду, перед самым экраном. Здесь в золоченой тишине можно было забыть дом в горах, грязные ошмаки, рассвет, ячменный кофе и этих серых вшей в шевелюре улиц... Жюльетте было тепло, уютно, ее клонило ко сну. Она уже начала дремать, как вдруг что-то случилось... Жюльетта вздрогнула, почуввав опасность: от экрана неслись беспорядочные звуки... Постепенно они

определялись, превратились в музыку, и голос Эдит Пиафф¹ запел, как всегда:

Он был красивый, он был большой,
Он славно пахнул теплой землей.

Казалось, что от тепла в зале у Жюльетты начало оттаивать сердце, и что это талая вода падает каплями у нее из глаз... Очень больно, когда кровь возвращается к отмороженному месту. Отморозишь уши, например, и пока они белые, бескровные, ничего не чувствуешь. А когда они начинают оживать, тогда становится больно, и воззаются в тело раскаленные иглы... Господи, как у нее болело сердце, какой она была одинокой в огромном золоченом кино, как заживо погребенная в золотом саркофаге... Святые авиньонские любовники, молись за нее!

Кинохроника шла в освещенном зале,— может быть, боялись, что Жюльетта устроит демонстрацию при виде этих образцовых солдат, которые в красивых белых комбинезонах чинили телеграфный провод при страшном снежном буряне, а невидимые зрителю злые русские стреляли по ним. Потом наслаждались драмой, настолько скверной, что можно было под нее дремать и ни о чем не думать... Она чуть было не пропустила поезд!..

— Жюльетта, что с тобой? Ты больна?

— Больна? Почему?

— На тебе лица нет! Что-нибудь случилось? Неудача?

Тетя Алина снимала с нее пальто, Хосе обнимал обеими руками ее колени и бурно радовался:

— Жюльетта приехала! Жюльетта приехала!

— Только скажи скорей, все благополучно?

— Все в порядке, тетя Алина, но если бы ты знала, как сейчас трудно разъезжать... Хосе, родненький, солнышко ты мое, ты меня задушишь! Ты хорошо себя вел?

— Оставь Жюльетту в покое! Пойди накрой на стол, как большой, поскорей... беги!

Тетя Алина прошла за Жюльеттой в ее комнату.

— Послушай, девочка,— сказала она, пока Жюльетта снимала платье и надевала старенький халатик и туфли,— видит бог, что я во всем с тобой согласна, но ведь я старуха... Я не выдержу... Если бы я могла с тобой ездить, но ждаты!.. Когда я слышу шаги на лестнице, я думаю, что это полиция за тобой. Я жду и думаю, что ты не вернешься, что ты попала. Ты не могла бы хоть на время бросить работу, передохнуть? Подумай о Хосе— что с ним будет без тебя?

Жюльетта вымыла руки, почистила зубы. Бисерная бахрома на абажуре заслоняла свет, она почти не видела себя в грошовом зеркале и пригладила волосы вслепую.

— Я не могу бросить. Для нашей работы нет людей. Как будто все согласны с нами, а как доходит до дела... Хосе доволен лошадкой? Вы хорошо провели рождество? Как ты приготовила кролика? Ты не

¹ Эдит Пиафф—известная жанровая певица.

беспокойся, тетя, милая, я очень осторожна. А сейчас все равно мне возвращаться в редакцию, значит, поездки кончатся.

— Да, ты только так говоришь... погляди на себя... Бледная, как смерть! Ты заболешь...

— Все это ты выдумываешь, я прекрасно себя чувствую... До чего я рада, что я дома!

— Жюльетта!— кричал Хосе,— Жюльетта, иди скорей!

— У вас очень утомленный вид, мадмуазель Ноэль, вы не хотели бы отдохнуть денек-другой?— сказал главный редактор, диктуя ей письма. Все мужчины относились к Жюльетте очень трогательно.

— Спасибо, я себя прекрасно чувствую... Просто я не люблю Лион.

— И я тоже,— вздохнул главный редактор.

Тоска по Парижу, от которой с самого начала изгнания всякий другой город был ненавистен Жюльетте только за то, что он не был Парижем, эта тоска еще углубилась в Лионе, городе, тьмком и замкнутом, как затаенное безысходное горе, городе, не пригодном для утешения... Жюльетта даже сердилась на тех людей, которым нравилось в Лионе,— ей они казались людьми ненормальными, которые культивируют свое несчастье, находят в нем болезненное наслаждение. За что его любить, этот город? За дома—бесцветные, ровные кубики? Или за улицы, состоящие из таких домов? Или за то, что в них было подозрительного мещанского, мелочно-лавочного, что напоминает парижские внешние бульвары с их сомнительной публикой? Или за подъезды, которые всегда принимаешь за черный ход и где внизу, на стенах грязного, красно-кирпичного цвета, висят прибитые рядами почтовые ящички, а перила лестниц напоминают черную тюремную решетку? Или, быть может, за квартиры с глубокими альковами, и альковами в альковах и альковами в альковах альковов, один мрачнее другого, заходящие все глубже и глубже. В Лионе умеют жить только в заношенной, залежанной тесноте.

Разве можно было любить лионский климат, туман, грязь, хлюпающий снег? Разве в Париже замечаешь погоду! Только тогда бывает так хорошо, что не хочется идти домой. В Париже выйти на улицу— значит идти навстречу замечательной неожиданной сказке... Ходить по лионским улицам... шлепать по холодной грязи, мимо серой казармы, где над порталом развевается флаг со свастикой, а по панели шагают двое часовых, вооруженных до зубов, в немецких серых шинелях и касках... Молодые матросы шатаются по Лиону без дела (и откуда только в Лионе моряки?). Нет больше матросов и красных помпонов на шапках, нет больше ни лоску, ни выправки; нет больше самих матросов... Их уносит течением. Армия, с которой сорвали погоны, нашивки, разбитая, униженная, как офицер, изменивший воинской чести, и на ее помертвевшем лице застыла обида, у нее отняли решительно все... «1918, 1918, 1918»¹— написано на стенах... Как в

¹ В 1943 году на всех стенах Франции неизвестные руки писали: «19 8»,— напоминая немцам год их поражения, сравнивая год 18-й и 43-й.

Париже, верно, как и в Париже! Как везде... 1918... Бежать за дверями или ждать его без конца, чувствуя, как холод проникает до костей, висеть на подножке, еле держась застывшими руками за поручни... Как хорошо, как тепло было в парижском метро! Нарядные женщины, уступающие место вежливые мужчины,—и злобная толпа в лионских трамваях. Рона, бледная и трагическая, как пустой рукав безрукого. Нет, никогда от Сены, от ласковой Сены не пробегает такая дрожь. И оттого не легче, что в былые времена Лион был кулинарным раем, что убогие ресторанички, погребки, где теперь люди двигают друг друга, чтобы поесть липнувших к небу оладьев из заплесневшей муки, был раньше храмом высочайшей гастрономической культуры!

Но, видит бог, что не Лион виноват в том, что Жюльетта так побледнела, не от него у нее синева под глазами, которая так беспокоила главного редактора. Нечего валить вину на Лион. Мадмуазель Жерар, вторая машинистка редакции, маленького роста брюнетка, с которой Жюльетта подружилась, тоже говорила ей: «Жюльетта, хотите, я займусь «почтовым ящиком»? Отдохните, я успею все сделать, что надо... У вас такой вид, что смотреть страшно».

— Уверяю вас, Мария, я чувствую себя прекрасно. Я не больна, я себя грызу... Невыносимо, что люди гибнут накануне победы!

— Пьеро забрали,—шептала Мария Жерар,—знаете, мальчишкуслесаря, коммуниста! Гестапо устроило налет на меблирашки, где он жил... Они избивали его до полусмерти, там же, в ресторане меблирашек, у всех на глазах, и увели... Совсем ребенок. Вчера был обыск у Бенуа. Его случайно не было дома, но товарища, который ждал его, увели.

От этой Марии Жерар Жюльетта и услышала впервые о движении Сопротивления. Сначала Мария говорила с ней намеками — не знала, можно ли доверять этой девушке, такой милой и вместе с тем такой сдержанной, неприступной. Но в этот день, когда пришло извещение о том, что брат Жюльетты убит в Ливии, чернявая Мария, в припадке жалости и злобы, прямо предложила Жюльетте работать. Кровь брата была порукой за Жюльетту. Прошло больше года, и с тех пор постепенно Жюльетта вошла в колею, ей давали все больше и больше заданий, и она все глубже уходила в работу: она была выдержанна, спокойна, точна и никогда не отказывалась ни от какого задания. А дела было много... Съедения, которыми работники Сопротивления должны были ежедневно обмениваться,—пароли, аресты, сопротивление «смене», саботаж, имена разоблаченных осведомителей, аресты, производимые гестапо, подпольная литература,—все эти сведения собирались и распределялись, все связи налаживались через почтовые ящики. Вооруженное сопротивление организовывалось, получало оружие, украденное в арсеналах, спрятанное еще в 1940 году, после заключения мира, сброшенное на парашютах англичанами... Сердце страны билось, и Жюльетта Ноэль, машинистка, тоже помогала крови приливать к этому сердцу. Национальный фронт выстраивался перед лицом оккупантов, как живая, кровоточащая, израненная линия Мажино, становившаяся с каждым днем все прочней.

Жюльетта знала теперь Лион, как свои пять пальцев: Фурвер, Рыжий Крест, Сен-Жан, Вилльорбан не имели от нее тайн: она знала

все трамвайные маршруты, маленький синий поезд, кафе, ресторанчики, скамьи бульваров, проходные дворы, так называемые «трабули»¹, то есть туннели, которыми насквозь пронизаны целые кварталы домов. У некоторых «трабулей» по шесть-семь входов и выходов, во все стороны, и если начать в них играть в прятки... Жюльетта попрежнему говорила: «Я не люблю Лион», но, быть может, это уже перестало быть правдой.

Лион стал соучастником ее жизни, ее работы: замкнутые дома, спасительная тьма трабулей, проходных дворов, отсутствие какой бы то ни было попытки принарядить эти изъеденные проказой стены, за которыми копят и набирают сокровища, где прячется роскошь и шепчутся заговорщики. И в этот теплый февральский день, когда Жюльетта поднялась на Рыжий Крест² и, пристоясь к невысокой стене над фуникулером, смотрела вниз, она с нежностью наблюдала, как солнце чуть румянило лицо Лиона, бледное и почерневшее от нищеты, а может быть, и от жадного эгоистического прожорства... Перед ней на высоких стенах домов тесными прямыми рядами выстроился легион окон, и глазу не на чем было остановиться, ничего не было на этих стенах, кроме черных прямоугольников. Она смотрела на них сквозь лес высоких каменных труб, и ни одна из них не дымилась. Это был трагичный, как будто обгорелый лес. Внизу, совсем внизу, текла Рона, по берегу стояли большие дома, и казалось, что им передается величие реки. Вдали небоскребы Вильорбана впивали в себя весь солнечный свет. Жюльетта, прижимая к себе пакет, мечтала... Чудесная погода, тепло... Какие мысли скрывались за ясным лбом? Мечтать было для нее делом привычным. Жюльетта провела пальцем за ухом, повернулась спиной к пейзажу: уже поздно, ей надо спешить. Шумели ткацкие станки, казалось, это дышат живые дома, большие дома, на стенах которых нет ничего, кроме окон. Жюльетта пошла по улице, повернула на другую, потом вместо улицы перед ней открылась лестница, широкая, голая, бесконечно высокая, торжественная, как длинная каменная мантия, ниспадающая с плеч короля-великана. Жюльетта начала спускаться по ступеням — долго, долго... Вдоль домов шли перила из прямых прутьев, словно решетки тюремных окон. Сойдя с лестницы, Жюльетта прошла несколько шагов и завершила в трабуль.

Как и везде в трабулях, у самого входа на облупленной стене висели почтовые ящички. К каждому ящичку была прибита медная дощечка или визитная карточка, или просто клочок бумаги с фамилией; на каждом ящичке висел замок, у каждого жильца был свой ящик и свой ключ, дабы он мог быть уверен, что тайна его корреспонденции в сохранности. По многочисленности ящичков можно было судить о перенаселенности домов. В газете, где работала Жюльетта, одного из сотрудников преследовала женщина, которая писала ему по несколько писем в день. Эти любовные письма, написанные сумасшедшей, всегда были вложены в три или четыре конверта, один в другом, и каждый из них был тщательно заклеен. Так представлялись Жюльетте если не

¹ Трабуль — слово, употребляемое только в Лионе.

² Рыжий Крест — один из районов Лиона, где живут по большей части самые богатые классы лионского бархата и шелка.

души самих лионцев, то души их жилищ. Трабуль, по которому шла Жюльетта, казалось, выдавал свою тайну в большом квадратном дворе: посреди двора шла лестница (двор был разделен на две площадки, на различном уровне), и эта лестница, и черное железное ворот у входа на лестницу, фонарь над ней, решетки как будто балконов, а на самом деле просто лестница с перилами и без лестничной клетки,— все это придало двору мрачную роскошь тюрьмы и горя. Спустившись по широкой лестнице посреди двора, Жюльетта прошла под аркой дома, спустилась по липким ступенькам, которые вели как будто бы в погреб, а на самом деле — в другой проход, который заканчивался почтовыми ящичками и вел на улицу... Жюльетта перешла через улицу (снова высокие стены с прямоугольниками окон, и больше ничего!) и зашла в трабуль еще более узкий, грязный и темный, чем предыдущий, с выступами, ступеньками, сложными поворотами и двумя проходными дворами, тесными и темными, как внутренность дымохода, с лестницами, превращающимися на каждом этаже в балкон, с тюремной решеткой перил... Жюльетта дошла таким образом до площади Терро и села на трамвай.

Она уже позвонила у двери первого этажа, когда жена швейцара (дом был богатый, новый, со швейцаром) вышла из швейцарской. У нее был расстроенный вид.

— Мадмуазель,— проговорила она, задыхаясь,— они там... Я не знаю, зачем вы пришли... может быть, вам лучше туда не идти... их пятеро... кажется, немцы...

К двери приближались шаги. Когда она открылась, на лестнице никого не было, тяжелая входная дверь была закрыта.

Жюльетта бежала по улице, вернее, не бежала, а шла страшно быстро, как лошадь, которая вот-вот перейдет с рыси на галоп. У нее кололо в боку. Вот трамвай — он довезет ее до Кордельер... Улицы были совсем темные, придушенные, раздавленные полным затемнением. А если она никого не застанет? Она побежала,— будь что будет!

Маленький дворик был освещен только светом из окон. В углу сдвинуты поставленные друг на друга круглые столики из кафе... Около черного хода громоздились ящики, на застекленной двери, освещенной изнутри оранжевым светом, было написано: «Бар, служебный ход». Жюльетта споткнулась о помойное ведро, ощупью взобралась по ступенькам, позвонила условленное количество раз. Константин открыл ей сам.

— Что случилось?— спросил он, хватая ее за руку.

— Обыск, на улице В...

— Пройдите в комнату.

В задней комнате, настоящем тайнике, спал человек, совсем одетый, на тюфяке, на полу... Он вскочил на ноги, провел рукой по встрепанным волосам. Глаза у него были красные, щеки впалые.

— Я не успела передать почту, я опоздала, слава богу! Вот листовки.

Она положила на стол пакет.

— Надо переменить все адреса почтовых ящиков...— Константин падел свою кожанку, нацепил на брюки велосипедные зажимы: вид у него был неказистый.— Жюльетта,— продолжал он,— идите, предупре-

дите доктора, скажите, что завтра я к нему пришло на прием... мм... скажем, Жоржа... Нет, всех зовут Жорж... Амедея... Ладно, надо идти... За вами никто не следил?

— Не думаю, я неслась со всех ног...

...Доктор Арнольд изо всей силы стукнул кулаком по столу: «Сволочи!— заорал он,— наверно, они его забрали!— он снова ударил кулаком по столу.— Теперь наверняка можно сказать, что его выдала эта собака Жак, совершенно тот же прием, что с Лафонгом... Собака! Собака! Собака!»— Он вышел из комнаты. Слышно было, как он звонит кому-то по телефону. Дверь тихонько открылась, вошла жена доктора, незаметная, молчаливая женщина, лет на десять старше доктора. «Какое несчастье,— сказала она,— бедная моя мадмуазель Ноэль, неужели это никогда не кончится...» Она беззвучно заплакала и вышла из комнаты, не дожидаясь доктора.

— Жюльетта, милая моя,— сказал он, входя,— какое счастье, что вы им не попались! Послушайте, нельзя ли вас попросить позаботиться о комнате для одного товарища — он приезжает послезавтра. Некий Селестен,— впрочем, что я! Ведь вы его знаете, вы с ним виделись в Авиньоне, помните? Вот как удачно, значит вы сможете встретить его на вокзале, разумеется, если вы свободны.

— Я свободна,— сказала Жюльетта.

— Отлично, придется его поместить в том самом притоне, где и вы один раз ночевали.

Жюльетта позвонила в редакцию и сказала больно: она и на самом деле страшно устала, история с обыском сильно на нее подействовала.

Она еще издали увидела его, он был на голову выше толпы. Когда она тронула его за руку, он взметнул глаза: он не ожидал ее увидеть... Но он не вскрикнул, не улыбнулся, просто пожал руку:

— Вы пришли встречать меня?

— Да, вас... Доктор просил меня снять комнату и потом встретить на вокзале некоего мосье Селестена... Вам придется ночевать в подозрительной гостинице... У нее есть преимущества, я однажды там ночевала, я знаю, что там не надо прописываться.

— Надо ехать на трамвае?

— Нет, это в двух шагах.

— Все удобства... А как вы поживаете... Жюльетта?

— Вы не забыли, как меня зовут? Я живу хорошо, а как вы?

— Нет, я не забыл ваше имя... Но я не знаю, могу ли я позволить себе такую фамильярность... называть вас просто по имени...

— Можете... Это покажется более естественным хозяйну гостиницы. Мне придется подняться к вам в комнату, я должна передать вам письмо... В Авиньоне все еще много немцев?

— Даже больше, чем было.— Он стал перечислять все отели, реквизированные немцами, рассказал про немецкую библиотеку, которую они устроили на улице Республики, и так далее, без конца...

— Вот и гостиница,— сказала Жюльетта,— видите, у нее три выхода или три входа, как хотите... Один — во двор, это главный... Другие

нельзя найти, если не знаешь... смотрите, вон там, около кино, а третий выход на улицу, позади.

Хозяин гостиницы не показывался, собаки тоже. Сонная горничная безразлично поглядела на Жюльетту, бравшую ключ с доски... В комнате занавеси были задернуты, они были из синего атласа с синими цветами, на большой кровати-диване было такое же синее атласное покрывало, и ковер на полу был тоже синий. Зеркала отражали всю эту лазурь и слабый свет затененной лампы. В комнате была райская теплынь, в ней можно было бы жить, в чем мать родила...

— Подходит вам комната?—спросила Жюльетта.

— Никакой сказочный дворец не мог бы лучше соответствовать моим мечтам, чем этот отель.— Улыбка мелькнула на его темном лице падшего ангела.— Дайте мне, пожалуйста, письмо, Жюльетта.

Она вынула письмо из подкладки пальто и протянула ему.

— Доктор велел вам передать, что он перехватил это сегодня утром по радио¹, он думал, что вы, быть может, уже в пути. Он прислал вам текст... Об остальном мне ничего не известно.

Селестен разорвал конверт, подошел к окну,— нет, темно, оно выходит в стену. Пришлось довольствоваться розовым фонарем. Он долго читал две маленькие странички, время от времени поднимая на Жюльетту отсутствующий взгляд.

Потом он сжег листки над умывальником и открыл кран, чтобы смыть пепел. Он даже не снял куртки.

— Я выйду первый,— сказал он,— переждите пять—десять минут. До свидания, Жюльетта,— вы ведь не любите, когда я говорю «прощайте»... И спасибо!

Он вышел. Жюльетта опустила на синее покрывало дивана. Вся комната с ее бумажным атласом, огромной кроватью, зеркалами за сто перст пахла домом свиданий. На Жюльетту напал истерический смех... Вот он, ее потерянный рай! Она смеялась и плакала... Мне больно за нее, за всех женщин... Жюльетта! Не унижайтесь, даже когда вас никто не видит! Пресвятые авиньонские любовники! Ради любви к любви простите ее... Слушайте, она богохульствует: «Они пришли!— кричит она.— Они пришли!» Нет, лучше не слушать, не знать... Это просто сказала усталость последних месяцев, не выдержали нервы.

Когда Жюльетта Ноэль вышла из гостиницы, она заметила на улице, сама того не сознавая, какого-то человека в светлом пальто до пят, который смотрел с тротуара на ворота двора, где стояла гостиница.

Жюльетта внезапно вспомнила о нем, когда она была уже на площади Белькур, и обернулась: он здесь! С каким-то другим человеком... Это ничего не значит... Может быть... Она снова обернулась, раз, два, незаметно: они шли через площадь, следом за ней... У остановки трамвая оба человека остановились рядом с ней. Почему за мной следят? Из-за Селестена? Из-за «почтового ящика»? Но это уже не в первый раз у нее ощущение, что за ней следят, и всегда это оказывалось или плодом воображения, или это просто к ней приставали... Никогда не знаешь, кто за тобой идет—шпик или поклонник. Вот

¹ По радио передавались из Лондона и Алжира зашифрованные задания членам организации Сопротивления.

трамвай... Жюльетта заторопилась, позволила себя оттолкнуть... Кажется, не садятся. Трамвай тронулся, Жюльетта побежала, вскочила было на подножку, но чья-то рука стащила ее оттуда.

— Главное, без скандала...— сказал человек в светлом пальто.— Вам ничего плохого не сделают...

Он прекрасно говорил по-французски с едва уловимым акцентом. Они держали ее с двух сторон, с виду незаметно, но на самом деле крепко. У второго был длинный нос и светлые волосы щеткой, которые приподнимали мягкую шляпу. Он сказал несколько слов по-немецки. «Я пропала,— подумала Жюльетта,— что у меня с собой? Ничего компрометирующего? Нет, ничего. Удостоверение фальшивое. Зовут меня Роза Туссэн... Кажется, так... Наверное, так. Из-за Селестена я взяла фальшивое удостоверение. Ах, черт! Тетя Алина дала мне продсвольственную карточку на мое имя, чтобы я взяла, наконец, кофе, раз я иду в город... Бедная моя тетя Алина, можно подумать, что весь мир сошелся на этом кофе, бедная моя тетя Алина, как она постарела, раньше она не была такой... Бедная тетя Алина, не будет у нее кофе... Хоть бы у меня не было этой карточки... Я скажу, что она не моя, она—Жюльетты Ноэль, моей подруги... Вот и все. Нет, мне ни за что не выпутаться, ни за что... Я скажу, что я—уличная...»

— Вы нам по-хорошему расскажите, где и в котором часу у вас свидание с вашим возлюбленным, вот и все, что нам надо. Потом мы вас отпустим.

Они шли по улице Республики— Жюльетта, зажатая между двумя мужчинами.

— С которым из моих возлюбленных?

— Дорогая моя барышня, не притворяйтесь дурой,— с тем, кого вы встречали на вокзале и с которым вы были в гостинице.

— А если я вам ничего не скажу?

— Вы, конечно, слышали об отеле Терминюс?

— А что там?

— Гестапо, барышня, гестапо! Вам это ничего не говорит? Там вам устроят допрос не шуточный... Скажите нам лучше по-хорошему, сейчас же, где и когда у вас свидание?

«Господи боже мой,— подумала Жюльетта,— пути твои неисповедимы, вот почему мне не суждено было с ним встретиться еще раз... Кто знает, под пытками... Теперь я могу быть спокойна, я ничего не скажу. Свидания у нас нет».

— Почему бы вам не зайти в гостиницу? Понимаете, мне это очень неприятно...

— Потому что он туда не вернется... И довольно рассуждать, понятно? Будьте любезны дать нам необходимые сведения.

— Но мы не назначали свидания! Я ему не понравилась. Он привел меня в отель и бросил.

Длинноволосый блондин снова что-то сказал по-немецки, другой подозрительно поглядел на Жюльетту.

— Не выдумывайте, кто же станет бросать такую красавицу! У капитана, наверно, хороший вкус, как у всякого кавалериста. Разве только что вы ничего не умеете...— Оба громко захохотали, и немец игриво подтолкнул Жюльетту локтем ниже талии.

— Конечно, я ничего не умею, — сказала Жюльетта.

— О-го-го! Не умеете? Если будешь настаивать, мы тебя поведем отель и научим! Ну, будешь ты отвечать или нет?

— Вы мне делаете больно... — простонала Жюльетта и подняла человека полные слез глаза: это были великолепные слезы, они наполнили глаза до краев, не падая, будто красивые глицериновые слезы в кино... Тот совершенно растерялся: Жюльетта действительно могла растрогать любого мужчину.

— Не надо плакать, — сказал он, — вы не виноваты, что нарвались на такого тила... В другой раз вы будете осторожней, не правда ли?

— Да, да конечно! — сказала Жюльетта. — Я всегда так осторожна, и вдруг!.. Что же это он такое наделал? Что-нибудь очень серьезное?

— Да нет, пустяки... Отведите нас к нему, и мы с ним очень быстро объяснимся. Мы ничего дурного ему не сделаем.

— Ах, — сказала Жюльетта, — это ужасно! У нас с ним назначено свидание... Но знаете, он всегда опаздывает, может быть придется подождать... Он мне обещал прийти к колоннам Оперы через полчаса или через час...

Витрины у лавок за колоннами, люди, стоящие перед витринами, толпы — все это заполняло пространство за колоннами Большого оперного театра, похожими на колонны театра Одеон в Париже. Здесь продавали всего понемножку: открытки, очки, белье... И все вместе казалось чем-то подозрительным, как это часто бывает в Лионе.

— Можно ее больше не держать, отсюда все равно не убежит, — сказал человек в светлом пальто, когда их начали толкать со всех сторон, потому что они шли втроем в ряд, а за колоннами театра было тесно. Пролеты под арками, между колоннами, были заделаны невысокой железной решеткой. Немец выпустил руку Жюльетты с явным неудовольствием: он прижимал ее к себе все ближе и ближе... «Vougan!.. Идите вперед», — сказал он. Жюльетта прошла вперед, мужчины шагали за ней по пятам.

Она сама не знала, почему она привела их сюда, именно под эти арки, ей просто надо было выиграть время, чтобы могло свершиться чудо.

Она остановилась перед оптическим магазином, внимательно рассматривая очки. Потом прошла дальше. На большом покато столе были разложены ноты. Жюльетта стала медленно читать названия: «Марш ткачей»... «Дивное танго»... «Марго, оставайся в деревне»... «Будь ты проклята, война!» (небывалый успех)... Ноты, давно лежавшие на воздухе, в пыли, пожелтели, запачкались, тонкие листки покоробились, словно они побывали под дождем. «Le Petit Quin-Quin»¹, — продолжала читать Жюльетта, а сердце у нее замирало. «Вдоль по улице нашей любви». А вот «Мой легионер» с портретом Эдит Пиаф в сиреневых тонах... «Цветы — это слова любви»... Как быть, что делать? Она не видела никакого выхода, даже соломинки, за которую можно было бы ухватиться... Те двое позади, тяжелые и неумолимые, как

¹ «Малютка Кенкен» — народная колыбельная песня.

двери тюрьмы... Шепнуть слово прохожему? Крикнуть? Ее душили у всех на глазах... «Ночная скрипка»... «Мое сердце с вами»... «Лорренский марш»... «Самая нежная из песен»...

Ей было так холодно, что казалось, она никогда не сможет согреться, надо было встряхнуться, иначе отчаяние схватит за горло... Пока человек жив, жива надежда... Она повернула обратно, мужчины за ней. До конца — и назад, до конца — и назад. «Подождите», — сказал немец: он остановился перед писчебумажным магазином, длинный нос и шляпа на торчащих волосах нагнулись над витриной. Другой, тот, что в светлом пальто, спросил старика-продавца в золотых очках, есть ли у него открытки. Открытки оказались в магазине, и немец нырнул туда. У старика было симпатичное лицо, он, наверно, помог бы ей, если бы знал, если бы мог, потому что, если б он даже знал...

— Я устала, — сказала Жюльетта и уселась боком, как амазонка, на железную решетку в пролете между колоннами. Грязные дома, грузовики, велосипедисты, толпа... Эта часть города с вывесками оптовых магазинов («Шелка»... «Шелка»...) напоминала Париж. Крупные коммерческие фирмы, торгующие со всем миром, ютились в этих грязных домах (в Лионе не любят пускать пыль в глаза!), вылезая на узкие улицы тюками, ящиками с товарами, словно здесь идет какая-то мелочная торговля.

Через эти дома проходили насквозь сложные ходы — трабули, с лестницами во все стороны, ходы, зажатые камнем и железом, арки, проходы, выходы во дворы-колодцы, двери с вывесками: Шелка... бархат... Почтовые ящики... Трабули, в которых надо подыматься по темным лестницам, поворачивать, спускаться, возвращаться, чтобы найти выход из лабиринта. Иногда внутренние дворы перегораживают высокие решетки с такими узкими проходами (нехватает двух-трех прутьев) что человек кое-как еще может пролезть, но ни тюка, ни ящика не пронести. Это, говорят, купцы придумали от воров.

— Однако он вас заставляет ждать, ваш поклонник, — сказал тюремщик Жюльетты.

По другую сторону низкой решетки, в пролетах между колоннами, на улицу спускались каменные ступени. Немец, выйдя из лавки, писал открытку, приложив ее к стене.

— Может быть, походим еще немножко? — сказала Жюльетта, и они снова стали шагать под арками, вдвоем, она и человек в светлом пальто. Самопишущие ручки, плетеные изделия, футляры для продовольственных карточек...

«Бридж в 10 уроков»... «Азартные игры», «Самая нежная из песен»... Очки... Немец присоединился к ним, он дописал свою открытку; теперь они снова негромко переговаривались между собой, бог знает, что они замышляли...

— Послушайте, мадмуазель, мой приятель спрашивает, не примете ли вы от него маленький сувенир? — сказал, подхихикивая, человек в светлом пальто.

— Какой сувенир? — Жюльетта внутренне вся собралась: что это еще за напасть?

— Да вы не бойтесь! Он хочет сделать вам небольшой подарок, только всего... Вы не стесняйтесь, у него марок полон карман.

— Я, право, не знаю... Какой подарок? Пусть он сам выберет... чтобы был сюрприз, раз уж на то пошло...

Немец пошел в писчебумажный магазин. Жюльетта снова уселась на решетку.

— Кажется, вашему приятелю нужна ваша помощь,— сказала она: сквозь витрину было видно, как немец пытается договориться с продавцом. Человек в светлом пальто тоже смотрел на него.

— Ничего, сговорится,— сказал он, подсмеиваясь.

Жюльетта перекинула ноги через решетку и прыгнула с верхней гупеньки прямо на улицу.

— ... не могу же я вас оставить тут одну... вы еще сбежите...

Жюльетта пулей влетела в трабуль между домами напротив.

Во дворе она остановилась, обезумевшая, ничего не понимая, почти не соображая, где она, нужно ли подняться или спуститься по этой лестнице, проходной ли это двор или нет... Она застыла на месте, как бывает, когда захватит на площади кружение машин. Появился человек с тюком.

— Простите, мосье, есть ли здесь выходы?

— Конечно, мадмуазель, можно пройти и тут, и там, и еще вон туда.

Из трабуля в трабуль... Между трабулями приходилось иногда перебегать улицы. Она бросилась в них, как в воду. Но она уже знала, что она спасена. Даже если бы они и пытались ее преследовать, они застряли бы в сетях трабулей.

Ресторанчик, телефон...

— Попросите к телефону доктора Арнольда... Доктор, говорит Роза Туссен... Пожалуйста, передайте моему мужу, что при выходе из гостиницы мне стало плохо... Боюсь, что это начались схватки... Это очень серьезно, страшно серьезно... Вы его увидите?

— Да, да! — орал доктор. — Вы еще в состоянии двигаться? Вы абсолютно уверены, что нет опасности? Может быть, за вами приехать?

— Я сейчас буду у вас.

Горничная провела ее прямо в кабинет доктора. Когда она вошла и они увидели ее бледное лицо, белые губы, и глаза — лиловые анемоны, все трое — доктор, его жена и Селестен — бросились к ней и почти на руках донесли ее до кресла.

Она стала рассказывать все по порядку, со всеми подробностями.

— ...тогда я подумала: дудки! И прыгнула! Настоящий Дуглас Иербенкс! Будь у меня высокие каблуки, я бы свернула себе шею... Утром я было надела новые туфли, и очень было досадно, что начало моросить и пришлось надеть эти дрянные башмаки без каблуков... Я подумала: только бы мне добежать до трабуля, тогда пусть начнется, сколько влезет, они не львицы, а боши. Ну, вот...

— Все нормально,— сказал доктор. — Сюзанна, приготовь ей, пожалуйста, грог, у нее озноб... Пойдемте, милая, прилягте и отдохните под теплым одеялом, с грелкой, выпейте грогу.

— Нет, я хочу быть с вами.

— Мы пойдем с вами в спальню, мы вас не бросим.

— А Селестен? Не опасно ли ему оставаться здесь? — Жюльетта говорила, до того у нее стучали зубы.

— Мне нигде не опасно, Жюльетта... Она пришла, больше для меня нет опасностей...

Жюльетта лежала в спальне, укрытая одеялом, голоса до нее доходили как будто издалека, но, открыв глаза, она видела доктора и Селестена около своей кровати... Ей было изумительно тепло, голова кружилась от усталости, от выпитого вина.

— Взяли Константина... В первый раз он проскользнул у них между пальцами и спрятался у себя в комнате на окраине города. Самое странное в этой истории то, что у него был кольт, заряженный автомат и что он не отстреливался... Очевидно, он открыл дверь кому-то, кого он считал другом, потому и открыл... Только пять человек знали, где он скрывался... Он был в них уверен. На стенах комнаты стелась кровь, он дешево им не дался. Они увезли его в гестаповской машине, которая ждала внизу... Что ж, все нормально.

— Мне бы хотелось остаться, хотя бы для того, чтобы разоблачить предателя,— сказал Селестен.

— Нет уж, ты, пожалуйста, сделай милость, уезжай без разговоров. Все подготовлено, дорогу ты знаешь. Самолет приземлится в...

— Я не хочу уезжать. Она пришла.

— И все-таки ты уедешь, это я тебе говорю, и если понадобится, я применю силу! Думаешь, мало одного Константина? Все наши тайные аэродромы раскрыты... Я уж не говорю о самом Константине, не то я разревусь. А как нам быть с Жюльеттой?

— Ты считаешь, что ей угрожает опасность?

— Возможно... Они могут ее узнать просто на улице... Слишком она хороша собой для такой работы... ей не пройти незамеченной... Лион невелик.

— Как, по-твоему, нельзя ли ей было бы уехать со мной? Она пришла.

— Как?— переспросил доктор.

Настало долгое молчание.

— Нет,— сказал доктор,— там только одно свободное место... Теперь о другом: я виделся с коммунистом, которого ты мне послал; этим ребятам смелости не занимать, мы наладили одно общее дело.

— Да... после войны придется считаться с коммунистами, без них, без партии расстрелянных, нельзя будет управлять страной.

Снова настало долгое молчание.

— ...Лучше всего было бы Жюльетте на некоторое время скрыться,— сказал голос доктора,— в конце концов, сейчас это, может быть, вопрос нескольких месяцев.

— А тетя Алина? — спросила Жюльетта из-под одеяла.— А Хосе?

— Вы не спите? О них позаботятся, сами понимаете... Сегодня вы можете переночевать... ну, например, у Андринополи, или как там ее зовут, она хорошая женщина... Это очень надежное место.

Нет, я не позволю,— неожиданно вмешалась тихая жена доктора: она, оказывается, тоже была в спальне.— Я не позволю посылать чужого ребенка в постельку, где одни мужчины! Только мужчине может прийти в голову такая вещь.

Доктор шиковато поглядел на нее.

И ее ответу к своей кухне Марте,— продолжала жена доктора.

— К Марте? Жене оптовика, что торгует бархатом? Послушай, Сюзанна, что ты выдумываешь?

— Да, именно к ней. Жюльетте у нее будет очень хорошо. Там огромный сад, ей отведут розовую комнату,—я скажу Марте, пусть даст ей розовую комнату, это была ее комната, когда она была девочкой, я сама часто ночевала там до замужества... Там перед окнами деревья, мебель вся белая, а по стене, под самым потолком идет бордюр с птичками,— у моей кухни всегда был прекрасный вкус,— в комнате стоит прелестная шифоньерка и очаровательные креслица... Там можно мечтать, как нигде... Прислуга у них отлично вышколена. Едят там, как в мирное время...

Она говорила с воодушевлением, щеки у нее порозовели.

— А сам хозяин?— робко спросил доктор.

— Он?— она пожала плечами с видом превосходства.— Как будто это его касается! Марта у себя в доме— хозяйка. Она делает все, что хочет. И дом достаточно велик...

— Что ж, делай по-своему, Сюзанна,—сдался доктор,— в конце концов, это, быть может, великолепный выход... Если ты думаешь, что твоя кухня согласится...

— Собирайтесь, деточка,— сказала Сюзанна,— вставайте... Мне не терпится поскорее устроить вас там, подальше от всех этих ужасов...

Она нагнулась, взяла жюльеттины туфли и стала было обувать ее.

— Что вы! Что вы!

Жюльетта прыгнула с кровати. Пол ходуном ходил у нее под ногами, но она сделала отчаянное усилие и сказала естественным голосом, надевая пальто и нахлобучивая берет:

— Доктор, я рассчитываю на вас... предупредите тетю... сегодня же вечером, правда? Сейчас же. Скажите ей, что я в безопасности, что мне очень, очень хорошо. Я очень прошу вас.

— Можете на меня положиться.

— До свидания, доктор, до свидания, Селестен...

— До свидания, Жюльетта, вы позволите мне поцеловать вас?

Доктор обнял Жюльетту и расцеловал ее. Селестен взял ее руки— левую в перчатке и правую без перчатки.

— Они все еще заштопаны на больших пальцах?— сказал он и поцеловал заштопанные пальцы перчатки на левой руке правую руку он прижал к щеке и, глядя на Жюльетту сумасшедшими глазами, сказал:

— Господи, увековечь его любовь к ней...

Она отняла обе руки и пошла к выходу. Жена доктора открыла перед ней дверь, торопясь отвезти ее в комнату, где под потолком бордюр из птиц, за окном— деревья, и где можно мечтать как нигде...

А мечтать для Жюльетты было дело привычное.

Это написано в феврале 1943 года, и пусть История ведет мой рассказ дальше.

*Авторизованный перевод
с французского Риты РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ.*

ГАЛИНА ШЕРГОВА

БЕССАРАБИЯ

Травы вкось, и гривы вкось,
 Край невянущей погоды,
 Я прошла тебя насквозь,
 Как по травам сок проходит.
 Я по бронзовой заре
 С чабанами кочевала,
 Где отары из-за рек
 Гонят запах качковала¹,
 Где в томлении застыл
 У плетня воскресный боров,
 Где в жару звенят кресты
 На расплавленных соборах,
 Где хозяева лозу
 Величают поименно,
 И арбузы на возу
 Скрипом хвастают реманным!
 Рысью путая пути,
 В заливной траве по плечи,
 Мы летим, и степь летит
 Нашей юности навстречу.
 В цвет осенний крася дуб,
 Пыль листву ему заносит,
 Обгоняя на ходу
 Зазевавшуюся осень.
 На играющей груди
 Жеребцов
 лоснится полдень,

И, на круп приосадив,
 Коренной над степью поднят
 Так,
 что мчит —
 ни сядь, ни встань! —

Под копыта, с перепуга
 Пестростенная Кицкань,
 Голубая Чадер-Лунга¹.

В эти сочные края,
 В эту буйную погоду
 Входит молодость моя,
 Утомленная в походах.
 Только врут, что подсекла
 Нас военная усталость;
 Разве юность не текла
 Или в жилах застоялась?
 Шли со мной мечты мои
 По грохочущей дороге,
 Сквозь походы и бои
 Через беды и тревоги,
 До конца
 не утоля
 Молодого беспокойства!
 Утоляй его, земля
 Удивительного свойства!

ТИШИНА

В сентябре на улице Фонтанной
 Зелень —
 не поднимешь головы,
 С гетманским презрением каштаны

Занесли орехи-булавы.
 А в Крыму, грозой отяжелев,
 Тучи пригибаются к земле,
 И тогда

¹ Продукт из овечьего молока.

¹ Названия сел.

во взорванном порту
Глазами
ясени цветут.
Где-то там...
В Москве гуляют пары.
В первый раз за юность, за войну
Слушаю на Сретенском бульваре
Давнюю, ребячью тишину.
Только почему же мне сегодня
Не разрывы,
не предсмертный бред.
Почему на память мне приходят
Парки
в черноморском сентябре?
В сентябре на особняк спаленный
Сыплется бездомная листва,

Листья недокрашенные кленов
Прикрывают лапы теплым львам...
Пулями разбитые пути.
Что-то было —
зеркала без комнат...
Босиком мальчишка на снегу...
Почему я не могу их вспомнить?
Ничего
припомнить не могу.
Как это бывает?
Вспышка, выстрел...
Как это?
Вздохнул и отгремел...
...Листья. Листья.
Листья, листья, листья—
Листопад на тридевять земель.

МАРК СОБОЛЬ

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1. СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА

Вот над миром ночь, такая звездная,
что хоть сам втыкайся и гори...
Если б так нам судьбы были рождены,
что на выбор: лучшую бери!
То пока б мудрили осторожные,
опасаясь выбрать наобум,
я бы взял знакомую, дорожную,
русскую солдатскую судьбу.
Что таить — она неважно слеплена,
только в ней, от мирного вдали,
так понятно все великолепие
жизни, солнца, воздуха, земли.
Зренье, что ли, ей такое выдано,
чтоб, сквозь ярость смертного огня,
разглядеть все то, что раньше выдано,
по-иному это оцениа.
И встают живыми, ошутимыми,
для тебя миры, а не слова:
Счастье. Песня. Молодость. Любимая.
Сталин. Мама. Родина. Москва.
Я за то безжалостно и весело,

стиснув зубы, падая, дерусь,—
чтоб жила незыблемой и песенной
золотая сталинская Русь.
А когда в былое схлынут бедствия
и войне положится зарок,
по-солдатски война приветствуя,
целый мир возьмет под козырек.
Вот бы здесь для важности
нахмуриться
и пройти солидно, не спеша...
Где уж тут, когда ликуют улицы,
города, и солнце, и душа.
Кто в боях за черными пределами
счастье взял и людям возвратил?
Это ж мы с тобой такое сделали,
старый друг, окопный побратим.
Значит, мы не зря с тобою прожили,
хоть морщины врезаны во лбу...
Я беру солдатскую, тревожную,
боевую, верную судьбу!
Ноябрь 1944 г.

4. 319,25

На холме сутулом два куста.
Иг и все. Клочок. Земная пядь.
И она зовется — высота
119,25.

А когда-то были города,
и кружила в улицах меня
фигарей разбойная орда,
до утра надежно полоня.
А когда-то плыли корабли,
и когда посмотришь с корабля —
на волнах качается вдали
мазочная синяя земля.

А сегодня только два куста
на ветру колышет высота.
Невысокий холм. Земная пядь.
А на ней, быть может, умирать.
Мы б могли завять на сто ладов,
стступить, отчаяться могли,
если б не бывало городов,
если бы не плыли корабли.
Что тогда нам кровное родство,
с кем и куралесить и дружить,
если б мы не знали существо
слова замечательного — жить!
Хорошо землей моей итти,

песни петь, морями проплывать...
Но сегодня встала на пути
319,25.

И куда ни глянешь — два куста,
всзаханная боем высота.
Перед утром будет дан приказ,
и солдаты больше не уснут,
и, наверно, каждому из нас
будет жутко несколько минут.
Но за нами темень и беда
погасили звезды фонарей,
шевелит свинцовая вода
спущенные цепи якорей.

Пусть восходит солнце! Мы пошли
в ад, не поворачивая вспять,
выскоблить и выжечь из земли
319,25.

Где-то за туманной пеленой
(помнишь — как когда-то с корабля?)
облако смыкается с волной,
синяя виднеется земля.
И на этом лучшем из миров,
в тысячах нетроганных красот,
ничему не будет номеров,
только песни будут — для высот.

Январь 1945 г.

5. ПЕТУХ НА КИРХЕ

...„На шпиле немецкой кирхи безмятежно
дремал железный петух“.

Из очерка

Наверно, нам на зло, нарочно
такая тишь... Такая тишь,
что петуху на кирхе тошно
от скуки черепичных крыш.
Дыханье города глухого,
Немецкий, ровный, мерный быт.
И солнце в перьях петуховых
чуть-чуть поблескивая, спит.
Но я хочу взглянуть иначе,
найти особый интерес...

Возьму баркас, уйду рыбачить
туда, за черный волнорез.

Там ветер в гости позову я,
и что задумал — все спою.
Пусть море слышит фронтovou
земную исповедь мою.
Оно хоть слишком голубое
для строк колючего стиха,
но с моря видно — пять пробони
в железном теле петуха!

Июнь 1945 г.
Германия.

О. ЕРЕМИН

КАРТЫ

Нам вся земля была знакомой,
Что не знакомо для солдат?
Здесь каждый дом был нашим домом
И каждый сад — солдатский сад.
Как я домой входил когда-то,
Не постучась, не покраснев,
Я захожу в чужую хату,
Стряхнув с шинели липкий снег.
«Простите. Здравствуйте, девочки,
О ком гадаете в углу?» —

«О всех, ушедших на Карпаты
В январский день, в сырую мглу.
Смотри: обратная дорога,
Король бубен, король червей
И много, бесконечно много
Нам неизвестных королей».
И я ушел навстречу смерти,
Мне было хорошо. Я знал,
Что кто-нибудь, при желтом свете,
И обо мне, грустя, гадал.

МАТЬ

Нет, лучше драться, убивать,
Свой гнев в атаках утоляя,
Чем кисти рук в тоске ломать,
Чем писем ждать, не получая.
Да, писем нет!.. Проходит год,
Тревожны сны бессонной ночи.
А мать упрямо сына ждет,
Упрямо верить в смерть не хочет.
И в каждом скрипе костылей

Ей слышится походка сына,
И с каждым выстрелом снежной,
Белей становятся седины.

За те мучительные сны,
За дни, убитые тоскою,
Мы мать вдвойне любить должны:
Мы были только плоть войны,
А мать была — ее душою.

М. ГУС

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА

(Из дневника)

В пропаганде из Москвы по радио для Германии — гитлеровского тыла — я принимал участие с первого месяца войны. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год говорила Москва по-немецки, говорила немцам правду о Гитлере, о войне, о неизбежности поражения Германии.

Гитлер грозил смертью каждому немцу, слушающему иностранные, особенно советские, радиопередачи. Но нас слушали в Германии: вести об этом доходили до нас через все рогатки и препоны. Да и гитлеровцы в своей контрпропаганде время от времени давали нам «расписки в получении»: либо вступали в прямую полемику с нами, либо косвенно оспаривали наши сообщения. Так шла «война в эфире», война, в которой мы имели противником обер-мастера лжи Геббельса и весь его огромный разветвленный аппарат, нити которого сходились в Берлине, в министерстве пропаганды.

Я говорю сейчас об этом, чтобы пояснить, почему я попал в Германию в марте 1945 года, к началу заключительного этапа войны. Для пропаганды нужны были материалы из самой Германии: о положении в занятых советскими войсками районах, о настроении немецкого населения. Как корреспондент отдела немецкого вещания я отправился на 1-й Белорусский фронт в составе специальной бригады Радиокomiteта (М. С. Шалашников, А. М. Спасский, А. М. Медников и я). С нами была аппаратура для записи на пластинках выступлений, речей, специфических военных шумов.

С протокольной точностью я воспроизвожу здесь некоторые записи своих наблюдений и впечатлений за три месяца пребывания в Германии (март-июнь 1945 г.). Мое внимание было сосредоточено на противнике, на Германии, на немцах. Этим и объясняется односторонний подбор описываемых мною фактов.

I

25 февраля. Стартовали из Москвы при 24-градусном морозе. У Минска температура подымается до нуля. На запад от Минска совершается переход от зимы к весне: бураны с мокрым снегом, туманы, дожди.

В Минске ожидаем неделю, в Лодзи пять дней, пока представляется возможность продолжить перелет.

12 марта. Наконец-то «несколько затянувшееся» наше путешествие завершается... на шестнадцатый день после вылета из Москвы.

Граница Германии (с Польшей — 1939 года). На плакате советский боец в каске, с автоматом указывает пальцем:

«Вот она, проклятая Германия!»

На столбе табличка:

«До Москвы — 1635 километров. До Берлина — 165 километров».

Вечером в маленькой польской деревушке, где расположено политуправление фронта, начальник отдела пропаганды и агитации полковник Прокофьев показывает нам эскизы триумфальных арок и трибун, которые будут сооружены в Берлине после его взятия Красной Армией.

13—18 марта. Знакомлюсь с материалами о положении немецких войск. Гиммлер лихорадочно строит новый фронт на Одере. Сразу же после разгрома немецких армий на Висле Гитлер назначил Гиммлера командующим армейской группой «Висла», которая сохранила это название, хотя отброшена уже в нескольких местах и за Одер!.. В ее состав входит 9-я армия.

19 января, немедленно после вступления в командование, Гиммлер разослал комкорам и комдивам «Вислы» объемистую записку: «Советские мероприятия по успешной обороне Ленинграда».

Летом 1941 года немецкая 9-я армия шла на Ленинград, и армейская газета роты пропаганды в сентябре возвещала, что в ближайшие дни Ленинград будет взят... 9-я армия была тогда разбита и остатки ее отведены в тыл. Теперь другая немецкая армия, с тем же номером «9», потерпевшая поражение на Висле, получила задание: во что бы то ни стало удержать фронт на Одере. И Гиммлер поучает эту армию, как ей оборонять Берлин, на примере обороны Ленинграда, всю неприступность которого в свое время познала другая немецкая армия с таким же номером «9»!..

Гиммлер верен себе и в роли главнокомандующего. У западного конца мостов через Одер, еще удерживаемых немцами, ветер раскачивает на виселицах трупы немецких солдат и висящие над ними плакаты: «Стоять как скала! Ни шагу назад!»

Газета 9-й армии «Eichkater» ежедневно печатает списки расстрелянных и повешенных за отступление и дезертирство солдат и даже офицеров.

Старики фольксштурмисты называют себя оружием «Фау-3». Они распевают песенку, которая начинается так:

Wir, alte Affen,
Sind neue Waffen...

Что значит: «Мы, старые обезьяны, мы и являемся новым оружием».

19 марта. Поездка на плацдарм на западном берегу Одера.

На молодой зелени озимей, на черной земле паров, в канавах белеют детские колясочки. Их очень много вдоль этого шоссе, идущего к Одеру и дальше на запад, к Берлину. Тысячи поломанных детских колясок усеивают дороги Германии на восток. Когда Красная Армия перешагнула Вислу, гитлеровцы начали эвакуировать немецкое население. Целые семьи срочно снимались с насиженных мест, но из всех видов транспорта у них были лишь детские коляски. Нагрузив их до-

верху, немцы в мороз и вьюгу трогались в путь. Через 10—20 километров коляска ломалась, ее бросали, шли дальше, падая от усталости, замерзая... Так Германия начала познавать расплату за свои преступления. Детские коляски белеют, как кости, на весеннем солнце...

20 марта. Деревня Геритц на восточном берегу Одера. Здесь один из мостов, ведущих к плацдарму за Одером. Деревня пуста. В мусоре на кухне брошенного дома нахожу красную книжку с гербом гитлеровской империи на обложке. Билет нацистской партии. Он начинается с предисловия Гитлера, затем напечатана так называемая «доска почета» с именами гитлеровцев, убитых во время путча 9 ноября 1923 года. На 8-й странице сверху: «Митглицдсбух № 2828590. Ганс Мюллер, 1909 г. рождения». Личная подпись Гитлера и казначей Шварца. Фотокарточка улыбающегося молодого немца. Несколько страниц заклеены марками об уплате членских взносов—последняя марка за ноябрь 1943 года. Больше Мюллер не платил взносов...

На крайнем доме деревни, у поворота к мосту, надпись:

«Трепещи, Германия, гвардейцы сталинградцы идут!»

Одер широкий, мутный, быстрый — еще не сошел весенний паводок. На вспухшей темной реке лежит белый мост. Из-за свинцовых туч прорывается солнце, и в его лучах сверкают в изъезженном настиле свежеструганные бревна. Немцы бомбят мост днем и ночью. Саперы непрерывно чинят и восстанавливают его.

У въезда на мост столб с надписью: «До Берлина 61 километр».

Час езды до Берлина по берлинскому гладкому, широкому шоссе!

Вступаем на мост. Навстречу, со стороны Берлина, мчитесь... берлинское такси. Я издали узнаю его по шахматной полосе вокруг кузова... Невольно прозираю глаза. Галлюцинация?.. Нет, точно, такси... берлинское такси проезжает мимо. Отбито у немцев в недавних боях. Прибыло из Берлина...

Мост окончился. Мы — за Одером!

24 марта. Город Ландсберг на Варте, к востоку от Кюстрина.

Разговор с немкой Еленой Вольф. Она регулярно слушала наши московские радиопередачи. Первая встреча с одним из наших далеких, неизвестных слушателей! Елена Вольф называет имена наших комментаторов, часы передач, их содержание. Она рассказывает, что в последний день перед занятием Ландсберга Красной Армией у нее собрались соседи и слушали советские передачи. А в это время радио из Берлина уверяю, что русские никогда не будут в Ландсберге. Вечером город был занят.

В центре Ландсберга — квартиры состоятельных, зажиточных людей: адвокатов, врачей, инженеров, чиновников. Многие из них остались в городе. Вот, например, квартира инженера. Он работает на электростанции. Часть квартиры занимает советский офицер. Мещански-буржуазная обстановка: в буфете и на серванте много фарфора и стекла, по стенам — плохие репродукции с плохих картин, неизбежные почетные дипломы и грамоты хозяина, его отца и деда, семейные портреты нескольких поколений. На кружках, на полотенцах, на специальных панно — правоучительные сентенции, по преимуществу обращенные к жене и призывающие ее ублажать мужа.

Книжный шкаф без книг Гитлера, Геббельса и прочих «столпов».

Но и без классиков. Шкаф набит любовными и приключенческими романами предвоенных лет. Макулатура на отличной бумаге, в хороших переплетках. В этой же квартире, как потом и в других, нашел я серию пакетов с фотографиями, по 20 фото в каждом, а все они вместе изображают биографию и деятельность «фюрера». В каждом пакете по одной красочной репродукции «произведений» Гитлера. «Фюрер», как все бездарные художники, мучительно искал популярности на этом поприще. Сигарная фирма издавала эти репродукции, одновременно рекламируя и «фюрера» и свои сигары. Какую долю выручки получал «фюрер»?..

В доме коммерсанта, весьма состоятельного, в гостиной, среди почетных дипломов и семейных портретов, выделяется на обоях темное пятно. Случайно обнаружилось то, что хозяин убрал со стены. В рамке под стеклом висел следующий документ:

«Прусский министр-президент.
Берлин, Вестен 8, 30 мая 1942.
Лейпцигерштрассе, 3.

Я охотно удовлетворяю вашу просьбу быть крестным отцом вашей дочери Розмари Эрики и разрешаю вам внести в церковные книги мое имя, как крестного отца. Однако мое согласие дается при условии, что отсюда не вытекают никакие дальнейшие обязательства. Я шлю наилучшие пожелания крестной дочери и препровождаю в виде подарка 50 марок. Хайль Гитлер!

Герман Геринг».

Папаша Розмари Эрики просчитался. Получил он всего-навсего 50 марок,— а теперь дорого дал бы, чтобы выдрать из церковных книг страницу с именем Геринга, крестного отца его дочери. А что скажет Розмари Эрика, когда подрастет?

Попалась мне в руки книга Розенберга «Миф XX века» — евангелие нацистской «расовой теории». «Миф» Розенберга — это «миф крови» и «миф расовой души». Розенберг напустил на свою книгу много псевдонаучного тумана, но о его «учености» достаточно красноречиво говорит следующий пассаж из главы, посвященной «русской душе», которую Розенберг, конечно, изображает как «неполноценную». И вот что он приводит в доказательство:

«Поручик Пирогов был избит немцами на улице, в полной форме. После того как он удостоверился, что этого никто не заметил, он скрылся в соседний переулок, чтобы в тот же вечер в салоне, в обществе героя, сделать предложение прелестной даме. Она ничего не знала о трусости своего обожателя. Однако думаете ли вы, что, узнав об этом, она приняла бы его предложение? Безусловно, она сделала бы это!»

Розенберг учился в русской гимназии и в русском институте. Он, вероятно, читал Гоголя. Можно ли узнать «Невский проспект» и историю Пирогова в этом нагло-лживом пересказе? Такова вся книжонка Розенберга!

2 апреля. Вблизи города Мезеритц, в Обра-Вальде, расположена огромная психиатрическая лечебница. На основании изданного в 1934 году, по настоянию Гимmlера, закона об уничтожении «неполноценных» немцев, врачи и сестры, во главе с директором, ээсовцем

Грабовским, убивали больных тысячами. В книге учета за 1944 год значится поступивших больных 3946, умерших — 3814! В книге записи смертей последний номер — 18232... Убивали больных с помощью так называемых «процедур», — делали уколы скополомина и морфия, вливали в рот огромные дозы веронала. На «процедурах» трупы переносились в 18-е отделение, а оттуда — либо на кладбище, либо отправлялись во Франкфурт-на-Одере, в крематорий. На кладбище могилы длиной в несколько десятков метров. Голые трупы женщин, стариков лежат в несколько рядов.

Под видом душевнобольных убивали вполне здоровых людей — антифашистов. Наряду с немцами среди убитых сотни русских, французов, поляков из числа военнопленных и угнанных в рабство людей...

Советские войска захватили фельдшерницу Аманду Ратайчак. С тупым равнодушием ходит она по территории больницы, входит в комнату, где убила более 1500 человек, берет в руки шприц, демонстрирует, как это делала...

— Я здесь «работала», — говорит Ратайчак и подробно рассказывает, как производила убийства...

4—6 апреля. Зольдин — небольшой городок в так называемой Ней-Марк, — области, которую Бранденбург основал на землях, захваченных у славян. Зольдин — древний городок, и въезжают в него через старинные ворота.

Невдалеке от этих ворот, за городом, среди полей, у примыкающего к Зольдину озера, возвышается башня, скучной прямоугольной формы, метров 12—15 высоты. Башня выстроена в 1931 году, в догитлеровские времена. В нижнем этаже башни размещен небольшой музей войны 1914—1918 годов: образцы оружия, солдатские каски, газеты, портреты Гинденбурга и кайзера. В витрине помещен список жителей Зольдина, убитых на войне.

В фасадной части башни — ниша, огражденная решеткой. На земле лежит плита с надписью: «В память погибших». А на стене башни, на высоте второго этажа, высечено крупными буквами:

«Немцы, не забывайте о Версале!..»

Этот памятник шовинистической и милитаристической пропаганды напоминает, что корни гитлеризма уходят глубоко в немецкую почву!

Неплохо было бы в этой башне устроить музей нынешней войны и написать на фронтоне:

«Немцы, не забывайте уроков 1941—1945 годов!»

Вблизи башни немец — рыжий, плетивший, низкорослый, лет пятидесяти пяти — бросился на мальчика — воспитанника нашего полка, когда он проходил к озеру, и начал его душить. Сбежавшиеся на крик солдаты с трудом вырвали мальчика из рук немца. На допросе в комендатуре он от всего отпирается, хотя свидетели-немцы подтверждают, что все происходило так, как описывают наши бойцы. Немец опустил голову, глаза его бегают по сторонам...

Офицер говорит:

— Отведите его!

8 апреля. Бад-Шенфлисс — небольшой городок вблизи Кенигсберга-Ней-Марк (не смешивать с Кенигсбергом в Восточной Пруссии). Здесь скопились беженцы со всех концов Германии, представители сред-

него сословия, которому Гитлер и война нанесли тягчайшие удары. Эти люди охотно соглашались выступить у микрофона,— они обрушиваются с обвинениями и обличениями по адресу Гитлера.

Старик-портной Гешке работает теперь в пошивочной мастерской для Красной Армии. Он имел раньше большое дело в Берлине, но еще до войны был вынужден закрыть его и уехать.

— Житья не было с наци,— говорит он.— Приходил блок-лейтер (низовой организатор партии) и требовал, чтобы я делал для партии брюки по 45 пфеннигов, а цена на эту работу была 2,5 марки. Я говорил, что мне до партии дела нет, я — работаю, я хочу заработать. Вы понимаете сами, что из этого вышло...

Гешке перебрался в Западную Германию, но оттуда его выгнала война, и вот он, всего лишившийся, в Бад-Шенфлиссе проклинает перед микрофоном Гитлера...

Фрау Риккерт владела в Касселе отелем. В октябре 1943 года, ночью, прилетели англичане, обратили в развалины три четверти города. Отель сгорел, и фрау Риккерт бежала в Берлин, а оттуда в феврале 1945 года — в Бад-Шенфлисс. Здесь она работает прачкой. И она проклинает Гитлера, стоя перед микрофоном.

Фрау Гримм смугла и черноволоса. Соседки говорят о ней, что она цыганка. Муж привез ее в Бад-Шенфлисс лет пятнадцать назад. Теперь его нет в живых: этот часовой мастер служил санитаром на советско-германском фронте и осенью 1944 года застрелился.

«Сыт войной по горло и предпочитаю сам с собой покончить», — написал он жене, которую оставил с пятью маленькими детьми...

13 апреля. Тяжелые танки прорыва из полка Шаргородского расположились в лесу, в нескольких километрах от Одера. Гиганты «ИС» прячутся между деревьев, и пятиметровые стволы их орудий кое-где высовываются из леса.

Шаргородский — высокий, грузный, широкоплечий человек тридцати с небольшим лет. Опытный и умелый танкист, большой мастер трудного дела прорыва немецкой обороны. Пришел к этой профессии через много других, в том числе и через «синюю блузу» и эстраду. От эстрады осталась манера разговаривать. Язык Шаргородского лапидарен, хлесток, остроумен.

Приказано ночью скрытно от немцев переправить через Одер роту тяжелых танков, которая днем 14 апреля примет участие в разведке боем.

Одер чуть плещется. Темно: не видна вытянутая вперед рука. Немцы шупают небо прожекторами. Из-за Одера видно пламя разрывов. Километрах в шести вниз по течению — наша переправа. Но по ней ничего не переправляют. Военная хитрость: ночью работают паромы с моторными катерами, а немцы этого не знают и бьют всю ночь по мосту.

С заглушенными моторами подходят два катера с большим паромом. К берегу подъезжают два танка. Они почти не видны в темноте. Танк должен по деревянной пристани въехать на паром как раз в центр. Шаргородский становится метрах в трех впереди танка, спиной к парому — точно против его центра. В руках у него фонарик. Двигая его вправо, влево, вверх, Шаргородский «подманивает» к себе огромный

танк и медленно, буквально на сантиметры, пятится к парому, а танк покорно ползет за крохотным огоньком.

Всплеск воды, гулкий удар — пристань покачнулась, волна залила ее края. Танк на пароме, и стоит точно в его центре...

Моторы тихонько начинают стучать; нечто черное, неразличимое скользит по воде. Через полтора часа паром вернется за вторым танком.

Внезапно немцы начинают стрелять по нашему берегу... Несколько снарядов разрывается на вершине холмика, на котором стоит прибрежная деревня... Залезаем в вырытые у воды щели. Обстрел стихает так же внезапно, как начался. и можно вернуться в машину и согреться. Ночь очень холодна.

Офицер из штаба армии передает распоряжение и рассказывает: — Явившиеся сегодня вечером перебежчики сообщили, что Геббельс прибыл на Одер, инспектирует войска гиммлеровской группировки «Висла». По словам перебежчиков, немецкие солдаты говорят: «Русские не сегодня — завтра начнут наступать и в конце апреля будут в Берлине».

II

16 апреля. Сегодня на рассвете в войсках фронта оглашен приказ маршала Жукова:

«Боевые друзья! Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин от имени Родины и всего советского народа приказал войскам нашего фронта разбить противника на ближних подступах к Берлину, захватить столицу фашистской Германии Берлин и водрузить над ним знамя победы!»

Последние слова приказа: «За нашу советскую Родину, с именем Сталина — вперед на Берлин» — покрыты салютом двадцати двух тысяч стволов. Они ударили по «Одерфронту», на который Гитлер возложил задачу отстоять Берлин...

Записать на пластинку каюнаду — невозможно: микрофон не выдерживает такой нагрузки!

Предрасветная апрельская полутьма прощита огневыми языками. В перекатывающийся грохот орудий вилетаются воюющие звуки «катиоши» — гвардейского миномета.

Первые немецкие пленные. Группа бойцов окружила нескольких немцев, которые стоят, прислонившись к крутому скату горы. Высокий белобрысый немец лет восемнадцати ногой закопал в песок свою солдатскую книжку. Бойцы заметили, заставили его поднять ногу и вытащили книжку. Эсэсовская!

— Скрыть хотел, — по-немецки говорит наш офицер. — Как стоишь? Стать смирно! Папиросу долой!

Немец бормочет:

— Я не хотел скрыть... Вот...

Он отворачивает ворот плащ-палатки и показывает на плечах черный погон СС.

— Предложим ему выступить у микрофона — с призывом к эсэсовцам сдаваться, прекращать бесцельную борьбу, — говорю я.

Немец не заставляет себя упрашивать, достает карандаш, я даю ему бумагу, он садится на корточки и начинает писать.

— Человек этого не в силах выдержать,— говорит раненный в плечо немец лет сорока с лишним.— Ведь человек— только человек... Все сметено вашим огнем. Я жив. Это непонятно!..

— Кажется, из нашей роты остались мы двое,— говорит пожилой сфрейтор, указывая на тяжело раненного солдата, который лежит рядом.

Еще трое пленных пишут текст своих обращений по радио.

20 апреля. Нижеследующее мне стало известно лишь впоследствии, но вписываю задним числом.

Заместитель Гитлера по партии, Мартин Борманн, в дневнике записал: «Сегодня день рождения фюрера. К сожалению, обстановка не праздничная. Приказано отлететь передовой команде в Зальцбург».

Гитлеровцы удирают из Берлина, но на стенах домов, украшенных меловыми надписями: «Берлин остается немецким», расклеен приказ начальника гарнизона: «Все военнослужащие, находящиеся в Берлине вне частей,—отпускники, командировочные, проезжающие через Берлин, выздоравливающие раненые—обязаны немедленно, с суточным запасом продовольствия, явиться в Потсдам, в Зект-казармы...»

21 апреля. Сегодня в 12 ч. дня по московскому времени прогремел первый залп нашей артиллерии по Берлину.

Мюнхеберг—продолжение Зееловской укрепленной полосы. Он достался нам после упорной борьбы.

Мюнхеберг защищали многие части, срочно брошенные на фронт из Берлина. Среди них—батальоны берлинского фольксштурма. Преимущественно пожилые люди и старики 55—65 лет. Макс Шуманн, житель района Штеглиц, 61 года, попал в плен с «фаустпатроном». Они составляют основное вооружение фольксштурма—вооружение смертников, так как наши войска беспощадно уничтожают «фаустников», как только их завидят. Шуманн—учитель физики—был захвачен до того, как успел выстрелить. Он говорит:

— Новая формула у Гитлера теперь: фау плюс эф ($V + F$). Фольксштурм соединен с фаустпатроном, и это соединение Геббельс называет непобедимой силой... Хорошо, я выстрелю раз, поражу какую-нибудь цель, но второй раз мне почти наверняка выстрелить не удастся. Мне приходит конец. Гитлеру больше ничего и не нужно. Его новая «формула»—выражение безнадежности нашего положения...

Фаустпатрон назван так потому, что имеет форму сжатого кулака (фауст—кулак), насаженного на длинную тонкую трубку. Старческую, дрожащую, слабую руку Гитлер как бы удлинняет и вооружает этим кулаком. Шуманн показывает берлинскую газету, вернее, маленький листок, носящий наименование сразу шести прежних берлинских газет: «Цимельф ур блатт», «Берлинер цейтунг», «Б. Ц. ам миттаг», «Берлинер иллюстрирте цейтунг», «Берлинер фольксцейтунг», «Нейе берлинер цейтунг». Шуманн обвел карандашом заметку о создании особых военных судов для фольксштурма (верховным судьей фольксштурма провозгласил себя Гитлер). В Берлине, по словам Шуманна, на многих перекрестках висят солдаты и фольксштурмисты из «седой гвардии» Гитлера...

В этот день Мартин Борманн отметил в дневнике: «Утром улетели Путьками и его люди. Начался артиллерийский обстрел Берлина».

Почти на рассвете Геббельс выступает по радио с отчаянным призывом. Русские проникли в пригороды Берлина, и он требует — стоять как скала. Геббельс заявляет, что в городе оружие имеется в избытке, он заверяет, что фронт в целом держится, что к Берлину идут свежие силы. Перед Берлином разобьется натиск большевиков...

В эту ночь советские войска ворвались в Берлин. Начался последний акт берлинской драмы: уличная борьба...

24 апреля. Едем в Берлин. На шоссе сплошной поток машин. Навстречу также сплошной поток — пешеходов, везущих вручную тачки, тележки, колясочки и даже целые повозки. Великий исход народов Европы из Берлина! В чистом утреннем воздухе флаги всех наций плывут над многотысячной толпой. Французские трехцветные поперечные флаги сменяются голландскими и югославскими продольными, бельгийский трехполосный поперечный, итальянский, какой-то незнакомый, польский, опять французский, бельгийский...

Идут молодые мужчины и старики, женщины и дети.

Группа голландцев тащит доверху нагруженную чемоданами тачку. Мужчины — в рабочих комбинезонах, один — в пижаме, у всех на головах блестящие черные цилиндры. Они поют и даже пританцовывают на ходу. Курица восседает наверху тележки, которую везет на себе французская семья. Девочка, сидя на телеге, которую тащат трое мужчин, держит на коленях огромную куклу. Собачка тщательно завернута в портплед, — ее несет старушка-итальянка. Кошка — в клетке для попугая...

Чем ближе к Берлину, тем гуще толпа освобожденных из немецкого плена европейцев. Они выкрикивают приветствия идущим навстречу военным машинам, они машут шапками и платками, показывают пальцами знак победы — V.

Столб, на нем доска, на ней написано: «Stadt Berlin» («Город Берлин»). Черта города...

Мы — в Берлине! Не раз бывал я раньше в немецкой столице, и опять Берлин — 24 апреля 1945 года. Шоссе. Виллы. Машины. Люди с флагами. Это не сон, а явь... Мы в Берлине.

Широкая улица Альт-Фридрихсфельде. Дома в основном целы, только кое-где торчат выгоревшие стены. По улицам снуют немцы с детьми, с нагруженными тележками. Они движутся от пригородов к центру: возвращаются по домам. Невдалеке гремит бой, но люди, едва битва завернет за угол, торопятся на свое насиженное место...

Лихтенбергское городское кладбище. Здесь — командный пункт полка. Пока Шалашников ведет переговоры с командованием ю записях, идем на кладбище. Могилы Вильгельма Либкнехта, Бебеля, Меринга. Здесь же были похоронены и Роза и Карл, но гитлеровцы уничтожили их могилы. Над кладбищем проносится «Мессер», впереди раздается разрыв бомбы, отрывисто лают зенитки.

Один из сопровождающих нас бойцов только что вернулся из своеобразной «экскурсии»: проник в подземный туннель, прошел по нему. Дверь. Толкнул — она открылась: освещенная электричеством комната с койками, на них раненые. Подземный госпиталь. Прошел через него, провожаемый безмолвными взорами раненых и медицинского персонала,

вышел наружу. Подземный Берлин огромен и таит много неожиданностей и сюрпризов.

Неподалеку от кладбища — большая железнодорожная больница. На ее территории сегодня отдыхает полк после упорных боев в Марцане и Бисдорфе. Густой живописный парк, ранние цветы, дорожки и скамейки...

Является делегация — смотритель детской больницы и один из служащих; больница расположена по соседству, в ней несколько десятков больных детей. Продукты иссякли, дети голодают. Командование полка выделяет продукты, и, пока за ними ездят, я разговариваю с немцами.

— Как вы расцениваете поступок советского командования? Похож он на то, что вы писал и говорил Геббельс о русских?

Смотритель рассыпается в лстивых благодарностях.

— А вам известно, как обходились ваши войска у нас с детьми, с больницами?

Многословие немца разом иссякает. Он выдавливает из себя:

— Нет...

— Кое-что мы все же знали,— несмело вставляет второй немец. Смотритель молчит. Я привожу два-три примера расправы с советскими детьми:

— В Краснодаре немцы хладнокровно перебили всех больных детишек, которых нашли в больнице...

Смотритель бормочет:

— Ужасно! Позорно!..

Приносят сегодняшний номер «Фелькишер беобахтер»,— пачку газет сбросил немецкий самолет.

«Новые силы подходят. Берлин сражается под командованием фюрера»,— напечатано через всю первую страницу.

Воззвание Геббельса, которое передавалось позавчера ночью, вчерашний приказ Гитлера, еще одно обращение Геббельса. Геббельс призывает поголовно всех мужчин, в том числе и раненых, немедленно взяться за оружие. В Берлине, видимо, из всей шайки остались лишь Гитлер и Геббельс: в газете нет имен других гитлеровских главарей.

Для ночлега нам отводят квартиру во втором этаже фасадного корпуса на улице Альт-Фридрихсфельде, 9. Дом пятиэтажный, два корпуса, один выход на улицу, второй — во дворе. Квартир 30—35. Ванн нет, уборные не в каждой квартире. Населен дом квалифицированными работниками, служащими, мелкими предпринимателями. От бомбежек не пострадал, как в основном и весь район Фридрихсфельде. Поздний вечер, и все жильцы в подвале, в убежище, где живут много месяцев подряд. Хозяин квартиры вертится, помогая устроиться на ночь. Когда хлопоты закончены, он говорит:

— Я монтер, работал на небольшом заводе...— После небольшой паузы:— Я состою... состоял в партии...— И быстро, не давая возможности что-нибудь сказать, прибавляет:

— Иначе нельзя было! Работы не получить! Ее давали только тем, кто «п. г.»—партейгеноссе...— Он молчит, выжидая какой-нибудь реплики, потом спрашивает:— Скажите правду, в Сибирь меня пошлют работать одного, или можно поехать с семьей? У меня жена и сын семи лет...

Столько рабьего страха в этом «п. г.» Гитлера, столько трусливой угодливости, что становится тошню.

Я показываю ему номер «Фелькишер Beobachter», заключительные строки передовой: «Берлин ни в коем случае не предоставлен самому себе, но является частью единого целостного фронта. В сегодняшнем названии гаулейтера содержится важнейшее заявление: в ближайшее время в нашу борьбу вступят свежие силы...»

— Пропаганда! Берлину капут. Если русские пришли сюда — значит все кончено... В Сибирь я поеду, но если бы можно было с семьей!

25 апреля. Убежище расположено под корпусом, стоящим во дворе. Горят коптилки: тока нет давно. Двухэтажные нары стоят вдоль стен. Столы, табуреты, стулья. Чемоданы, сундуки. Лежат старики и больные. Спертый воздух, грязь. Так жиди берлинцы из месяца в месяц. Они заходят в свои квартиры на короткое время: ведь налеты происходят и утром, и днем, и вечером.

Мужчины и женщины спрашивают: что с войной? Радио уже давно не работает, газет нет.

На всех лицах написаны бесконечная усталость, тупое безразличие ко всему. В каждом слове, в каждом вздохе слышится только одно желание — чтобы прекратился этот бесконечный ужас.

Варшауэрштрассе — широкая улица, с аллеей посреди. В доме, стоящем метрах в 350 от пересечения улицы с магистральной Франкфуртераллее, — штаб и политотдел одной из дивизий, штурмующих подступы к центру Берлина, к Александерплатц. Начальник политотдела сидит в квартире в первом этаже высокого корпуса. По двору снуют жители: женщины, дети. Закон уличной войны: как только бой уходит вперед, люди выползают из щелей, жизнь вступает в свои права!..

Дивизия форсировала ночью Шпрее и движется вперед, выбивая немцев из одного дома за другим. Бой гремит слева от нас — там, где высокие здания казармы, полицей-президиума и другие дома у Александерплатц обращены немцами в крепости.

Входит запыленный, с закопченным лицом, сержант. Начальник политотдела крепко жмет ему руку, говорит:

— Быстренько умойся, приведи себя в порядок: будешь сниматься.

Сержант Прямов принят в партию, сегодня он получит партбилет. Фотограф политотдела ставит сержанта на фоне стены, смотрит, потом говорит:

— Темно! Нужен фон светлее.

Он подзывает двух немцев, знаками и словами объясняя, что ему нужно. Немцы убегают и возвращаются с простыней. Фотограф ставит их сзади сержанта, показывает, как держать натянутую простыню, и щелкает затвором. Сержант уходит обратно в бой, чтобы там получить свой партбилет...

25 апреля Борманн записал в дневник: «Берлин окружен».

25 апреля первым советским комендантом Берлина назначен командующий армией Н. Э. Берзарин. Три четверти Берлина в советских руках.

26 апреля. Лангештрассе, за углом — Андреасплатц. Квартал рас-

положен вблизи Шпрее, в районе Силезского вокзала, в километре по прямой от Александерплатц.

Лангештрассе минувшей ночью была ареной борьбы. Догорают два дома. Улица усеяна осколками стекла. У стен лежат трупы. Бой ушел из квартала, и из подвалов вылезли жители. На углу — водоразборная колонка, которые густо расставлены на улицах Берлина: мера, вызванная к жизни воздушными атаками. Женщины — в очереди за водой.

Старик с повязкой Красного креста выходит из полуразрушенного дома — это немецкий врач, он идет в убежище, к раненым. Грохочет стоящая за углом советская батарея. Из подъездов домов появляются подозрительно молодые и подозрительно прямые люди в штатских костюмах, с белыми нарукавными повязками. Переодетые офицеры! Им не мешают уходить назад, в тыл, — там их проверят...

Боец ведет немца в штатском и возмущенно рассказывает:

— Вхожу в подъезд, навстречу мне этот фриц, — увидел меня, засовывает что-то в карман. Я его за руку, — он прячет маскировочную сетку для каски. Переодеться успел, а сетку выкинуть не удалось...

Привозят первый приказ Берзарина — первого коменданта Берлина. Он расклеивается на стенах, и мгновенно его облепляют десятки немцев. «Приказ коменданта города Берлина генерал-полковника Берзарина», — читает кто-то вслух по-немецки. Эти немецкие слова — «комендант города Берлина генерал-полковник Берзарин» — раздаются на фоне уличного боя, в центре Берлина, утром 26 апреля 1945 года.

Советский комендант гарантирует мирному населению Берлина безопасность и жизнь, приказывает продолжать снабжение жителей по существующим карточкам на основе имеющихся норм...

Женщина, прочтя этот пункт, горько смеется:

— Мы уже забыли, когда получали что-нибудь. Даже хлеб — всего полтора кило на неделю — много дней не выдавался...

Подъезжает легковая машина, соскакивает майор, смотрит на меня (в штатском костюме) с изумлением. Завязывается разговор, я называю свою фамилию. Майор Дризо — как он себя представляет — восклицает:

— Я вас знаю, читал ваши работы в «Красной нови»...

Неожиданная встреча с читателем на улицах Берлина, в разгар уличных боев! Майор Дризо командует дивизионом «катюш». Он рассказывает, как они сносят целые кварталы, где немцы оказывают упорное сопротивление.

28 апреля. В доме на Франкфуртераллее возобновляется жизнь тотчас же после того, как бой прошел мимо. В квартирах, где располагаются советские офицеры, немки разжигают огонь в плитах, начинают готовить. Советские офицеры кормят совершенно изголодавшихся жителей дома. За столом собрались четыре немки, все из разных областей Германии. Изможденные, усталые. Берта Кемпф, наполовину седая в тридцать лет, рассказывает, что она претерпела за последние два года: бежала из Кельна, потеряв там половину семьи, лишилась мужа в конце 1944 года, в Берлине, 3 февраля утром, когда свыше тысячи «летающих крепостей» обрушили на город тысячи тонн бомб. Проклятая Гитлера, она спрашивает, будет ли Берлин русским или польским городом.

Клара Мейер сегодня пришла в этот дом с Заарландштрассе,

где еще гремит уличный бой. Рискуя жизнью на каждом шагу, она пробралась по улицам, обстреливаемым с обеих сторон, через дворы с пылающими домами... Она бежала из дома, в подвале которого вместе с двумястами женщинами, детьми, стариками провела пять дней. Она бежала, не надеясь дойти живой до безопасного места, после того как в дом явились шесть немецких солдат и заявили, что будут из подвала вести огонь по русским. Командовал солдатами семнадцатилетний парень, эсэсовец, который горделиво заявил, что три дня назад, по призыву фюрера, добровольцем вступил в ряды СС. Он прибавил, что нужно держаться, — на выручку Берлину идет свежая танковая армия...» Это — басня, которую распространяют гитлеровцы, чтобы подбодрить своих солдат. А Борманн записывает в дневнике: «Гиммлер и Иодль задерживают предназначенные для нас дивизии. Тьфу, какие сволочи!»

Наступает вечер шестого дня уличных боев в Берлине.

Центр города опоясан столбами пламени, заревом пожарищ, — на юге и севере, с востока и запада. Около часу ночи. Я лежу в постели в квартире на третьем этаже дома на Франкфуртераллее. Над домом — гул самолетов, не наших, но и не немецких. Через минуты две доносится грохот разрывов огромной силы. Раскрываю окна. Над центром Берлина вздымаются огненные столбы, земля и дом дрожат. Это налет союзной авиации на немецкие позиции. Так вот как выглядит в миниатюре ночной налет мощных бомбардировщиков на Берлин! Я получаю некоторое представление о том, что переживали берлинцы в течение долгих месяцев.

29 апреля. Ночью радио принесло новость: Гиммлер обратился к союзному командованию с предложением капитуляции Германии перед США и Англией, но не перед СССР. Оно отклонено.

Советские войска овладевают Моабитом, Ангальтским вокзалом в центре города, выбивают немцев из последних опорных пунктов перед рейхстагом и имперской канцелярией.

Борманн, правая рука Гитлера, малообразованный, неумный «упрямый козел», заносит в дневник:

«Воскресенье, 29 апреля. День начинается ураганным огнем. Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер диктует свое политическое и личное завещание. Предатели Иодль, Гиммлер и генералы оставляют нас большевикам. Опять ураганный огонь».

Гитлер требует от Вейдлинга продолжения борьбы, зная, что никто не придет на выручку, и заканчивая приготовления к исчезновению.

30 апреля. Берлин готовится к 1 Мая. Я говорю — Берлин, разумея Красную Армию, которая владеет уже почти всем городом. На передовой к 1 Мая готовят подарок — красное знамя победы над рейхстагом. Войска рвутся к рейхстагу с запада и с севера.

Красные флаги вывешиваются повсюду. Над улицами протягиваются плакаты с первомайскими призывами ЦК ВКП(б), портреты Сталина и членов Политбюро украшают улицы и площади Берлина. Советские люди по-своему организуют великий советский праздник в завоеванной столице побежденного врага.

Днем приходит весть: над рейхстагом поднято знамя победы!

Праздник 1 Мая будет на славу!

Франкфуртераллее — широкая магистраль, продолжающая шоссе Кюстрин — Берлин и проходящая через центр города, через Александер-платц и дальше на запад,— почти вся в наших руках... И вот как она выглядит. Взорванные входы в метро. Колоссальные воронки от бомб среди трамвайных путей. Искромсанные, свисающие тысячами обрывков провода. Останки домов — именно это слово более других подходит! Одни дома вонзаются в небо острыми зубьями обвалившихся стен. Другие стоят выгоревшими коробками, без крыш, без этажных перекрытий. Многие здания после себя оставили только заваленные обломками пустыри. Сто процентов разрушения! И то же самое в боковых улицах, пересекающих магистраль и параллельных ей.

Советские бойцы тушат пожары. Мобилизованные немцы растаскивают обломки, очищают проезды, разбирают завалы и баррикады, которые они сами недавно строили.

Мимо многих домов даже и быстро проехать невозможно, не зажав носа: под развалинами разлагаются сотни трупов. В последнее время разрушения, производимые налетами, были так велики и налеты были так часты, что почти не производились разборка развалин, очистка улиц, спасение заваленных в убежищах людей. Об этом рассказывают берлинцы. У них у всех — «условный рефлекс»: при малейшем подозрительном шуме голова задирается кверху, взор устремляется в небо.

У одного дома подымаю из кучи обломков напечатанную на фотобумаге карту Германии. Карта разграфлена на квадраты, они все поименованы: вертикальные — мужскими именами, по порядку букв алфавита (Антон, Берт и т. д.), а горизонтальные — в таком же порядке — женскими именами. В каждом квадрате проставлено: 20 минут, 30 минут и т. п.

Я с недоумением рассматриваю карту. Старик-немец убирающий кирпичи, разъясняет: эта карта имеется во всех берлинских квартирах. Когда самолеты появлялись над Германией, по радио сообщалось, в каких они квадратах. И каждый берлинец видел, сколько минут остается до их появления над Берлином, сколько времени в его распоряжении, чтобы уйти в убежище... Чисто немецкая предусмотрительность оказалась совершенно непредусмотрительной! От бомб ничто не спасло ни Берлин, ни берлинцев.

— До 40—50 тысяч человек погибало во время наиболее ожесточенных круглосуточных налетов в последние месяцы,— говорит старик-немец. Он ведет во двор «бывшего» дома и показывает: в углу обвалившаяся стена погребла выходы из убежища, между кирпичей торчат руки: кто-то тщетно взывал о помощи, тщетно ногтями скреб камни... Берлин познал, что такое возмездие!

Как через два дня рассказали Фриче и другие чины министерства Геббельса, 30 апреля Гитлеру и Геббельсу становится очевидна совершенная безнадежность обороны Берлина. Правительство и государственный аппарат распались. Верховное командование более не существует. Гитлер исчезает, инсценируя самоубийство, и для большей убедительности Борманн вписывает в дневник:

«30/IV. 1945. Смерть Адольфа и Евы Гитлер».

1 мая. В восемь минут первого часа ночи прекратило работу гитлеровское радио в Берлине. Была исполнена какая-то симфония, и гитлеровское радио замолкло... навеки!

«Великая Германия» издыхает на разрушенных, истерзанных улицах Берлина. Немного осталось от нее: сегодня передний край обороны «третьей империи» проходит у стен имперской канцелярии по Фосштрассе и Адольф-Гитлерштрассе. А на остальных улицах Берлина Красная Армия празднует 1 Мая! Вот широкая Белльвюштрассе, изрытая воронками, засыпанная кирпичом. Посреди улицы — автомашина МГУ (мощная говорящая установка). Гремит над Берлином песня «Москва моя»... Москва — за 1800 километров отсюда. Но Москва — здесь, в блестящих от радости глазах солдат и офицеров, которые, как ни спешат, но задерживаются у МГУ, чтобы послушать любимую песню.

Ранним утром на передовую даже самым маленьким группам бойцов доставлены газеты и листовки с приказом товарища Сталина. Гвардии рядовой Тимурин, из соединения Героя Советского Союза генерала Дука, выслушав приказ, сказал лишь одно слово:

— Доконаем!

Он выразил мысль всех «берлинцев» — воинов Красной Армии.

Суровый, величественный праздник в бою... По улицам провели под конвоем берлинских пожарных в форме, в касках. Гитлер и их бросил в бой! Утром разгромлена рота из школы военных переводчиков. Гитлеровцы учили их русскому языку, чтобы послать в Россию, — последний курс русского языка они прошли в Берлине, куда пришла Россия.

Из остатков разбитых в предыдущие дни частей гитлеровцы сформировали батальон, в котором капитаны командовали отделениями. Батальон получил имя «Ватерлоо». Странная прихоть в последние часы Берлина!..

Шулленбург-Ринг — тихий квартал, вблизи Темпельгофского центрального аэродрома. Два ряда однообразных пятиэтажных домов с хорошими барскими квартирами. У одного из них пышно цветет экзотическая перуанская вишня. Улица упирается в поперечный квартал таких же комфортабельных домов для состоятельных людей — инженеров, адвокатов, дельцов... Здесь, в этом тихом буржуазном углу Берлина, разместился герой Сталинграда Чуйков со своим КП. Сюда сегодня, 1 мая 1945 года, явились немецкие парламентарии для переговоров о капитуляции Берлина.

Подымаемся в квартиры. Они брошены поспешно и неожиданно, как об этом говорят раскрытые шкафы, разбросанные вещи, опрокинутые флаконы с духами, забытые перчатки, приготовленные, но не взятые чемоданы. Тут жили богатые люди, — они бежали, когда война подступила к порогам их жилищ.

В передних всех квартир на стенах висят правила поведения во время тревоги и адреса тех мест, где можно найти кров, если дом будет разрушен. Указаны последовательные три адреса: на случай, если и запасные помещения также будут уничтожены... Опять немецкая пунктуальность, которая на поверку оказалась совершенно непунктуальной!

В богатой адвокатской квартире разместилась офицерская столовая.

Обед в день Первого мая в Берлине, в момент, когда идут переговоры о его капитуляции... Столы уставлены большими букетами сирени: девушки-сотрудницы нарвали в берлинских садах.

Французское шампанское, рейнские вина, берлинское пиво... Горячие разговоры: о том, что было сегодня, 1 Мая, в частях, на передовой, как сегодня дрались наши люди, чтобы прикончить врага.

Темнеет. Становится известно, что немцы прервали переговоры. Ладно, капитулируют и без переговоров!

В пустой квартире, на заботливо устроенных чистым бельем постелях, любезные хозяева из Политотдела устраивают нам ночлег. На столе ваза со свежими цветами. Нужно еще успеть записать все виденное, слышанное, пережитое в этот неповторимый день 1 Мая в Берлине, приготовить корреспонденции для Москвы... Уже давно настает 2 мая, когда удастся прилечь.

III

2 мая. Часовой разбудил в половине шестого утра. Еще темно. Нужно ехать в Штраусберг, на телефонную станцию. Сажусь в машину и вижу — к соседнему дому из тьмы выезжает, кажется, бронетранспортер. С него слезают люди. В предрассветной тьме отчетливо проплывает белое пятно. Белый флаг на штыке. Его несет немецкий солдат в каске...

В подъезд дома входят немецкие генералы, офицеры, люди в штатском...

Смотрю на часы: в 6 часов утра 2 мая 1945 года в расположение КП Чуйкова прибыл сдавшийся в плен со своим штабом генерал артиллерии Вейдлинг, командующий войсками оборонительного района Берлина! С ним его штаб, а также Ганс Фриче — политический руководитель немецкого радио, а теперь, как он заявляет, статс-секретарь и заместитель Геббельса в министерстве пропаганды, советник министерства пропаганды Хейрихсдорф, видный гитлеровский публицист Кригк, личная машинистка Геббельса Иоганна Курцава.

Итак, Берлин капитулировал!.. Скорей на телефонную станцию!

Машина мчится через ночной Берлин. Пылают пожары вдали, горят дома, мимо которых мы проезжаем. Изредка гремят оружейные выстрелы. Светает. Выезжаем за пределы городской черты Берлина. Маленькие городишки просыпаются. В Эггерсдорфе по улице бредет с ведром за водой сгорбленный старичок, в туфлях, в ночном колпаке. Он видит, что машина с русскими мчится из Берлина. Он подымает руку и, когда машина замедляет ход, спрашивает:

— Берлин пал?

— Да, полностью капитулировал!

Старик неопределенно машет рукой и, не произнося ни слова, бредет дальше...

Через три часа мы возвращаемся в Берлин. По улицам тянутся колонны пленных. Вот идут офицеры, в несколько рядов, с полковниками и майорами впереди. За офицерами — солдаты, измученные, грязные, многие ранены...

У булочной, в районе Адерсгоф, стоит длинная очередь. Берлинцы получают хлеб — по приказу первого советского коменданта Берлина.

Колонна пленных поравнялась с очередью. Женщины впадают глазами в проходящих. Никто из пленных не смеет повернуть головы, посмотреть в лицо стоящим на тротуаре; они идут, как слепые, держа головы прямо, ничего не видя. Наша машина останавливается между колонной и очередью. Женщины глядят на русских, переводят глаза на пленных...

Потсдаммерштрассе. Мост через канал (Потсдаммербрюкке). Три четверти ширины настила сорваны. Полуобгорелый советский танк повис над пробойной. Бойцы из люка вынимают тело своего товарища: он погиб в последние минуты выигранной войны.

На Потсдаммерплатц все разрушено. Вокзал издали кажется целым, но он разрушен. От огромного кафе «Фатерланд» на углу площади остались три первые буквы на вывеске.

И соседняя Лейпцигерплатц лежит в развалинах. Магазины, банки, кафе, рестораны, правительственные учреждения погребены под грудами обгорелых камней, исковерканных балок. Я в прошлом не раз бывал здесь, но теперь не могу ориентироваться, как проехать к рейхстагу: все неузнаваемо!

Широкая Адольф-Гитлерштрассе (раньше — Фридрих-Эбертштрассе) запружена машинами и людьми. Кажется, весь советский военный Берлин здесь! Каждый спешит сюда, в центр, к рейхстагу, к имперской канцелярии, в самое логово поверженного врага. Происходит то, что можно назвать символическим овладением вражеской столицей. 185 лет назад, 6 октября 1760 года, комендант Берлина поднес русскому командующему на блюде золоченые ключи. Сегодня, 2 мая 1945 года, победители пишут на стенах рейхстага свои имена, спускаются по его коридорам и лестницам, они рассыпались по саду имперской канцелярии, пробираются через завалы в проездах Бранденбургских ворот на Унтер-ден-Линден.

Все здесь: генералы, офицеры, бойцы. Все здесь: танки, бронетранспортеры, грузовики с пехотой, орудия на гусеничном ходу, на прицепе, виллисы, трофейные мерседесы и оппели...

В глубине Тиргартена немцы еще стреляют. Шальная мина визжит и шлепается в стену дома у Бранденбургских ворот.

На Унтер-ден-Линден, у самых ворот, стоят танки гвардейской бригады. 1300 метров Унтер-ден-Линден они прошли сражаясь. У Бранденбургских ворот они соединились с пришедшими с западной стороны танками другой армии.

Командир танкового батальона дарит мне номер «Фелькишер беобахтер» — последний номер центрального гитлеровского органа, выпущенный за несколько часов до того, как типография была занята нашими танкистами. На первой странице газеты большими буквами напечатано: «Героическое сопротивление Берлина — беспримерно.

Это признают Москва, Лондон, Нью-Йорк...»

Эти слова я перевожу танкистам, которые сюда, к Бранденбургским воротам, пришли с победой. Они рассказывают, как вели бой в последние часы ночью, когда до цели оставались считанные десятки метров.

Лицование — вот каким словом можно определить то, что происходит сейчас в наших войсках.

Генерал Вейдлинг уже перевезен с Шуленбург-ринга в Иоганнсталь. Для беседы с ним и записи на пластинке его приказа о капитуляции Берлина направляемся туда. В штабе просят отвезти в Иоганнсталь адъютанта Вейдлинга, который с приказом о капитуляции объезжал изолированные участки немецкой обороны.

В крытый брезентом кузов шевроле влезает, с вещевым мешком и небольшим чемоданчиком, высокий, стройный, подтянутый майор. Лицо его необычно интеллигентно для кадрового прусского офицера. Красные веки не спавшего много ночей человека. Он садится на скамью, вынимает пачку сигарет, закуривает, закрывает лицо рукой...

Разговор завязывается медленно. Я спрашиваю майора, где его семья. Он отвечает, что отправил жену из Берлина неделю назад и не знает, где она. Он — выходец из среднебуржуазной семьи, юрист по образованию и по профессии. Большую часть своей жизни он отдал военной службе. По окончании университета отбывал воинскую повинность. Короткое время работал как юрисконсульт на заводе фирмы Симменс, а затем был призван как офицер запаса, и с тех пор — в армии, на войне.

Кадровый офицер новой, гитлеровской формации!

— Мы, молодые офицеры, — глухо и медленно говорит он, — мы верили Гитлеру, радостно шли за ним. Мы верили ему почти до последней минуты. — Он останавливается, невидящими глазами смотрит вдаль... Потом почти шепчет про себя: — Он бросил нас на произвол судьбы...

— Почему Германия проиграла? — ставлю я вопрос в упор.

Майор оживает, говорит быстрее, тверже:

— Наш народ устал от войны (Unser Volk ist kriegsmüde). Генералы и старые офицеры воевали неохотно, они мало верили в успех. А мы, молодые офицеры, одни не могли всего сделать.

— Для чего вы так долго сопротивлялись в Берлине?

Глаза майора зажигаются гневом:

— Бессмысленно! Преступно! — Он почти кричит: — Тысячи молодых офицеров отдали свои жизни в эти дни. Отстоять Берлин было невозможно. Это было ясно! Но мы сражались — он приказал. — Майор закрывает лицо руками, содрогается в конвульсии, потом жадно курит... — Русские — молодой народ, — вдруг произносит он. — Ваша нация недавно на исторической сцене. А мы, немцы, мы уже постарели, устали.

— Как же так? — спрашиваю я. — Ведь Гитлер твердил, что немцы — самая молодая, свежая, сильная нация в Европе?

Майор машет рукой...

— Что вы думаете о Красной Армии?

— Русские солдаты выносливы, как гранитная глыба. Они знают, за что сражаются. У каждого из ваших солдат в груди идеал... А мы это потеряли, многие и совсем не имели... В 1914 году мы не выполнили плана Шлиффена и проиграли войну. В сороковом — сорок первым мы выполнили план Шлиффена — и все равно проиграли!

Он говорит трудно, медленно. Он только вступает на длинный путь осмысления страшного поражения.

Генерал Вейдлинг, в коротких брюках и длинных чулках сидит за квадратным обеденным столом посреди небольшой комнаты в скромной квартирке мелкого служащего. В комнате полутемно, так как окна

досками. Рядом с ним сидит генерал-лейтенант в отставке Веташ. По другой стороне стола — генерал-лейтенант в отставке Шмигт-Дликуард. На углу стола, поставив локти на колени и опершись подбородком в ладони, застыл привезенный мною майор. Напротив Вейдлинга сидит начальник его штаба, полковник генерального штаба фон Дуффин.

Когда генералу Вейдлингу предложили прочесть приказ о капитуляции Берлина у микрофона, для записи на пластинку, он, подумав несколько секунд, сказал решительно:

— Что делаешь, нужно делать до конца!..

Я вхожу в комнату, делаю общий поклон, сажусь в стороне от стола на стуле. Спасский и Медников вносят аппаратуру, устанавливают ее. Вейдлинг спрашивает, говорю ли я по-немецки, затем немцы продолжают свой разговор. Полковник, плотный, широкоплечий, в пенсне, шагает по комнате, рассказывая, что он видел сегодня утром в тех районах Берлина, куда отвозил приказ о прекращении борьбы.

— Ужасно,— говорит он.— Еще неделю назад все было цело. А теперь!

Он не договаривает...

Вейдлинг обращается ко мне с вопросом: как правильно — Жуйков или Чуков. Я разъясняю, что это две разные фамилии и пишу их на листке бумаге по-немецки и по-русски...

Вейдлинг смотрит внимательно на поставленный на столе звукозаписывающий станок «Престо» и говорит, что это американский аппарат. Быть может, он хочет пайги в этом маленькое утешение.

Затем он читает свой приказ — ровным, спокойным голосом, отчеканивая слова. Спасский, прослушав на наушники, просит начать сначала и пускает аппарат в ход.

Немцы застыли на своих местах. Комнату заполняет сухой, типично прусский голос Вейдлинга.

— «Берлин, 2 мая 1945 года. Приказ.

30 апреля фюрер покончил с собой и тем самым нас, поклявшихся ему в верности, бросил на произвол судьбы» — начинает Вейдлинг и ровно дочитывает приказ до конца.

Звучат заключительные слова:

«Вейдлинг, генерал артиллерии, главнокомандующий оборонительным районом Берлина».

Молчание. Я прерываю его, приглашая генерала прослушать запись. Спасский пускает аппарат. Раздается голос Вейдлинга. В комнате звучат слова приказа, отлично известные и ему, и чинам его штаба. Но они слушают их как новые, как незнакомые, как чужие слова!

Вейдлинг вздрогнул, уставился в репродуктор. Его сосед, генерал Веташ, не может совладать с мелкой дрожью лица. Третий генерал откинулся на спинку стула, прикрыл лицо рукой. Голова майора низко склонилась, почти к коленям. Полковник барабанит пальцами по краю стола.

Тяжелое молчание.

Вейдлинг не может скрыть своего волнения; на его лбу выступил пот. Кажется, только теперь отдает он себе ясный отчет в том непоправимом, что совершилось: капитуляция Берлина!

Спасский укладывает аппаратуру. Вейдлинг рассказывает, что Гитлер в последние дни выглядел «конченным человеком». Он сидел в своем убежище под имперской канцелярией и приказывал только одно: держаться и сражаться... А затем в ночь на 1 мая он исчез. Объявили, что он застрелился. Когда провалилась попытка переговоров Кребса с советским командованием, Геббельс приказал: сражаться. Вейдлинг на это ответил: нужно немедленно капитулировать.

Геббельс сказал:

— Генерал, если вы отправитесь сдаваться, я прикажу вам стрелять в спину...

Вейдлинг вышел из подземной резиденции Геббельса и отправился сдаваться вместе со своим штабом...

Мы уходим, и я беру у Вейдлинга экземпляр приказа с его подписью, который он читал у микрофона.

Хейрихсдорф, один из ближайших сотрудников Геббельса, рассказывает:

— Геббельсу говорили, что преступно и бесцельно подвергать Берлин ужасам войны. Когда ваши войска ворвались в город, состояние Геббельса можно было определить как фанатическое отчаяние. И все же он не терял надежды. Он верил, что существуют разногласия между Россией и западными державами. Эту веру он создал сам,— и мы ее поддерживали, тенденциозно подбирая материал для Геббельса. Конец режима был похож на плохой фарс. Хаммель, один из руководителей нашего министерства, прикрепил сзади автомобиля сундук с наиболее важными бумагами. Когда машина тронулась, сундук раскрылся, и бумаги разлетелись веером, а Хаммель скрылся вдали... К концу борьбы в Берлине оставались только Гитлер, Геббельс и Борманн. Гиммлер совсем не показывался в Берлине после начала русского наступления.

Таким образом, Хейрихсдорф подтверждает то, о чем можно было догадываться: нацистская верхушка рассыпалась, каждый спешил спастись в одиночку.

Вечер опускается над Берлином. Радио приносит из Москвы приказ Сталина о капитуляции Берлина. Наши люди слушают его, преисполненные гордости. В их честь гремит салют в Москве! На улицах звучат аккордеоны, гармошки; солдаты и офицеры поют, пляшут... Наступает первая ночь в Берлине поверженном, капитулировавшем, в Берлине, над которым водружено знамя нашей победы!

3 мая. Александрплатц. Бои за площадь бушевали в течение ста с лишним часов. Мрачное, темнокрасного цвета здание полицейпрезидиума, прижимающее к эстакаде подземной железной дороги, пробито снарядами и бомбами, обглодано пожаром. У углового входа валяется труп эсэсовца. Высокие здания на площади, заполненные снизу доверху магазинами, сгорели. Уцелели на фасадах огромные вывески: «Универсальный магазин Центр» и другие. Из переулков в переулки снуют немцы: они отыскивают склады под землей, тащат оттуда дамские сумочки, шляпы, перчатки...

По другую сторону эстакады, за площадью,— здание берлинского городского и окружного суда. Нет больше судей в Берлине: полуразрушенное здание пусто, гулко отдаются шаги в его длинных коридорах,

обширных вестибюлях. Судьи бежали панически: в кабинетах на перевернутых столах валяются пиджаки и пальто. В углу стоит палка, висит пальто. На столах — папки с делами. Списки назначенных к слушанию дел висят на стенах.

Из окон, выходящих на Нейе-Фридрихштрассе, видно, как на углу Кенигштрассе немцы деловито растаскивают магазины. Нет больше судей в Берлине! На Кенигштрассе пылает многоэтажный магазин. Из окон выбрасывают на мостовую костюмы, пальто. Толпа, невзирая на пламя, облепляет дом и расхватывает вещи. Весть о том, что в центре Берлина можно пожить, облетела весь город... «Раса господ» одолевает пешком огромные расстояния, чтобы пограбить.

Люстгартен засыпан осколками снарядов, в его блестящие аккуратные плитки впились неразорвавшиеся мины. Они торчат кверху хвостовым оперением. Цейхгауз, где был музей немецкой военной истории, поврежден бомбами. Он пуст, остались только древние пушки XIV—XVII веков да выгрины с надгробью: «Оружие бандитов», — в них были выставлены образцы вооружения партизан. Пол усеян современным немецким обмундированием и оружием. Немцы и здесь переодевались в штатское. Мальчишка-немец лет двенадцати роется в брошенных немецкими солдатами винтовках, гранатах: он ищет, нет ли консервов.

Узкий коридор Фридрихштрассе пересекает Унтер-ден-Линден. И направо, и налево видны трупы домов, где размещались магазины, банки, крупные фирмы, рестораны. Вдали виднеется огромная стеклянная галерея главного вокзала Берлина — Фридрихштрассебангоф, она зияет тысячами пустых переплетов. Здания министерства просвещения и внутренних дел разрушены. Дом советского посольства на Унтер-ден-Линден — изящное трехэтажное здание — выгорел, остались только наружные стены. Отель «Адлон» разрушен. Дома на Паризерплац сгорели, обращены в кучки обломков, а тут были французское, американское посольства...

Унтер-ден-Линден больше нет! Бранденбургские ворота. Кони на вершине пробиты осколками и пулями, большие куски фигур выломаны. Колонны иссечены стальными ливнями. Проезды между ними заделаны баррикадами примерно в два человеческих роста. Немцы разбирают баррикады. Над воротами развевается красное знамя.

Тут в июне 1940 года прошли церемониальным маршем немецкие войска, вернувшиеся из Франции. Гитлер ренетировал будущий парад, которым должен был завершиться восточный поход...

Вильгельмштрассе — теперь дорожка посреди двух рядов развалин. Министерство иностранных дел Риббентрона. Где он теперь? Министерство авиации с золотыми кондорами на воротах. Где Геринг?

На Вильгельмштрассе, по обломкам, спотыкаясь, идут немцы, мужчины и женщины. Гедвиг Вирц — врач из университетской клиники — уже три дня, по предложению советского командования, работает в госпитале. На вопрос, где министерство иностранных дел, она не может ответить сразу, оглянется осматривает развалины, которые так однообразны, указывает на один дом, потом на другой.

— Наконец-то Германия перестанет истекать кровью, — говорит она. — Как врач, я знаю, чего стоила Германии эта безумная война! Впереди

у нас трудные, очень трудные времена, но главное — не будет больше литься кровь.

Высокий человек с траурной повязкой на рукаве гозорит по-русски (давний выходец из России, он потерял сына на войне):

— Но почему же вы раньше не пришли? Этого всего не было бы! — он делает рукой широкий жест... — Я работал в Дейтшебанк и, по приказу советского коменданта, иду на место службы, где должны собраться все сотрудники.

Парикмахер Эрнст Бойер, когда мы обращаемся к нему с вопросом, вытаскивает из бумажника, показывает справку полиции о том, что Бойер, как политически неблагонадежный, лишен права служить в вооруженных силах Германии. Такие бумаги показывают многие берлинцы, как будто они были у них заготовлены... — или, быть может, в Германии развелось так много неблагонадежных?..

Новая имперская канцелярия на Фосшитрассе. Длинное серое и очень некрасивое здание, возведенное присяжным архитектором Гиглера, министром вооружений Альбертом Шпеером. Фасад сохранился, хотя в здание неоднократно попадали бомбы, крыши пробиты, стены во многих местах обрушены.

Широкие ступени с мостовой ведут к главному входу. Мостовая, ступени, вестибюль завалены орденами. Их тысячи, в коробках и без них... Черные железные кресты, белые, с черной свастикой — кресты «за верную службу», пряжки с мечами, дубовые листья к железному кресту. Победители топчут то, что еще вчера было символом величия и славы «третьей империи».

В коридоре, у дверей кабинета, лежит труп мужчины, без ботинок, в штопанных шерстяных носках, в коричневой форменной рубашке. Во лбу зияет рана, на лоб опущен клочок волос. На трупе, обнимая его, лежит мертвая женщина. Все это должно изображать «фюрера» и его жену, Еву Браун. Грубая «липа», которая быстро распознается. Трупы убирают...

По коридорам пройти из конца в конец здания невозможно: в полах зияют провалы, потолки стоят дыбом. Приходится пробираться через комнаты, обходить провалы. Знаменитая мраморная галерея — в руинах.

Кабинет статс-секретаря и министра Мейсснера. Он был начальником президентской канцелярии при Эберте, при Гинденбурге, при Гитлере, последовательно меняя «убеждения» — социал-демократические на консервативные, консервативные — на нацистские. В кабинете Мейсснера хаос. Стол и пол засыпаны бумагами, книгами, папками. Беру русско-немецкий и немецко-русский словарь. На первой странице написано: «Мейсснер», его рукой (образцы его подписи — на валяющихся в комнате бумагах). Перелистываю словарь: мелькают слова «умолклый», «таптывать». Вот как знали русский язык даже здесь, в правительственном центре «третьей империи»!

В одном из ящиков нахожу отпечатанные на великолепной бумаге... прорицания некоего шведа Свена о будущем. Гитлер любил «пророков», он несколько лет слепо верил мошеннику и авантюристу «ясновидящему» Гануссену, которого 30 июня 1934 года убил граф Гельдорф, чтобы «сквитаться» по вексям, выданным Гануссену. Свен, очевидно, был одним из преемников Гануссена. Он «прорицал» Гитлеру: «В 1944 году

«...изоидет вторжение во Францию, битва достигнет высшего напряжения в августе, а к ноябрю вторжение будет ликвидировано, и союзники получат величайшее поражение. Новое немецкое воздушное оружие к тому же времени ввергнет Англию в хаос. К апрелю 1945 года Германия сосредоточит все свои войска на востоке и в течение 15 месяцев Россия попадет во власть Германии. По окончании войны Европа объединится под главенством Германии».

Совершенно ясно, что «пророчества» эти были составлены в конце лета 1944 года, после вторжения в Европу, и целью их было успокоить Гитлера, укрепить его веру в будущее.

Так сегодня, 3 мая 1945 года, среди развалин имперской канцелярии, читаю предсказание, что в апреле 1945 года Германия все свои силы просит против России и одержит победу...

В находящемся рядом с кабинетом Мейсснера наградном отделе лежат сотни орденских грамот, заполненных и подписанных Гитлером и Мейсснером. В них стоят даты: 20, 25, 30 мая. «От имени германского народа награждаю я Германна Фолькера орденом за верную службу 2-го класса. Фюрер А. Гитлер» (подпись поставлена почти перпендикулярно к строке). И дата: «20 мая 1945 г.»... Мейсснер не предвидел «мелочи» — что за 17 дней до 20 мая эта предусмотрительно заготовленная грамота попадет не к Фолькеру, а в руки советского журналиста.

Среди бумаг обнаруживаю подписанное Мейсснером распоряжение: на основании приказа «фюрера», всем немцам запрещается дальнейшее ношение орденов итальянских, румынских, болгарских, так как эти страны изменили фюреру...

Кабинет Гитлера сильно разрушен бомбами. Потолок обвалился, мебель разбита, огромный глобус измят и валяется на полу. В коридоре среди бумаг я поднял список личных телефонов «фюрера» — были телефоны и в его четырех уборных...

4 мая. На северной окраине Берлина, в районе Плетцензее, в тюрьме Плетцензее, лежит труп Геббельса, найденный в имперской канцелярии. До тюрьмы добираться долго: мосты через канал взорваны, приходится искать временную переправу.

Тюрьма пуста. Камера смертников. Комната для казней. Гильотина с наклонной доской для ската головы, со стоком для крови, которую немцы собирали в бутылки...

Штаб рядом с тюрьмой. Здесь происходит пресс-конференция. Подполковник обстоятельно излагает, как был найден труп Геббельса. 2 мая дивизия овладела районом имперской канцелярии. Был задержан Вильгельм Цильм, назвавший себя статс-секретарем по техническим вопросам. Ему предложили помочь отыскать местопребывание Геббельса. Он сказал:

— Он покончил с собой.

— Откуда вы знаете?

— Я слышал это от сотрудников имперской канцелярии.

Были задержаны и повар подземной правительственной столовой Ланге, начальник подземного гаража Карл Шнейдер. Их повели к пункту сбора пленных в здании рейхстага. По дороге повар спросил:

— Кого здесь так старательно ищут?

— Гитлера и Геббельса.

— Нет Гитлера! Нет Геббельса!

Так воскликнул повар.

Тем временем Цильм повел офицеров по внутреннему ходу и имперской канцелярии в подземное правительственное убежище. И в глубине примерно пяти этажей тянется коридор. В него выходят двери квартир. Квартира Риббентропа пуста. На столе лежат две телеграммы Лакей иронически сказал:

— Господин рейхсминистр 20 апреля выехал в неизвестном направлении, погрузив на машины свой багаж и вино...

Под землей обнаружены также госпиталь с ранеными, аптека, столовая, большой гараж, телефонная и электрическая станции.

Из подземелья Цильм вывел другим ходом. Когда через маленькую боковую дверь наши офицеры вышли во двор имперской канцелярии, они, сделав пять-шесть шагов, наткнулись на два трупы. Обгорелые они лежали на обугленной, черной земле, у закрытого люка канализационного колодца. Женский труп обгорел до неузнаваемости, мужской труп обгорел меньше. У трупов лежали полусгоревшие туфли на высоком каблуке, маленький браунинг, несколько лоскутов женской блузки, флакон — судя по запаху, из-под горючей жидкости.

Из рейхстага немедленно привели Ланге и Шнейдера. Первым был подведен к трупам повар Ланге. Он поднял туфли, сказал:

— Это Геббельс!

Показал на протез на уродливой ноге Геббельса, а уж затем разглядел и обгоревшее лицо.

После него труп был показан Шнейдеру. Он сказал:

— Да, это Геббельс.

И показал на уродливые ноги, на туфли, отнюдь не дамские, а геббельсовы. Так был опознан рейхсминистр пропаганды, гаулейтер и имперский комиссар обороны Берлина, доктор Иозеф Геббельс.

Тела были отправлены в расположение штаба дивизии, в тюрьму Плетцензее. Там они были предъявлены лицам, хорошо знавшим Геббельса, в том числе адмиралу Фоссу, который неотлучно находился в подземном убежище; ему 30 апреля Гитлер отдал бумагу о передаче власти рейхс-канцлера гросс-адмиралу Деницу. Фосс обознал Геббельса.

Улицы Берлина за два с половиной дня стали неузнаваемы: проезды расчищены, завалы разобраны, обломки убраны. Тем разительнее контраст вида двора имперской канцелярии. Его загромаждают поваленные обстрелом деревья, куски стен, огромные воронки от бомб, скрюченные рельсы, неразорвавшиеся снаряды большого калибра.

— Вот и место, где найден Геббельс. Земля — черная, обожженная. Люк колодца открыт. Кто-то поднимает и рассматривает дамские туфли на высоком каблуке.

Лоскуток от дамской блузки. Пустая склянка, из которой эсэсовцы в ночь на 2 мая обливали трупы. Геббельс хотел исчезнуть, не оставив после себя никаких следов, — стать легендой. Ему не удалось и это. Эсэсовцы сбежали, не доведя дела до конца и предпочтя спасти свои шкурки...

Входим в низенькую, почти неприметную дверь. Лестница вниз устроена короткими маршами, которые перемежаются маленькими площадками. Снизу поднимается гарь и дым: пол землей пожар. Электричество не горит, темно. Спустившись, входим в коридор. Ничего не видно и почти невозможно дышать: по коридору стелется густой дым. Осмотреть квартиры невозможно...

5 мая. У рейхстага назначена встреча находящихся в Берлине советских корреспондентов и литераторов.

Берлин окутан густым туманом: это облака пыли, которую ветер поднимает с развалин. В прах обращены сотни кварталов, тысячи и тысячи зданий. Прах покрывает серой пудрой лица тысяч немцев, работающих на улицах. Каждого жителя Берлина мобилизуют на два часа для расчистки улиц. На Унтер-ден-Линден мостовая приведена в проезжее состояние, можно ходить и по тротуарам. Бранденбургские ворота освобождены от баррикад, и советские машины катятся под сводами прусско-германских триумфальных ворот!

На площади перед рейхстагом большой толпой собрались журналисты и литераторы: Вс. Иванов, Вс. Вишневский, Славин, Габрилович, Горбатов, Симонов, Мержанов, Саянов, Кудренатых, Бек. Трояновский, Золин — все те, чьи подписи под корреспонденциями с войны известны миллионам читателей.

Плеяда фото- и кинокорреспондентов — Кармен, Капустянский, Халдей, Пушкин, Гурарий, Кислов, Кнорринг.

Долго, как всегда, выбирают место для съемок, расставляют участников.

Неожиданно приезжает Берзарин. Он охотно соглашается сняться в группе.

Из рейхстага наши солдаты выводят немца в штатском. Он бледен, изнурен, едва стоит на ногах. Его нашли в закоулках подземной части рейхстага. Он смертельно испугался, увидев советских воинов, упал на колени, хватая за ноги солдат, рыдая, умоляя, чтобы его пощадили. Когда он несколько успокоится, то рассказал: 30 апреля эсэсовцы сигнализировали жителям из прилегающих к рейхстагу районов, сказали им, что большевики их перебивают, и предложили спрятаться в подzemелье. Теобальд Гюнтер забился дальше всех. Там он и просидел шесть дней, четыре дня ничего не ел и не пил.

Он предъявил свои документы, указал свой адрес. И, когда ему сказали, чтобы он шел домой, он не поверил. Его вывели на улицу, подтолкнули:

— Убирайся!

Он все еще не верит... А вдруг выстрелят в спину! Ему еще раз говорят, что он свободен и может идти домой: в Берлине все окончилось, Берлин капитулировал... Он хватается за руку ближнего, стоящего офицера, хочет ее поцеловать. Но рука во-время отдернута, и «ариец», бормоча что-то, прижимая руки к сердцу, уходит... Это происходило 5 мая 1945 года в Берлине, в столице «третьей империи», у рейхстага, напротив бывшего дома Гертинга 27 февраля 1933 года в подzemелье, где теперь прятался Гюнтер, был Гертинг — он поджигал рейхстаг. Начало и конец «третьей империи»!

По дороге домой еще раз осматриваем собор. В небольших служебных комнатах брошены церковные книги, в том числе и старинные рукописные сборники нот, книги записей рождений, крещений, смертей за десятилетия... И тут же — женские шелковые сорочки, туфли, чулки. Кто-то прятал свое имущество, да так и не успел забрать.

Вблизи собора — так называемый Старый музей. У входа боец обращается с просьбой растолковать группе немцев, что они должны отработать два часа, а если они быстро погрузят на машины груды кирпича и обломков, то он отпустит их и раньше. Услышав обращение на немецком языке, немцы наперебой просят освободить их от работы — у каждого болезнь или иная причина... Выслушав отказ, они берутся за лопаты и работают...

Здание музея разбито бомбами; крыша и потолки обрушились внутрь. Ценностей здесь не было: немцы их заранее вывезли и спрятали.

За музеем — здание Национальной галереи, где хранились коллекции немецкой живописи и скульптуры. Они также вывезены, а здание разрушено бомбами. В уцелевшем подвале на стеллажах разложены открытки-репродукции с картин, каталоги и пояснения к отделам галереи. По подвалу бродит старый немец — «интендант» галереи, нечто вроде смотрителя здания и заведующего хозяйством. Он угодливо кланяется — как все немцы теперь! — почтительно смотрит на нас.

— Да, да, все разрушено, — вздыхает он...

— А где же картины?

— Не знаю, не знаю, господа. Их увезли. Давно. Я остался охранять здание. А потом свалилась бомба, и вот — вы сами видите...

Взорванный мост через рукав Шпрее с Дворцовой площади на Кенигштрассе уже заменен переправой. Советские мостовики научились работать быстро и хорошо на длинном пути от Волги до Шпрее!

6 мая. За Эльбой назначена встреча представителей советского и американского командования. Едем туда.

Ней-Руппин — городок к северо-западу от Берлина — от войны не пострадал. Сюда она докатилась последними, слабыми всплесками.

На площади в Ней-Руппин, пока уточняется маршрут, наблюдаем такую сценку. Группа мальчишек, от 7 до 11 лет, играет у разбитой легковой машины. К ним подходит один из нас. Мальчик лет восьми говорит по-немецки:

Не мешайте нам играть. Уходите!

Другой, постарше, веснучатый, в очках, строго и назидательно произносит:

— Зачем ты к нему обращаешься? Он все равно не понимает. Это же русские. Они — не люди...

«Гитлеровская молодежь» — поколения, выросшие при Гитлере, воспитанные им.

Эльба, древняя славянская Лаба. Теперь на Эльбе сошлись две армии. Одна пришла с Волги, другая — с Миссисипи.

Мы опоздали: с час назад переправилась наша делегация, встреченная американцами. По реке курсирует моторная лодка. Наш дежурный свистом сигнализирует. Лодка подъезжает. Два американца приглашают нас в лодку. На Эльбе стоят пароходы — их немцы пригнали по каналам из Берлина.

В домике на западном берегу Эльбы — пост связи американской дивизии. Пока дежурный вызывает из штаба машины, завязывается оживленная беседа. Американцы немедленно угощают жевательными резинками. Славин по-французски говорит с ньюйоркцем-итальянцем, который объясняется на смеси слов французских, итальянских и английских. Корреспондент дивизионной газеты, длинный, средних лет американец с рыжими усами, готовит заметку о встрече с советскими журналистами и писателями...

Прибывают машины — открытые доджи в три четверти тонны. Американцы движутся по немецким дорогам со скоростью, к которой привыкли у себя на родине. Стрелка спидометра не сползает со ста километров, подымается и выше. Шофер правит почти без движений — руки покойно лежат на вершине баранки. При въезде в попутные городки скорость снижается до 75—80 километров. Улицы городков — извилистые, с крутыми поворотами. Стоят регулировщики. Шоферы, как по команде, выбрасывают руки в сторону поворота, машины мчатся, срезая углы так, что наезжают на тротуар. Сегодня воскресенье, приедутые немцы возвращаются из церкви, прогуливаются по чистеньким, тенистым улочкам своих тихих городков. Они смотрят, как по немецким улицам проносятся машины с советскими офицерами.

В этом районе сосредоточено много советских граждан — для отправки через Эльбу в советскую зону оккупации. Завидя машину с советскими офицерами, они раздражаются криками «ура!», подбрасывают шляпы, кидают цветы. И так на протяжении добрых ста с лишним километров!

Городок Клетце, недалеко от Ганновера. Здесь — встреча командования американского корпуса с нашим командованием. Встреча проходит очень оживленно и весело.

Вечером длинный поезд машин несется к Эльбе. В замыкающей машине: адъютант командира корпуса — майор, Вс. Иванов, я... Майор — юрист, адвокат из Нью-Йорка. Вторая беседа в машине с адвокатом, майором и адъютантом генерала. То был побежденный, а это — победитель. Американец спрашивает, как ведут себя немцы в нашей зоне, какие у нас правила обращения с ними.

— У вас братание с немцами разрешено? — спрашивает он. — У нас действует приказ, запрещающий нашим солдатам и офицерам жить с немцами под одной крышей, общаться и разговаривать с ними.

Разъясняю ему, что братание и у нас запрещено, — да и кому бы из наших пришло в голову так вести себя с немцами!..

Майор подробно спрашивает о методах обращения с немецким населением в нашей зоне оккупации, но никак не может понять советской политики в побежденной, разгромленной Германии. Он видит лишь крайности: либо братанье с немцами, либо полное запрещение общения с ними...

— У нас немцы все валят на СС, — говорит майор, — а себя считают невиновными.

— У нас они говорят то же самое, но задача состоит в том, чтобы выделить и покарать конкретных виновников преступлений, а всему немецкому народу внушить, что он в целом несет ответственность за все содеянное Германией.

— А как быть с продовольствием? Надвигается голод.

— Советский комендант Берлина еще во время боев приказал выдать населению Берлина продукты по карточкам.

Снова Эльба. Дружеское прощание, обмен сувенирами: орденские ленточки меняются на позолоченные буквы «US». Моторные лодки рожут над темной гладью Эльбы, и мы возвращаемся «домой».

7 мая. Возвращение в Берлин. На шоссе пробка, так как у переправы застряла тяжелая самоходка, ее вытягивают на берег.

Среди ожидающих машин — долж с американскими офицерами. Они узнают нас, рассказывают, что едут взглянуть на Берлин и передают, будто немцы капитулировали, и война окончилась...

Въезжаем в Берлин со стороны Шпандау. Широкое Шарлоттенбургское шоссе — в развалинах; в руинах здание городской оперы, разрушен драматический театр Шиллера.

Высокая Колонна победы, воздвигнутая в честь 1870 года. А за нею — наши трибуны. Я сразу узнал их, — они выстроены по эскизам, которые показывал полковник Прокофьев поздним вечером 12 марта, в день нашего прибытия на 1-й Белорусский фронт.

Трибуны стоят в той части широкой сквозной авеню, которая прорезает Берлин с запада на восток и в этом месте называется «западно-восточная ось». Ее Гитлер торжественно открыл в 1939 году. А теперь на этом месте — советские трибуны, флаги объединенных наций, портреты Сталина, Рузвельта, Трумена, Черчилля.

Берлин остался позади. Вечер. Темно. Мы в лесу у Штраусберга... Вдруг начинается стрельба позади нас. Она нарастает, перебрасывается вперед, она — уже со всех сторон. Машина останавливается. Краткое совещание. Двое идут в разные стороны на разведку и приносят новость: Германия капитулировала.

Въезжаем в Штраусберг: все стреляют, но толком никто ничего не знает... С трудом удастся выяснить, что были какие-то английские передачи о прибытии немцев в штаб союзного командования. Стрельба то затихает, то вновь вспыхивает...

8 мая. Тайна вчерашней стрельбы разъяснена: рано утром сообщают, что Германия капитулировала, и сегодня в Берлине состоится подписание акта капитуляции. А вчера в Реймсе был подписан предварительный протокол.

Карлсхорст, предместье Берлина. Цвинзелштрассе. Немецкая военно-саперная школа. Большой корпус столовой школы. Зал подготовлен для церемонии подписания капитуляции.

Пять окон на длинной стороне зала выходят во двор с газонами и деревьями. По длине зала установлены три стола. У поперечной стены — стол для членов делегаций держав-победительниц. За столом — кресла. У стола — микрофоны. У противоположной стены — столик с бумагой и карандашами. В углу зала, у окон — звукозаписывающие аппараты.

В этом же здании устроены отдельные помещения для союзных делегаций и комната для немецких уполномоченных.

В третьем часу дня с аэродрома прибывают английская и американская делегации. Главный маршал авиации Теддер, генерал Карл Спаатс, адмирал Бэрроу осматривают зал. Затем отбывают в отведенные им дома.

Вскоре приезжает представитель Франции генерал Делатр де Тасиньи.

Начало заседания отодвигается: сэр Артур Теддер и остальные делегаты осматривают Берлин, знакомятся с результатами работы союзной авиации.

В 8 ч. 15 м. вечера в здание вводят немецких уполномоченных. В первом ряду, слева направо, шагают генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф, адмирал Фридебург. Сзади в несколько рядов идут адъютанты и остальные сопровождающие лица. Впереди всей группы — советский офицер. Позади него — представители союзной охраны, в сопровождении которой немцы прибыли из Реймса. Кейтель шагает прямо, как на параде. Да и все немцы оправдывают старинные слова Гейне:

Они так прямо шагают в такт,
Так несут ходули,
Как будто они проглотили хлыст,
Которым их ныне отдули.

Я позволю себе заменить стоящее у Гейне слово «встарь» — словом «ныне»...

Немцев отводят в предназначенную для них комнату...

Здесь они ждут начала заседания...

В 12 ч. вечера в зал входят маршал Жуков, маршал Теддер и остальные представители союзного командования. Маршал Жуков предлагает ввести немцев. Они входят тем же прусским шагом...

Маршал Жуков спрашивает:

— Получили ли немецкие уполномоченные текст акта о безоговорочной капитуляции?

— Яволь,— отвечает Кейтель с места.

Маршал Жуков задает второй вопрос:

— Согласны ли немецкие уполномоченные подписать акт о безоговорочной капитуляции Германии?

— Яволь,— снова отвечает Кейтель. Он ждет, чтобы ему подали акт для подписания.

Маршал Жуков предлагает немецкой делегации подойти к столу, за которым сидят представители союзного командования, и тут подписать акт.

Безмолвно поднимаются немцы со своих мест, подходят к столу, садятся и подписывают акт.

Итак, Германия безоговорочно капитулировала на 1418-й день после нападения Гитлера на СССР. 1418 дней кровавых, ожесточенных, героических боев Красной Армии завершились продолжавшейся менее четверти часа церемонией!

Немцев уводят. Не так Кейтель вышел из вагона в Компьене пять лет назад. Ледяным тоном он продиктовал Петэну условия капитуляции Франции, а затем, вернувшись в поезд Гитлера, играл своему шефу Вагнера на пианино, поставленном в купе специально для таких случаев. Ескакий раз после возвращения из очередного похода Кейтель улаждал Гитлера музыкой. Он — недурной пианист...

Весть о капитуляции Германии разнеслась по всему Берлину еще днем: Берлинцы немедленно отменили затемнение.

9 мая. День победы. На Александерплац выставлены огромные, отлично написанные портреты Сталина, советских маршалов. Повсюду развеваются советские стяги. Вывешены флаги союзных наций. Расставлены транспаранты и плакаты. Берлин имеет строгий, подтянутый вид. Его развалины будто отошли в глубь кварталов, спрятались. Немцы почти не видно на улицах. «Третьей империи» Гитлера больше нет. Не верится, что здесь, на этих самых улицах и площадях, еще так недавно проходили гитлеровские факельцуги и беснующиеся толпы вопили: «Хайль Гитлер!»...

Вечером рупоры передали из Москвы речь Сталина. Берлин загремел салютом. Стихийным салютом. В небе — тысячи разрывов: бьют зенитные батареи, бьют так, как никогда, по словам немцев, не стреляла их зенитная артиллерия. Стреляют из пистолетов, автоматов, пулеметов, винтовок. Взлетают ракеты, ночное небо полыхает всеми цветами радуги.

В частях — торжественные собрания, товарищеские ужины.

У одного из районных комендантов Берлина встречаю двух французов-антифашистов, освобожденных из концлагеря «Шталаг IIIВ-Фюрстенберг». Это очень страшное место! Они без вина пьяны от счастья.

— Бош повержен навсегда, и это сделала Россия! — говорит бретонец.

Оба француза просят передать горячий братский привет Советскому Союзу, русскому народу — от французов, которых освободила Красная Армия.

10 мая. Широкая магистраль в центре Берлина. По обочине мостовой, так как тротуары засыпаны обломками, бредут мужчины и женщины с ведрами по воду. Дети играют на мостовой. Трава выбивается меж камней и кирпичей... Это — центр столицы Германской империи в мае 1945 года.

Раньше здесь проносились тысячи машин, сверкали кафе, магазины, кино...

Советские минеры, с собаками и щупами, обходят развалины. Лейтенант, Герой Советского Союза, рассказывает, как трудно осмотреть и очистить все закоулки огромного города. Смеясь, он говорит:

— Вы, конечно, знаете нашу поговорку: «Минер ошибается только один раз в жизни». Я ее переиначил: «Минер ошибается дважды, и впервые — тогда, когда избирает эту профессию».

В улицу въезжает МГУ, начинает передачу. Толпа густо облепляет машину. Старики и молодые, женщины и дети внимательно слушают информацию, политические статьи, но когда начинается музыка, слушатели расходятся.

— Всегда так, — жалуется механик. — Как слышат музыку, так и уходят...

Немцы изголодались по правде!

Мы — в районе стопроцентного разрушения. Но у водоразборных колонок на улице — длинные очереди. Значит, живут люди здесь, в близости. Да, тысячи берлинцев обитают в погребах, во дворах, в землянках, в нижних этажах разрушенных домов.

Неправдоподобно выглядит целый дом среди руин... В него чудом

не попала ни одна бомба,—выбежавшие из ворот дети это подтверждают...

Длинные цепи немцев из рук в руки передают кирпичи, камни, обломки — расчищают улицу. Берлин в диаметре многих километров — огромная современная Помпея!

11 мая. В Венденшлоссе, пригороде Берлина, много домов, выстроенных незадолго до войны, и они населены мелким берлинским людом.

Эрвин — столяр. Был столяром: теперь у него нет правой руки до локтя. Она осталась под Ленинградом. В конце 1944 года Эрвин был снова призван — в фольксштурм.

— В нашем районе,— говорит он,— зимой взяли более двух тысяч калек, без рук, без ног, полуслепых...

Безногий старик Браун был участником первой мировой войны.

— Тогда я и ногу потерял, а за старостью теперь не был мобилизован. Я верю, что наши теории ужасы в России,— говорит он.— Я помню, как в 1914 году нас поощряли к этому же...

Вильгельм Тухолке представляется как журналист, работавший до гитлеровцев в Лейпциге. Он убегает, затем возвращается с пачкой книг. Это «Мать» Горького, Фадеев, Катаев, Шолохов (на немецком языке). Тухолке рассказывает, что присутствовал на лейпцигском процессе Димитрова и был свидетелем того, как Геббельс инспирировал немецкую прессу для лживого освещения процесса.

— Никто не сомневался, что Геринг поджег рейхстаг,— говорит Тухолке.

Он говорит, что гитлеровцы сочли его неблагонадежным, и газетную работу он сменил на ремесло слесаря.

Он показывает сделанную аккуратным почерком выписку из первого тома «Заката Европы» Шпенглера:

«Римляне совсем не завоевали мир. Они только завладели тем, что лежало готовой добычей для каждого. Нас не должна вводить в заблуждение видимость блестящих успехов».

— Вот,— щелкает Тухолке пальцем по бумаге,— а моих соотечественников как раз и ввела в заблуждение видимость блестящих побед Гитлера!

12 мая. Во всех двадцати административных районах Берлина, управляемых нашими военными комендантами и действующими под их руководством новыми бургомистрами, открываются одно за другим кино. В нескольких районах уже работают театры — кабаре и варьете. Немцы их охотно посещают.

Деловые люди проявляют активность. Шпиттельмаркт — центральный торговый район. Теперь здесь только руины. У дома № 1—2 на Шпиттельмаркт стоит группа из 25—30 мужчин и женщин. От дома осталась часть фасадной стены, и на ней кусок вывески — фамилия «Вейничке». Где ранее был пол магазина, стоит стол, к нему приклонен железный лист с надписью:

«Предлагаю всем служащим опустить в урну записки со своими адресами и собраться здесь же в четверг. Вейничке».

Урна стоит на столе: не то ведро, не то кастрюля. Вейничке спи-

мает шляпу, представляется, поясняет, что возобновляет деятельность фирмы: ремонт пишущих и счетных машин, кассовых аппаратов и других предметов канцелярской и торговой техники.

— Военная комендатура дает нам новое помещение. Часть оборудования мы отколаем из развалин, остальное возьму в аренду у других фирм, которые не могут начать работу. Дело пойдет. Прошу быть клиентами!

На Лейпцигерштрассе многоэтажные дворцы торговли выгорели, разрушены. Фасад универмага «Герти» украшен скульптурами двух женщин размером в три этажа. Правая фигура обезображена, левая потеряла только руку, но неразорвавшаяся мина впилась в низ живота и торчит наружу своим хвостовым оперением...

Лейпцигерштрассе, параллельную Унтер-ден-Линден, пересекают Фридрихштрассе и Вильгельмштрассе. Один из этих углов отмечен столбом с дощечкой: «Митте». Это географический центр Берлина. Он может сойти за эпицентр землетрясения, разрушившего Берлин!

Лейпцигерштрассе заканчивается Лейпцигерплатц. На площадь выходила резиденция Геринга. Она разрушена. Тут же была военная комендатура Берлина. И ее нет...

13 мая. У продовольственных магазинов толпятся люди. В лавочке на Ириненштрассе № 16 отпускают сахар, жиры, другие продукты — за первую половину мая. Люди уже знают, что с 15 мая входят в силу новые нормы.

Со старыми карточками в руках и с выпиской из приказа Берзарина о новых нормах домохозяйка растолковывает, что новые нормы значительно превосходят прежние, гитлеровские.

В доме № 18 такая же лавочка: владелица отпускает хлеб и муку. Она говорит, что ее лавочка была закрыта по «тотальной мобилизации» еще год назад, а после занятия Берлина русскими она получила приказ немедленно возобновить торговлю.

На соседней улице Розенфельдерштрассе, в доме № 13,— дамская парикмахерская некоей Иоганны Болле. Она открыта: из дверей выходят причесанные, с маникюром женщины. Любопытно знать, что сказали б Геббельсу эти немки по поводу его лживой пропаганды большевистских ужасов!

Немцы учатся русскому языку. «Клеба» они говорили еще в разгаре уличных боев. Теперь, показывая на улицах, как проехать, они выучили слова: «направо», «налево». Популярностью пользуется слово «закурить»: вполне прилично одетые мужчины ходят по улицам с трубкой и протянутой рукой и обращаются к офицерам с этим словом — «закурить»...

На каждом шагу лстывая угодливость, низкопоклонничество перед победителями. Вы спрашиваете дорогу у солидного толстого немца,— он рысью подбегает к машине, низко кланяется, сыплет слова горохом...

Мой сосед по вилле в Уленгорсте (пригород Берлина) говорит свободно по-русски. Инженер-текстильщик, он много лет работал в Москве. Помнит старую Москву, дооктябрьскую. Знает русскую литературу и просит русских газет и книг.

— Я хорошо знаю «Легенду о великом инквизиторе» Достоевского,— говорит он.— Я много раз ее перечитывал. Это замечательно!

Ваш Достоевский все предвидел! Он предсказал, что придет «фюрер», который скажет людям: «Беру вашу волю, ваши помыслы, буду думать и решать за вас. А вам я дам хлеб, вы будете жить, ни о чем не думая, но и ни во что не вмешиваясь». Гитлер говорил нам, что он один — и совесть, и разум всего немецкого народа. Но хлеба он нам так по-настоящему и не дал... Достоевский был гениален. Как вы считаете?

— Вполне согласен с вами! — Он открыл калитку своего садика (мы разговаривали через решетку), пригласил меня войти, ушел в дом и быстро возвратился с книгой. — Достоевский, «Дневник писателя», — говорит он и раскрывает книгу на заложенном месте: — Читайте!

— «Зависимость от союза с Россией есть, повидному, роковое назначение Германии, особенно с франко-прусской войны».

Когда я прочел, немец торжественно воздел палец и сказал:

— Вот! Достоевский был умный человек! Я сохранил эту книгу, — сказал он еще торжественнее, — я спрятал ее. Вы знаете, чем я рисковал, если бы у меня нашли русскую книгу!..

Но это не помешало ему состоять в нацистской партии, хотя и скромным рядовым, но все же «партийгеноссе».

14 мая. Открытие первого участка на восстанавливаемом метро. В Нейкельне на станции Германплатц собрались немцы-инженеры и рабочие, во главе с директором. «BVG» («Берлинское общество городского транспорта»). Директор отлично говорит по-английски и по-французски, выложено одет. Он почтительно беседует с советскими журналистами. Когда приезжает Берзарин, он докладывает ему, с прусской выправкой и прусским «почитанием» власть имущего лица. Берзарин выслушивает доклад, задает несколько вопросов, осматривает станцию, поезд.

— Отлично, — говорит он. Я требую, чтобы в течение ближайшего месяца все берлинское метро было пущено в действие. Сделаете, отблагодарю. А если дело не пойдет, головы снимаю.

Берзарин говорит со свойственной ему лукавой, иронической шутливостью. Этот небольшого роста, широкоплечий, молодой, но уже седеющий генерал обладает взглядом, полным обаятельности. Первый комендант столицы поверженного врага, он держится с высшим тактом, который соединяет непреклонность и твердость воли победителя с великодушьем и человечностью.

Берзарин, приглашая с собой немца-директора, входит в вагон. Начальник станции произносит отрывисто-лающе: «Фертиг» — поезд трогается. Первый поезд метро, пущенный в занятом советскими войсками Берлине на двенадцатый день после капитуляции немецкой столицы!..

В кабинете полковника Елизарова, начальника политотдела комендатуры Берлина, собираются деятели берлинских театров и художественных учреждений. Приходят седой, старый Пауль Вегенер, режиссер Легаль, руководитель филармонии композитор Вестермани, дирижер Берхарт, бывший директор Рейнгарта Герцберг, актер де Кова. Комната быстро заполняется.

Вегенер рассказывает, что в течение многих лет он не снимался, так как не был в фаворе у Геббельса. Он служил в небольших драма-

тических театрах с Легалем в качестве руководителя. Легаль говорит о состоянии берлинских театров. Здания государственной оперы, городской оперы, драматических театров разрушены, причем почти все не восстанавимы. Невзирая на это, берлинские работники искусства жаждут возобновить художественную жизнь в городе. 13 мая состоялся первый после окончания войны концерт камерного оркестра под руководством фон Бендара.

Балерина городской оперы Дайси Шлис рассказывает, что в балете театра нет мужчин: призваны в сентябре 1944 года по «тотальной мобилизации». Хор сохранился; труппа, кроме нескольких уехавших из Берлина певцов — в сборе. Оркестр филармонии весь налицо, может приступить к концертам, но необходимо вернуть увезенные несколько дней назад со склада смычковые инструменты. Оркестр городской оперы уже готовится к первому симфоническому концерту в помещении концертного зала Радиодома.

Постепенно комната переполняется, артисты, художники, музыканты прибывают и прибывают: коменданты районов привозят их на машинах со всех концов Берлина.

Полковник Елизаров приглашает перейти в зал соседнего кино. Там выясняется, что собралось более 200 человек вместо 30—35, как предполагали организаторы собрания.

Терпеливо ждут начала. В 4 часа прибывает Берзарин. Он появляется за столом президиума, поставленным не на эстраде, а в зале, в непосредственной близости к первому ряду кресел. Переводчик объявляет, что заседание откроет комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Собравшиеся встречают Берзарина дружными аплодисментами. Он говорит по-русски, твердо, энергично, со спокойствием сознающей себя силы, которая так импонирует, и со свойственным ему обаянием. Речь переводится по частям.

Берзарин говорит:

— Я прошу извинить меня за опоздание: только что пустили первую линию метро. Через месяц все метро пойдет. (Аплодисменты.) Задача теперь в том, чтобы все население Берлина взялось за восстановление нормальной жизни города. Я собрал вас здесь для того, чтобы в краткий срок пустить в ход учреждения и предприятия искусства... Первая задача: директора и руководители должны собрать всех своих людей, составить план возобновления работы и наметить на ближайший срок открытие своих зрелищных предприятий. Основное содержание работы: все гитлеровское — вон! (Бурные аплодисменты.) Необходимо восстановить работу радио — и в первую очередь живые выступления артистов перед микрофоном.

Берзарин сообщает, что в силу изданного им приказа работники искусства будут снабжаться по высшей категории, как рабочие тяжелого физического труда. Отвечая на вопросы, он предлагает и всем руководителям научных учреждений явиться к нему со своими планами: возобновление деятельности любого научного учреждения зависит только от этого.

— Я должен лично узнать работников науки, чтобы я мог о них заботиться и сохранить их для большой творческой работы в будущем, — говорит Берзарин.

По залу проходит гул одобрения...

Кто-то задает вопрос о работе кино.

— Мы выпускаем на экраны советские фильмы,— отвечает Берзарин.— Их демонстрация должна сопровождаться устным переводом текстов, а тем временем необходимо наладить озвучание картин по-немецки. Главная ваша задача — создавать новые немецкие фильмы, с любым содержанием,— но таким, в котором не будет Геббельса (смех), в которых будет германский народ (аплодисменты).

Герцберг, бывший директор Рейнгарта, на хорошем русском языке благодарит господина коменданта за его великодушное, беспримерное, гуманное отношение и просит поручить ему собрать руководителей театров и других предприятий искусства и составить практический план работ. Берзарин санкционирует это предложение.

Старый семидесятипятилетний музыкант оперы, Ульрих, по-русски произносит речь:

— Немцы не знают о тех зверствах, которые делали немецкие войска в России. Мы должны быть благодарны, что Красная Армия не ответила нам по закону: «Око за око, зуб за зуб». (Аплодисменты.) Ваши приказания, господин генерал, для нас — закон, мы отдадим свои силы, чтобы их выполнить. Мы рады, что получаем возможность свободно — без Геббельса — творить искусство.

Генерал Берзарин говорит в заключение:

— Я надеюсь, что свободное искусство создаст такую обстановку, которая поможет немецкому народу вырваться из темноты и мучений. Вы сами заговорили о насилиях, которые немецкая армия творила в нашей стране. Таких страшных злодеяний еще не было в веках! Берлин в сравнении со Сталинградом, с другими нашими городами, разрушенными немцами, еще хорошо сохранился. Немецкая армия причинила нашей стране колоссальный ущерб. Но мы далеки от мысли о слепом мщении. Маршал Сталин воспитал Красную Армию в ином духе: гитлеры приходят и уходят, говорит он, а народ немецкий остается. Я сам ношу в своем теле тринадцать ран от немецкой руки, а теперь я забочусь о вас.

Эти слова, сказанные Берзариним без аффектации, твердо и с лукаво-иронической усмешкой, вызывают в зале овацию... Заседание формально оканчивается, Берзарин выходит из-за стола, его окружают актеры и актрисы, засыпают его вопросами. Он отвечает просто, с подкупающей обаятельностью.

Я слышу, как актриса говорит композитору, что таких генералов она и не видела, и представить себе не могла...

15 мая. Сегодня вступают в силу новые пормы снабжения берлинцев.

В нашем Уленгорсте, дачном пригороде Берлина, большое сживление. Фрау в широких штанах, с сумками в руках, направляются к магазинам за продуктами.

Уленгорст вырос на пустыре в последние годы перед войной. Несколька улиц, еще не замощенных, обстроены небольшими виллами. Каждая стоит в небольшом саду, обнесенном изгородью или решеткой. Немцы и строить начинают с того, что обносят участок забором... Калитки всегда на запоре. Разговаривают они, и иной раз подолгу,

через решетку, и калитку открывают лишь тогда, когда приглашают посетителя в дом. А это случается не так уж часто.

Виллы выстроены строительными компаниями или отдельными предпринимателями, проданы в рассрочку средним служащим, инженерам, зажиточным ремесленникам.

Дом, в котором я живу, был приобретен лет шесть назад баварским служащим за семнадцать тысяч марок, в рассрочку. Дом двухэтажный, и верхние две комнаты, с особой кухней, сдавались инженеру с семьей. Взимаемая с него плата давала значительную часть суммы, необходимой для погашения взносов. Строительные компании получали от гитлеровского правительства субсидии для этого строительства: одно из проявлений гитлеровской социально-демагогической политики для завоевания и удержания на своей стороне средних слоев.

Моя хозяйка — вдова, муж погиб у Одессы. Когда мы заняли дом, он был пуст: она еще 24 апреля сбежала из него с дочерью. Дело было так. Верх дома снимал инженер Вернер Брейтшнейдер, 31 года, с женой 26 лет, с четырехлетним сыном и двухлетней дочерью. Был он в юности штурмовиком, потом поступил в институт, стал инженером (на заводе АЭГ), состоял в нацистской партии. В его «зиппенбух» («родословная книга», которую обязана была вести каждая арийская семья) родившаяся в 1943 году дочь вписана под именем Берты. Так ее окрестили в Штутгарте, где его жена родила, живя у своих родителей. А в 1944 году, по возвращении жены с ребенком в Берлин, Брейтшнейдер переименовал имя «Берта» на имя «Ингрид». Из древних саг... Бывший штурмовик, нацист и почитатель средневековья потерял душевное равновесие, когда Красная Армия подошла к Берлину. Моя хозяйка рассказывает:

— Утром того дня, когда мы узнали, что русские вот-вот войдут в Уленгорст, фрау Брейтшнейдер пришла ко мне и сказала, что ее муж вне себя и, кажется, хочет убить ее и детей, а потом и себя. Я ее успокаивала, как могла... Она ушла. Спустя некоторое время, готовя обед в кухне, я услышала над головой глухие удары топора и удивилась, почему Брейтшнейдер вздумал рубить дрова в своей комнате... А еще позже я услышала крик под окном: сосед-инженер вызывал меня. Он увидел Брейтшнейдера лежащим на земле в нашем саду, истекающим кровью... Его перенесли наверх в комнату — и там мы увидели то, чего я никогда не забуду: обонх детей, зарубленных топором. А топор, весь в крови, лежал на полу... Жену Брейтшнейдера мы нашли на другой день: муж зарубил ее в саду, выкопал неглубокую яму и забросал труп землей... Он прожил еще три дня. Когда я его спросила, зачем он это сделал, Брейтшнейдер ответил: «Дальше жить бессмысленно!»

Соседи похоронили всю семью в лесу, у опушки которого расположен Уленгорст.

— А я с дочерью от страха убежала, — заключает рассказ хозяйка.

В соседнем доме получено известие через вышедших из концлагеря людей, что глава семьи умер еще прошлой осенью. Попал в лагерь этот портной вот как. Он не хотел, чтобы его сын носил форму «гитлеровской молодежи». А сын, одиннадцати лет, ни в чем не хотел отставать от товарищей. У отца с сыном происходили горячие и рез-

ме ссоры. Однажды отец забрал у мальчишки его форму. Мальчик ушел утром в школу и пожаловался уполномоченному «гитлер-югенд» на отца. Днем отец был арестован...

Вышел первый номер «Теглихе рундшау», газета Политуправления для немцев. Напечатана статья Г. Ф. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает».

16 мая. Представители общественных групп, по предложению советской комендатуры, ведут переговоры о создании берлинского магистрата. В 20 районах («бецирках») города уже приступили к работе районные магистраты, под руководством районных военных комендантов. Функционируют и участковые бургомистры («бецирки» разделены на подрайоны или участки).

Тиргартен — один из крупнейших центральных районов Берлина. Районный магистрат находится в высоком здании на площади в центре Моабита. В кабинете нового бургомистра Бахманна, архитектора, антифашиста, изведавшего гитлеровские тюрьмы и концлагери, происходит заседание нового магистрата. Маленького роста, темпераментный Бахманн говорит о задачах магистрата по восстановлению жизни в районе, о наступлении новой эпохи, которую принесла победа Красной Армии.

Члены магистрата — рабочие, служащие, интеллигенция — люди рядовые. Они берутся за дело горячо... В здании магистрата — толчея непроходимая. Все идет сюда со своими делами и запросами. На дверях — свежие, от руки написанные фамилии и названия отделов.

Советская военная комендатура деятельно помогает бургомистру и магистрату. Между ними установился живой, плодотворный контакт.

Знаменитая тюрьма Моабит. Огромный «паук» расположился на большой магистрали района Тиргартен, улица Альт-Моабит. Тюрьма выстроена в виде звезды с пятью лучами. В центре — во все пять этажей — круглый колодец. Здесь центральный пост охраны и наблюдения. От колодца и отходят пять корпусов — А, В, С, D, E. Они просматриваются насквозь. А так как полы и потолки сделаны из решеток и сеток, то вся тюрьма просматривается и снизу доверху... Тюрьма пуста, но совершенно цела: ни одна бомба не попала в нее, хотя примыкающий к тюрьме суд и расположенные рядом с ней здания прокуратуры и следственной части разрушены. В тюрьме до 1 000 камер, здесь сидело много тысяч заключенных — подсудимых. Камеры и одиночные, размером 2,5 на 3,5 метра, и общие. Они были переполнены. Гитлеровцы внутренними переходами водили арестантов из камер к следователям, где пытками у них вымогали признания, затем их возвращали в камеры, а отсюда, также по внутренним ходам, препровождали в здание суда, где им и выносился приговор. Особенно «важных» отвозили в так называемый «народный суд» на Белльвиюштрассе, 18. В Моабите казни не совершались. Осужденных отсюда увозили в тюрьму Плетцензее и другие тюрьмы.

В коридорах и камерах валяется немецкое военное обмундирование. Немецкие солдаты и офицеры 1 и 2 мая переодевались в штагское. Много мундиров эсэсовцев...

В тюремной больнице лежат бывшие заключенные: излечиваются от побоев и истязаний. Чех Алоис Горн был арестован в Праге 26 июля

1944 года — за то, что выразил сожаление о неудаче покушения на Гитлера. Француз Марсель Аас был арестован в Бордо в 1942 году как участник сопротивления. Голландец Ян ван Беер, эльзасска Мари Эйккер, немка Гертруда Бесмер... Они лежат на больничных койках: так как подверглись пыткам и истязаниям. Но им повезло: гитлеровцам не успели положить их под нож гильотины...

Нам показывают документ, подобного которому не могла бы изобрести самая извращенная фантазия самого изощренного садиста. На казенного образца конверте адрес:

«Наследникам Густава Блейер: Фрау Блейер».

На первой странице:

Слева: «Судебная касса Моабит». Справа: «Касса открыта от 9 до 13 ч. 26.9—44».

Текст:

«Предлагается в течение недели уплатить нижеуказанные издержки в размере 838 рейхсмарок 44 рейхспфеннигов».

Далее следует указание на штраф за неуплату.

На обороте:

«Счет за расходы по судебному делу Густава Блейера, осужденного за подрыв военной мощи».

Бухгалтерские графы:

Выполнение смертной казни	300
Транспортные расходы	5.70
Почтовые расходы	—12
Стоимость содержания в тюрьме за 334 дня	
по 1.50	532.50
Порто	—12

Всего . . . 838 . 44.

Комментировать такой документ я не умею..

17 мая. Поездка в Цербст, бывшую столицу Ангальт-Цербстского княжества. Едем по автостраде 25 метров ширины. Полотно дороги разделено в середине насаждениями, приподнятыми над уровнем проезжей части сантиметром на 30. Вся автострада лежит на насыпи, местами возвышающейся на 15—20 метров над местностью. Никаких пересечений с другими дорогами. Въезд и выезд — только в специально устроенных пунктах, через 3—5—10 километров один от другого. Автострада не проходит ни через один населенный пункт, и это придает ей мертвенность. Искусственная пустыня посреди густо населенной страны...

Цербст — небольшой, утопающий в зелени старинный городок. Здесь родилась Екатерина II. Дом не сохранился, на его месте выстроен в XIX веке герцогом Ангальт-Цербстским новый дом, о чем и сообщает мемориальная доска.

Дряхлый хранитель местного музея говорит о прошлом Ангальт-Цербста, одного из многочисленных крохотных «государств» Германии.

Старичок — и сам живая история: он жил во времена Бисмарка, франко-прусской войны, образования империи, ее гибели. На его глазах возникла «третья империя», пошла войной на весь мир — и полетела

и пропасть... Несмотря на свой более чем преклонный возраст, смотритель сохранил темперамент и саркастически говорит:

— Гитлер был круглым невеждой в истории. Он назвал свою империю «третьей»... А почему? Потому что он считал первой империей — империю Бисмарка, второй — Веймарскую республику, а свою — третьей. Чудовищный невежда...

Цербст, как и все города к западу от Берлина, не пострадал от войны. Старичок спрашивает о Берлине, ужасается и говорит:

— Нужно в курс школьного обучения истории ввести экскурсии детей на развалины Берлина. Пусть видят и запоминают, к чему привела безумная мечта.

18 мая. Кеппеник — обширнейший район Берлина. Кеппеник был отдельным городом, играл роль крепости на подступах к Берлину с юго-востока. Во время кампании 1760 года пруссаки в Кеппенике тщетно пытались прикрыть Берлин от армии Чернышева. Теперь Кеппеник — часть «Большого Берлина».

Комендатура и новый магистрат энергично восстанавливают жизнь района. Уже дан свет в дома и на улицы. Работает водопровод. Пущена одна линия трамвая. Действуют 32 предприятия: пивной завод, мясокомбинат, кофейная мельница, три механических прачечных, завод автоматических весов, завод лакокрасок, механические мастерские, типография и другие предприятия.

Заседания магистрата в помещении школы. Доклад о снабжении по новым карточкам. Острый спор: давать ли карточки бывшим членам партии? Члены магистрата горячо доказывают, что нацистам, даже рядовым, ничего давать не нужно... Замполит коменданта разъясняет, что бывших нацистов нужно привлекать к тяжелым работам по уборке развалин, расчистке улиц, но снабжать необходимо всех на основании установленных категорий.

Дачная местность Рансдорф входит в Кеппеник. Овощная лавочка. Ее владелица рассказывает, что возобновила торговлю позавчера, а до того лавка была два года закрыта, и она ходила по улицам с ручной тележкой. Теперь-то, наконец, удалось вернуться на свое насиженное место.

Молочная. Владельцы — супружеская пара. Он благодарит сопровождающего нас коменданта Рансдорфа за то, что комендатура отпускает двадцать литров молока для детей района.

Кладбище. Крест. На нем: «Warum? 24.IV—45». Под ним — братская могила: похоронены немцы — жертвы уличных боев в Берлине. Кого же, как не себя, могут спрашивать немцы, почему они позволили Гитлеру вести бессмысленную борьбу?

В районной комендатуре военный прокурор рассказывает, что немцы, узнав о существовании советской прокуратуры, осаждают ее; у всех жалобы друг на друга. Особенно много заявлений о кражах, совершенных одними немцами у других во время уличных боев в Берлине. Приходили к прокурору уголовники, вышедшие из тюрем, с просьбой предоставить работу... Поступают сообщения о скрывающихся нацистских деятелях.

Комендант показывает красное знамя с надписью: «Рот фронт.

16 отдел, Кеппеник». Оно двенадцать лет пролежало в матрасе, его сохранили бывшие комсомольцы.

19 мая. Берлинская Ратуша разрушена. Новый магистрат обосновался в здании берлинского страхового общества, неподалеку от Ратуши на Парохиальштрассе, рядом с одной из церквей Берлина — Парохиалькирхе. Церковь, как и все вокруг, разрушена. Но дом страхового общества уцелел, хотя в нем нет почти ни одного стекла, крыша сорвана в нескольких местах, в коридорах провалы, через которые приходится перебираться по доскам, а в зале заседаний стены от взрывов в углах разошлись, и небо заглядывает в зал...

В зале собралось около четырехсот человек на открытие берлинского магистрата: районные бургомистры и члены районных магистратов, деятели науки и искусства.

Над эстрадой протянут плакат:

«Антифашистское единство — залог возрождения немецкого народа».

Бургомистр Кеппеника, указывая на плакат, говорит:

— Его принесла сюда Красная Армия, и ее кровью написаны эти красные буквы...

Ровно в два часа за столом президиума появляются генерал Берзарин, обер-бургомистр Берлина Вернер, его заместители и члены магистрата.

Берзарина встречают овацией. Вернер открывает заседание, приветствуя генерала Берзарина и в его лице командование Красной Армии.

— Мы обязаны, — говорит он, — глубокой благодарностью Красной Армии и армиям американцев и англичан за то, что они освободили нас от тирана, превзошедшего Чингис-хана. Мы хотим построить демократическую республику. Наши обязательства велики. Сегодня вокруг нас только враги. Добьемся того, чтобы они стали нашими друзьями. Мы, живущие в сердце Германии, не пожалеем никаких усилий, чтобы создать страну свободы, права и мира.

Речь Вернера покрывается бурными аплодисментами. После него выступают его заместители — доктор Термес, Марон, члены магистрата Винцер, Гешке и другие. Они благодарят Красную Армию и советское командование, которые немедленно по окончании вооруженной борьбы приступили к воссозданию нормальной жизни в Берлине.

Генерал Берзарин произносит большую речь о задачах берлинского самоуправления. Он призывает всех берлинцев к честному труду для разрешения насущных задач:

— Советское правительство уже оказало Берлину огромную продовольственную помощь. 25 апреля я со своими войсками только вступил в Берлин, немецкие войска ожесточенно сопротивлялись. И в этот день я получил от маршала Сталина указание об организации подвоза продовольствия для населения Берлина. (Аплодисменты.) Сейчас маршал Сталин каждый день интересуется вопросами жизни Берлина. Я хочу верить, что население Берлина поможет мне и обер-бургомистру в наведении порядка и восстановлении нормальной жизни в городе. (Бурные аплодисменты.)

Заседание закрывается.

...Доктор Вернер — беспартийный, шестидесяти с лишним лет от роду, инженер и архитектор. Десятки лет работал на руководящих

постах в этой отрасли. Создал в Берлине высшее учебное заведение для подготовки инженеров. Гитлеровцы закрыли его в 1942 году за неблагонадежность. Вернер сидел в тюрьме.

Он охотно соглашается выступить у микрофона, назначает время и просит сверить наши часы для точности.

— Извините,— говорит он,— но, увы, у меня теперь других часов нет,— и вынимает из портфеля небольшие настольные часы.

В комнате прессы, где переписываются стенограммы, к корреспонденту у ТАСС-Б. Афанасьеву обращается молодой немецкий журналист: — Вы не узнаете меня?

Он напоминает: Украина, Сталино, осень 1941 года. В русский штаб приводят только что захваченного в плен немецкого летчика, который сел на советском аэродроме. Афанасьев был первым офицером, который говорил с этим немцем,— и этот немец теперь стоит здесь, в Берлине, перед Афанасьевым. Он работал как активный антифашист, теперь сотрудничает в немецкой газете...

20 мая. Воскресенье. Первый день Троицы, весьма чтимого немцами праздника. Звонят церковные колокола в пригородах Берлина, где церкви уцелели. Пришедшие люди из церквей направляются в парки и сады, на устроенные районными магистратами гулянья.

Прогулка в машине по Берлину. Его вид сильно изменился за восемнадцать дней с момента капитуляции.

Бранденбургские ворота ремонтируются. На Фридрихштрассе расчищен проезд. Но в метро еще стоит вода. Против входа в метро на Фридрихштрассе внимание привлекает вывеска: «Ресторан «Центр». Дом сильно поврежден взрывом. Входим. Полутемный зал, столики... Посетителей нет. Выбегает навстречу директор и рассказывает. Здесь находилось одно из отделений известной берлинской фирмы «Ашингер». Заведующий этим отделением решил возобновить его работу, собрал часть персонала, раздобыл ненормированные продукты и 14 мая открыл двери... В течение трех-четырёх часов расходится 2000 порций; суррогатное кофе, суп, бульон из кубиков — все, конечно, без хлеба и сахара... Директор показывает на плакат, висящий на стене зала:

«Этот ресторан открылся первым после окончания войны».

Название «ресторан» весьма мало подходит к помещению. Но можно не сомневаться, что в будущем плакат будет заключен под стекло в роскошную раму,— «гешефт» сделан прочно. Это — не шутка: первый открывшийся после войны ресторан!

21 мая. Приц-Альбрехтштрассе — короткая улица в центре Берлина. Она пересекает Вильгельмштрассе и Заарландштрассе, расположена сбоку от шумных городских артерий, она — в затишьи... Очевидно, это и прельстило Гимmlера, когда он избрал выстроенное в начале XX века здание музея по истории костюма для размещения Гестапо!

На фронтоне дома № 8 две огромные символические фигуры. Слева — рукодельница, справа — скульптор-резчик... Под сенью муз расположился Гимmlер! Рядом — здание музея этнографии, и галерея на уровне второго этажа соединяет его с расположенным во дворе зданием, где находилась некогда библиотека. Гимmlер устроил в нем самую страшную из своих тюрем — «Колумбию», соединенную внутренним, незаметным

снаружи, ходом с Гестапо, а галерея, ведущая в музей, была заделана

Внешний вид Гестапо очень неказист. Окна заложены кирпичом, оставлены крохотные оконца, в них выпущены трубы «буржук». Стены исцерблены осколками, пробиты пулями. Вывески, ранее висевшие у входа, сняты, а дверь сорвана. На мостовой — сгоревший немецкий транспортёр, обломки оружия, камни, кирпич. Камнями и обломками засыпан и вестибюль; в нём бронированный переносный колпак, охранявший вход в дом. На полу валяются фаустпатроны. Из вестибюля открывается вид на разрушения внутри здания. Бомба прошла ниже крыши, которая уцелела, и уничтожила парадную лестницу и середину здания.

В этом хаосе осталась в неприкосновенности большая деревянная доска, висящая в вестибюле на стене слева от входа, позади бронированного колпака. На доске написано крупными буквами: «Государственная тайная полиция».

Далее следует перечисление номеров комнат по этажам, но без обозначения отделов, в них расположенных, и адреса вспомогательных зданий — за углом, на Вильгельмштрассе: 99, 100, 101, 102.

Раньше чем войти в Гестапо, уясним структуру дьявольского ведомства обер-палача Гиммлера. Он был рейхсфюрером СС, министром внутренних дел, шефом немецкой полиции. Полиция делилась на полицию безопасности и полицию порядка. Последняя — это обычная, наружная полиция. Полиция безопасности делилась на государственную тайную полицию — это и есть Гестапо — и полицию уголовную. Кроме того, уже во время войны создана «служба безопасности» (СД).

Важнейший отдел гиммлеровского аппарата — «Главное управление государственной безопасности» («Рейхсзихергайтсгауптамт»). Начальником управления и начальником всей полиции безопасности и СД был первый заместитель Гиммлера обер-группенфюрер СС и генерал войск СС Эрнст Кальтенбруннер, бывший австрийский адвокат, специализировавшийся на шантажировании своих клиентов. Начальником собственно Гестапо был группенфюрер Мюллер. В составе Гестапо было несколько отделов, и среди них отдел IVA — во главе с штандартенфюрером Хупенкоттен. Это главный отдел Гестапо, нечто вроде контрразведки.

Итак, мы в Гестапо. Нижний этаж (эрдgeschoss). Комната электромонтеров, комната шоферов, пустые, засыпанные обломками. Второй этаж (первый, по немецкому счёту) — канцелярские помещения, пустые, почти без мебели, а та, что осталась, в беспорядке разбросана. Третий этаж — та же картина разгрома и запустения. Длинные коридоры, поворачивающиеся под прямыми углами. Двери, двери, двери... За ними теперь — брошенные, разрушенные комнаты. Но ещё недавно здесь были важнейшие отделы Гестапо, в частности и отдел IVA. Четвёртый этаж (третий, по немецкому обозначению). По коридорам гуляет ветер. Он врывается через проломы в крыше и в стенах, сквозь разбитые, вырванные окна. Он вздымает пыль, обрывки бумаг, проносится белым вихрем...

Сорванная с петель дверь прислонена к стене. На ней № 318. Большая комната в пять окон. На стене — портрет Гиммлера, в пенсне, скрывающем его оловянные глаза, с улыбкой на тонких губах. Голова чуть склонена набок. На большом письменном столе — внутренний ком-

чутатор для самостоятельного соединения, много телефонов. Стол покрыт густым слоем пыли. На полу валяются телетайпы. На стене трубы пневматической внутренней почты. Большой запертый сейф у стола. Горой, еще больший сейф, во всю стену, — у поперечной стены, рядом заложеной дверью, она ведет в часть здания, разрушенную бомбой. Этот сейф не заперт. Медленно раскрываются обе дверцы — перед нами (маленькая карта Европы! Ее оберегали от посторонних взоров в стальной оболочке. Теперь на ней нет никаких обозначений, нет даже и следов прежних обозначений. Своей чистотой она резко контрастирует с захламленностью комнаты 318, всего здания Гестапо. Вероятно, Гиммлер и его люди на эту карту наносили свою сеть, свою паутину...

Через две комнаты отсюда — картотека. Большие, но невысокие шкафы со специальными ящичками. В них тысячи и тысячи карточек. Это картотека тех, за кем шпионило Гестапо, кого проследовало.

На многих карточках прослежена деятельность данного лица шаг за шагом, на протяжении многих лет.

Следующая комната. Высокие шкафы с досье — за много лет собраны систематизированные дела, которые были в производстве и разработке Гестапо. Вот десятки папок с надписью «Марксизм», — в них материалы о КПГ и социал-демократической партии. «Профсоюзы», «Террор», «Буржуазные партии» и т. п.

В соседней комнате дела свалены прямо на полу. В одном углу — «взятые в плен» листовки — советские, английские, польские. «Вести с советской родины», «Москва, 1 мая 1943 г. Приказ товарища Сталина...» Я подымаю этот листок — замечательную реликвию героических лет.

Сворачиваем в другой коридор. Здесь разрушения основательные. Наружная стена комнаты вырвана. Большой стальной сейф исковеркан и взломан взрывной волной. Бумаги усеивают пол. Соседняя комната пострадала меньше. Дверь в третью комнату завалена, так что с трудом удастся в нее проникнуть. И здесь сейф взломан взрывом. В нем два огромных чемодана с фамилией и чином владельца. По этим чемоданам, по документам на столах, по бумагам, валяющимся на полу, видно, что здесь были помещения «SK.20.7—44—VIII». В документах находим расшифровку: «SK.20.7—44» — это «зондеркомиссион», — особая комиссия 20.7—44; Гиммлер создал ее для расправы со всеми участниками покушения на Гитлера, со всеми прикосновенными к нему, заподозренными и просто нежелательными людьми...

Чемоданы принадлежали СС-штурмбаннфюреру, следовательно «SK» Стависскому, который бежал так поспешно, что не успел захватить заранее припрятанных на этот случай чемоданов. Сидел в одной из этих комнат и штурмбаннфюрер Ланге, судя по документам, один из основных деятелей «SK»...

Списки арестованных — сотни и сотни имен в каждом списке, схемы «преступных связей», содержащие десятки имен, допросы и показания. «SK» работала лихорадочно, она хватала людей десятками тысяч...

Уже 7 августа Ланге представил к награждению орденами семерых своих сотрудников за то, что они «не покладая рук, день и ночь рьяно трудились над раскрытием изменнического заговора кучки генералов»...

На полу поднимаю четвертушку бумаги. На ней напечатан документ который исчерпывающе характеризует Гестапо.

Ланге пишет, совершенно секретно, на бланке «зондеркомиссион 20.7—44», начальнику концлагеря в Равенсбрюкк, СС-штурмбанифюреру Зурен (он известен своими зверствами над заключенными):

«Находящийся в вашей тюрьме заключенный, числящийся за SK. 20.7—44, на основании приказа рейхсфюрера СС должен быть незаметно казнен. Личное дело из SK. 20.7—44 препровождается. Его личные вещи должны быть уничтожены. С сообщением о выполнении приказа прошу в данном случае повременить». Подпись: «Ланге».

Так расправлялись со своими жертвами, не называя их имени. Для убийства было достаточно простого приказа Гимmlера.

Часть этажа в противоположном конце здания. Из окон виден огромный двор Гестапо. Комната, по всему судя, была преддверием к кабинету Кальтенбруннера. Два письменных стола составлены вместе, много телефонов, пишущие машинки, на полках — справочники. Здесь сидели секретари. На столах пыль, куски штукатурки и сорванные с плеч черные погоны СС, шевроны, планки с орденскими ленточками, большой черный кинжал офицера войск СС. Какой-то адъютант — если и не сам «чин» — бежал, поспешно срывая с себя форму. Кинжал смазан и отточен. На лезвии выгравирован девиз: «Моя честь — в моей верности». Это личный девиз Гимmlера. О его «верности» Гитлеру неплохо отозвался в своем дневнике Борманн...

Один из документов, валявшихся в этой комнате, секретное распоряжение Гимmlера всем органам полиции и СС: на основании приказа фюрера проверять документы у всех без исключения чинов вооруженных сил и войск СС — для выяснения, не разыскивается ли данный военнослужащий по обвинению в государственном преступлении, или не скрывается ли под военной формой враг государства.

Гимmlер и Гитлер огулом заподозрили всех своих «верных» солдат и офицеров!

На сегодня хватит! Афанасьев, Сухин (корреспондент ТАСС) и я едем в варьете.

22 мая. Опять в Гестапо. Осмотр подвала. Здесь были подземные кабинеты и рабочие помещения. Теперь в них темно, грязно. По полу и по стенам тянутся перепутанные, оборванные провода. Вот тщательно изолированное крохотное помещение — кабинет Гимmlера; за перегородкой была его спальня. Оно замаскировано. Табличка на двери: «Вход воспрещен. Лечебное помещение». Для «достоверности» — изображен красный крест.

Во дворе — бункер. Это на три метра возвышающееся над землей подземное убежище длиной в 30 метров, шириной в 10. В нем оборудованы электростанция, вентиляционная станция, телефонный коммутатор, телетайпы. Внутри все выгорело, — вероятно, гестаповцы сами подожгли подземное отделение Гестапо, в котором в последние месяцы проводили больше времени, чем в главном доме.

Во дворе стоит смрад от плохо закопанных, торчащих из земли трупов.

К этому дому примыкает корпус бывшей библиотеки, обращенной в тюрьму «Колумбия». Входим в нее со двора. В нижнем этаже — камеры-одиночки. Через них прошли тысячи и тысячи жертв, и немногие, вы-

равшиеся на свободу, поведали миру о пытках, истязаниях, мучениях, которые Гиммлер со сладострастием садиста творил в этой тюрьме. Но внешне она выглядит мирно. Устраивая камеры, гиммлеровцы во многом сохранили облик обычного дома. Одиночные камеры — высокие, светлые, с большими окнами, на которых висят синие бумажные домашние шторы.

Такой же вид имеют и камеры во втором этаже, рассчитанные на несколько человек каждая. Нет тут и никаких орудий пыток. С внешней стороны — все очень пристойно... Но тем страшнее были изощренные приемы, к которым прибегали гестаповцы, чтобы принудить свои жертвы к показаниям, нужным для Гестапо! Гиммлер и здесь улыбается со стен. Его отвратительное лицемерие воплощено и в этой страшной тюрьме «Колумбия»...

В одной из камер на полу валяется книга «Сказки» Пушкина, изданные Детиздатом в 1937 году, со штампом школьной библиотеки в Горьком. Как попала сюда эта книга?

В другой камере на нарах лежит записная книжка какого-то немца. Из ее содержания видно, что владелец был крупным деятелем военной промышленности, — вероятно, одна из жертв террора «СК. 20.7—44».

Из третьего этажа коридор ведет прямо в Гестапо, к комнатам, где находилась и «СК». По этому пути прошли тысячи и тысячи жертв в немногие последние месяцы гитлеровского режима. Из тюрьмы их приводили к следователям, вроде Ланге. За несколько дней он изготавлял «обвинение» и вместе с «обвиняемым» препровождал в так называемый «народный суд», который штемпелевал смертные приговоры. В комнате Ланге, в его столе, я нахожу списки арестованных, дела которых вел Ланге в декабре 1944 и в январе 1945 годов, и списки дел, направленных в «народный суд», с расписанием дней слушания. И тут же лежит еще один документ. Штабс-артенфюрер Хуппенкотен, начальник отдела IVA, запрашивает Ланге, на каком основании «народный суд» нескольких из этих обвиняемых приговорил только к тюремному заключению, а не к смерти, а нескольких — оправдал. «СК» не выпускала из своих когтей никого. Эти дела были пересмотрены...

Внимательнее осматриваю письменный стол Ланге, обнаруживаю в нем личный архив, фотокарточку, почтовые марки, которые он собирал, рецепты на лекарства, донос на него... С фотографии глядит физиономия, как нельзя более типичная: тупое лицо, бычий взгляд, тяжелый подбородок, шрамы на щеках. А со страниц документов встает и «духовный» облик Ланге: вор и мародер, садист и истязатель, пьяница и трус.. В конце 1944 года начальник II отдела направил к начальнику IV отдела копию доноса на Ланге, который во время тревог пьянствует с женщинами в бомбоубежище, пользуется казенной машиной и услугами сотрудниц для доставки вина, а на все замечания отвечает: «Я — эсэсовец и знаю, как себя вести. А если вам не нравится, жалуйтесь...»

На Ланге пожаловались. Эта жалоба пришла... к нему же; и он ее похоронил в своем столе.

В декабре 1944 года Ланге «заболел», врач выдал ему справку, что он нуждается в срочном отпуске для лечения. Ланге почувал, что дело идет к концу, и спешил заблаговременно скрыться... Последние по датам

документы, найденные в его столе, относятся к первым числам февраля. Что было с ним дальше, неизвестно.

Из ящиков письменного стола вынимаем наручники. Они особой конструкции — некоего Августа Шварца, который поставил на них свое имя и номер своего патента. Наручники сделаны из легкого, но очень прочного алюминиевого сплава. Особенность их конструкции в том, что они запираются без замка, но открыть их без ключа невозможно. К тому же охватывающее руку металлическое кольцо может все время сжиматься; если закованный в наручники будет неосторожно двигать руками, то наручники будут все туже стискивать его запястье. А следовательно может пользоваться этим для пытки. Такие наручники мы нашли только в столах следователей, а в тюрьме обнаружили обычные наручники: два стальных кольца, соединенных цепью. Несомненно, что этими наручниками пользовались только во время допросов. В столе Ланге лежало и специальное приспособление для пытки: цепь, которой обвивается рука, и нечто вроде винта, чтобы туже и туже закручивать цепь.

Неподалеку от Гестапо, на Заарландштрассе, — большое, новой постройки, здание министерства труда. Оно сгорело. В нижнем этаже была большая библиотека. Теперь в нее можно войти с улицы прямо через стены. На стеллажах стоят книги, но чуть дотронешься до них, они разлетаются мельчайшим пеплом. Сгорая, они сохраняют свою форму! Тысячи книжных трупов заполняют десятки стеллажей в большом зале.

23 мая. Рассматриваю книги, которые Гиммлер издавал как рейхсфюрер СС и «имперский комиссар по укреплению немецкой нации».

«Рассенполитик» — так называется «учебник» для эсэсовцев по курсу «расовой политики», то есть политики порабощения и уничтожения всех народов, не принадлежащих к «нюрдической расе господ».

«Мы, немцы, хотим стать народом господ. Еще никогда в истории мы не чувствовали к этому такого призвания», — писал центральный орган Гитлера «Фелькишер беобахтер». Эта цитата воспроизведена в гиммлеровской «Рассенполитик»... В конце учебника помещено описание тем и часов занятий, а также список литературы.

Соль всей премудрости — в последней главе. СС — это орден наиболее чистопородных «северных людей». СС обязаны производить только чистокровных детей. Поэтому, на основании приказа Гиммлера еще от 1931 года, эсэовец имеет право жениться только с разрешения специального расового управления СС. Гиммлер старательно выводил «расу» человекоподобных извергов в черной форме, с костями и черепом на кокарде.

Гиммлер для СС и их семей к Рождеству выпускал сентиментальные хрестоматии. Вот, к примеру, хрестоматия 1943 года. На синей обложке изображено традиционное елочное украшение — ветка с яблоками и зажженными свечами. Книга открывается предисловием Гиммлера, который сообщает женам, матерям и детям эсэсовцев, что «огни на зеленых ветвях перекидывают мосты к сердцам...»

В плаксиво-душещипательном стиле составлена вся хрестоматия из рождественских рассказов, стишков, песен, изречений, состряпанных присяжным поэтом Гитлера — Йостом и прочими.

Гиммлер, организатор Майданека, Освенцима, Бухенвальда, данцигских фабрик по переработке трупов на мыло, Гиммлер,— со стен Гестапо нежно, даже застенчиво улыбающийся своим жертвам,— был воплощением той сентиментальности, которая является неизменным спутником немецкой холодной, машинной жестокости.

В деревнях, в провинциальных городках, в Берлине, в квартирах разных людей я видел альбомы с фотографиями кошек и котят, портреты собак... Одна старуха под Берлином живет в домике вдвоем со старой собакой, и вся квартира увешана и уставлена фотографиями собаки всех периодов ее жизни. В другой квартире в Ландсберге, я нашел много альбомов, страницы которых были заполнены снимками домашней кошки во всех видах и позах, какие только мог придумать тот, кто делал эти фото! Гиммлер тоже любил кошек...

Англичане сообщили, что Гиммлер отравился в ночь на 22 мая. Мы судили по Гестапо как раз тогда, когда его творец доживал свои последние часы.

На улицах Берлина расклеено постановление магистрата о регистрации и мобилизации на работу всех членов НСДАП, СА, СС, Гитлерюгенд, Фрауэнфронт и прочих нацистских организаций.

24 мая. Переехали из Уленгорста в Каролиненгоф. Дачный пригород, входящий в «Большой Берлин». Живописное озеро, лес, виллы, принадлежащие более состоятельным людям, чем в Уленгорсте: здесь живут средние и крупные торговцы, промышленники, фабриканты. Наш дом принадлежит некоему Мюллеру, оптовому торговцу мылом и соответствующими товарами. Его «дело» в Берлине разбомблено, он торговал остатками товара в своей даче, но теперь нет и этой торговли. Мюллер, лет пятидесяти, хромой на правую ногу (был на войне в 1914–1918 гг.), копается в саду и огороде вместе с квартирантом Крамером, высоким, сильным немцем, выглядящим значительно моложе своих сокока восьми лет. Он — железнодорожник. Но линия пригородной дороги не работает, станция, на которой он служит, бездействует, и Крамер с рассвета до позднего вечера поливает цветы и овощи, подстригает кустарник, выпалывает траву.

Крамер живет у Мюллера потому, что его дача в этом же Каролиненгофе забрана в начале года и отдана какому-то «п. г.»— активному нацисту, потерявшему свой дом в Берлине во время сильного налета 3 февраля. Здесь, в Каролиненгофе, жители наблюдали, высовывая головы из погребов, как 3 февраля утром, часов около десяти, несметное количество «летающих крепостей» прошло над ними. И вскоре над Берлином начали вздыматься столбы пламени, земля загудела и задрожала, непроницаемый дым заволок горизонт...

В это утро 3 февраля в Берлине были разрушены тысячи зданий, сильно пострадали имперская канцелярия, партийная канцелярия, квартиры Гитлера. Крамер рассказывает и о другом налете: 30 декабря прошлого года, в Кельне, погибли его мать, сестры, братья, племянники. Он ехал на свидание с ними; когда поезд приблизился к Рейну, пассажиры увидели тучи самолетов, летящих бомбить Кельн. А когда Крамер попал в горящий город, то узнал, что от дома остались только развалины, под которыми погребены его родные... Долго будет Германия помнить Гитлера и его войну!

25 мая. Андреас Штольпе, шестидесятипятилетний гравер-пографист, родившийся в России, но эмигрировавший в Германию в 1905 году. Он не забыл русский язык, работает теперь переплетчиком. Он рассказывает о июльских днях прошлого года, когда взорвалась бомба Штауфенберга и не удался заговор Бека — Герделлера других.

Широкая публика в Берлине, если не догадывалась, то предчувствовала, что должно что-то совершиться; в воздухе носились неуловимые смутные намеки на предстоящие важные события. Весть о бомбе и смерти Гитлера мгновенно разнеслась по Берлину. Многие вслух выражали свое удовольствие, за что быстро заплатились. Вечером берлинцы узнали, что Гитлер жив, а ночью они услышали по радио его речь. По словам Штольпе, многие были замешаны в заговоре, но не успели себя обнаружить, так как заговор провалился немедленно. Поэтому Гиммлер и хватал людей направо и налево. Даже при беглом просмотре нескольких списков арестованных в Гестапо мне бросились глаза фамилии графа Мольтке, графа Бернсторфа, фон Фалькенгаузен, князя Фуггера, фон Гарнака, Гермеса, Ландвера, Густава Носке, фон Путткамера, Винтерфельда, Дельбрюка, Франца Гальдера, графа Гарденберга и многих других представителей старой знати и генералитета крупных политических деятелей буржуазного происхождения, консервативных и умеренных взглядов.

Несомненно, что Гиммлер планомерно истреблял всех тех, кто хоть в малейшей степени мог бы заменить гитлеровскую клику у власти!

О терроре рассказал мне сосед по вилле, Отто Вольф, фабрикант богатый человек:

— Я, мой старик-отец, побывавший в 1914 году в плену в России, мои друзья — это круг деловых людей. Мы, деловые люди, уже в конце 1942 года поняли, что война Гитлером проиграна. Но мы о политике только думали, а не говорили. Когда приходили гости, мы предлагали им коньяк и садились играть с ними в скат. О политике — ни слова. Все равно Гиммлер узнал бы...

Отто Вольф — толстый сангвиник, ему 51 год. Слова он сопровождает звукоподражанием и жестами, — не столько для большей понятности, сколько для того, чтобы дать выход переполняющей его энергии. Он говорит:

— У меня была отличная машина — фиат, по специальному заказу, — и делает губами «ту-ту-ту», показывая руками, как он крутил «баранку».

У него в Каролиненгофе прекрасная вилла, хороший сад, отличная обстановка. Он совладелец и директор фармацевтической фабрики, производящей патентованные лекарства. Фабрика, по его словам, давала до войны продукцию на миллион марок в год. Теперь фабрика не работает, но уцелела от бомб и снарядов. Вольф осмотрел ее, собрал рабочих и служащих: они приводят в порядок помещение и территорию фабрики, готовятся к возобновлению производства, когда будет восстановлено водо- и электроснабжение. Запасы сырья на фабрике имеются.

26 мая. В Радиодоме наш комментатор М. О. Мендельсон нашел архив отдела вещания на английском языке, во главе которого стоял

Дитце, а основным комментагором был небезызвестный «Лорд Хау-Хау» — У. Джойс, сбежавший из Англии в 1939 году, секретарь Мосли, главаря английских фашистов-чернорубашечников. Джойс захватил с собой кассу «партии» Мосли и секретаршу, оставив в Англии жену и детей. В Берлине он немедленно поступил к Геббельсу как радиокомментатор. На отличном языке, с оксфордским произношением, он убеждал англичан, что Гитлер победит и что Англия погибнет, если не прекратит войну... Долгое время никто не знал, кто скрывается под псевдонимом «Лорд Хау-Хау». Но однажды покинутая Джойсом жена услышала этот голос и воскликнула: «Это мой муж!» Так был раскрыт секрет. Вскоре в Англии вышла книга памфлетных портретов гитлеровской шайки, и одна глава была посвящена Джойсу. Среди найденных теперь в его комнате бумаг обнаружена фотокопия этой главы, ее Джойсу подарил Дитце и на полях памфлета написал: «От Мефистофеля — Фаусту...»

Измельчали Мефистофели и Фаусты у немцев!

Дитце в докладной записке на имя Геббельса в конце 1942 года предложил наградить Джойса орденом. Геббельс в резолюции указал, что это делать нецелесообразно, а предпочтительнее наградить Джойса деньгами, втихомолку, без шума...

О настроениях в Берлине в последние месяцы 1944 года говорит надпись на книге, найденной в столе Джойса. Кто-то из сотрудниц поднес Джойсу к Рождеству 1944 года книгу Геббельса «От Кайзергофа до имперской канцелярии» — политический дневник 1932 и первой половины 1933 годов.

На книге дарительница сделала надпись: «Рождество 1944 г. Последнему из римлян и благороднейшему из них (по-английски). Идущие на смерть тебя приветствуют» (по-латыши). Сознание своей обреченности выражено ясно.

13 января 1945 года «Лорд Хау-Хау» отправился рассеяться в клуб иностранцев, на Лейпцигерштрассе. Он был с каким-то французом. Выпили... Тревога... Они переходят в убежище, состоящее из двух комнат, и располагаются во второй комнате. Джойс начал петь. Очевидно, вел он себя настолько шумно, что в комнату явился немец-дежурный и предложил ему прекратить пение. Джойс начал спорить, спор перешел в драку, и его выставили из убежища. Об этом инциденте было сообщено начальству Джойса, и 16 января он пишет объяснительный рапорт. Он изображает себя жертвой грубого обращения, он заявляет: «Подобное обращение лишает меня бодрости духа, которая столь необходима для продолжения работы в нынешних тяжелых условиях...»

Напивается и дебоширит в убежище Ланге, гестаповец. Напивается и дебоширит в убежище Джойс, пропагандист. Люди Гимmlера и люди Геббельса ведут себя одинаково.

В отделе англо-американского вещания периодически составлялись для Геббельса обзоры морального состояния пленных англичан и американцев. В пухлых докладах Дитце и Джойс тщательно подбирали факты, которые должны были подтвердить Геббельсу наличие у пленных тенденций к примирению, к соглашению с Германией. Такие заявления английских и американских пленных широко распространялись

по радио. Гитлеровцам и во сне и наяву виделись разногласия между союзниками. На это делали ставку и противники Гитлера из оппозиционных кругов, близких к заговору 20 июля.

Гере, майор авиации, арестованный по обвинению в организации антигитлеровской группы, показывал, что в его кружке признавали безнадежность положения Германии, зажатой между двумя фронтами, и видели выход лишь в том, чтобы заключить мир на Западе и бросить все силы на Восток.

28 мая. Книга Геббельса «От Кайзергофа до имперской канцелярии» излагает, в форме политического дневника, события 1932—последнего года перед захватом власти и первых месяцев 1933 года. «Кайзергоф» — отель напротив старого здания имперской канцелярии на Вильгельмштрассе. И «Кайзергоф», и это здание обращены в развалины. Рухнула и «третья империя», рождение которой Геббельс описал в своей книге. Она выдержала к 1942 году тридцать шесть изданий. Это объясняется не только принудительным характером распространения «творений» гитлеровских вождей, но и тем, что Геббельс умел писать демагогически-завлекательно, с точным учетом психологии своей публики. Здесь — все ложь, та самая ложь, которую восхвалял Гитлер: она должна быть настолько чудовищной, чтобы никто не осмелился подумать, что это ложь... Книга имеет форму дневника, но эти ежедневные записки, конечно, сфальсифицированы задним числом. В них чередуются сухие протокольные заметки с лирически-сентиментальными излияниями о жене, о детях, старухе-матери. Почти на каждой странице Геббельс пророчествует о грядущем захвате власти, о неизбежном триумфе Гитлера... В самые мрачные для гитлеровцев дни избирательных провалов, политических неудач он настроен оптимистически. Эти пророчества и оптимизм Геббельсу недорого стоили, — он писал свою книгу после победы Гитлера, а в глазах толпы они окружали автора ореолом мужества и дальновидности... На двух из этих пророчеств любопытно остановиться. «В Берлине распространился слух, — пишет Геббельс под датой 24 апреля 1932 года, — что я умер. Но объявленные мертвыми живут долго». А 6 августа того же года он записал: «Когда мы получим власть, мы никогда ее не отдадим; а если на то пойдет, нас мертвыми вынесут из наших кабинетов».

Таково прорицание Геббельса. Если он ошибся в оценке своего долголетия (прожил только тринадцать лет после ложного слуха о его смерти), то оказался прав в том, что его мертвым вынесли из подземного кабинета.

Вот еще одно пророчество. 2 февраля 1933 года, на четвертый день после захвата власти, восторжествовавшая, наконец, шайка собралась вечером по-семейному вокруг своего «фюрера», который предался воспоминаниям о своей молодости. Геббельс написал по этому поводу: «Так, как мы здесь все вместе сидим, будем до последнего вздоха все вместе и никогда не покинем друг друга; поэтому победа будет нашей вечно...» Если бы поздним вечером 1 мая 1945 года Геббельсу показали эти его строчки, что бы он сказал? Шайка панически разбежалась, каждый думал только о спасении своей шкуры.

29 мая. Спортпаласт — огромный зал в Берлине на Потсдаммерштрассе, вмещавший до двадцати тысяч человек. Гитлеровцы еще до

захвата власти обратили его в свой «форум»: здесь выступал Геббельс, как руководитель берлинской организации, здесь произносил речи и Гитлер. А после захвата власти Спортпаласт стал официальным залом «третьей империи». Когда сталинградская катастрофа завершилась пленением Паулюса и остатков его армий, Геббельс собрал здесь «сливки» берлинской организации гитлеровцев и произнес перед ними речь о «тогальной» мобилизации для создания перелома в ходе войны. Ныне Спортпаласт постигла участь всей «третьей империи» — он разрушен. На его развалинах работают бывшие нацисты; они разбирают обломки стен, рассортировывают кирпичи, укладывают их штабелями...

На улицах появились немцы-полицейские, в форме догитлеровских времен, в типичных касках «шупо». Они набраны из старых полицейских, не служивших при Гитлере, и из молодых антифашистов.

Театры возникают, как грибы. Во всех районах и уголках города работают кабаре, варьете, ревю. Они открылись и на Курфюрстендамм, который хотя и пострадал меньше других улиц Берлина, но выглядит очень ошипанно и жалко. Публика заполняет театральные залы. Как после тяжелой болезни, возвращаются берлинцы к жизни — и попадают в мир развалин; развалины домов, быта, семьи, государства... Хоть на час уйти из этого мира! Люди устремляются в кабаре и варьете.

2 июня. Месяц назад Берлин капитулировал. Только месяц советская комендатура во главе с генералом Берзариним, руководит восстановлением жизни в городе. Сделано очень много! По улицам ходят берлинские, медлительные, соломенно-желтого цвета, трамваи. Они связывают отдаленные пригороды с крайними кварталами центра города. Отсюда до центра ходят двухэтажные автобусы. Действуют линии метро, не полностью, но отрезками: в центре Берлина тоннели все еще заполнены водой. Газ, свет, вода возвращаются в один район города за другим.

В Берлине не менее трех миллионов населения. Чтобы такой огромный и столь разрушенный город не стал жертвой анархии, голода, эпидемий, необходимы не только большие труды, но и огромное умение, такт, находчивость. Советские полковники, подполковники, майоры ежедневно, с раннего утра до поздней ночи, разрешают тысячи таких вопросов, о которых раньше они и не помышляли. Разрешают без «увязки», «согласований», «заседаний»...

Газета «Теглихе рундшау» в передовой «Месяц со дня капитуляции Берлина» пишет: «В тот самый день, когда борьба в Берлине пришла к концу, началось восстановление города и обеспечение населения. На место голода принесла Красная Армия продовольствие изголодавшимся берлинцам. С Красной Армией пришли в Берлин покой и порядок, культурное возрождение и новая радость жизни. Не духом мщенья, но великодушием руководствуется Красная Армия. Но труп уничтоженного нацизма еще распространяет яд. Этот яд опасен, так как грозит свергнуть в новые бедствия жителей Берлина, всей Германии. Враги пытаются в своей неизмеримой гнусности нанести удар жителям Берлина в спину — своими бессмысленными преступлениями».

Газета указывает на помещенное в этом же номере обращение обер-бургомистра Берлина ко всем берлинцам. Доктор Вернер предупреждает каждого нацистского злоумышленника, что он за свои злодея-

ния ответит жизнью, а кроме того, каждый, кто осмелится совершить покушение на советского военнослужащего или на носителя общественных функций, увлечет за собой в пропасть пятьдесят бывших членов нацистской партии.

Воззвание Вернера, переданное по радио и расклеенное на улицах, произвело в городе большое впечатление.

На Шпиттельмаркте длинная очередь дожидается автобуса у конечной станции. Обмениваются мнениями о воззвании обер-бургомистра.

— Детей нужно беречь от наци — говорит пожилой мужчина, по виду чиновник. — Головы наших детей они плотно набили своими идеями.

— Мальчишки в Берлине яростнее других дрались до последнего дня, — говорит седая дама в трауре. — В нашем квартале кучка совсем молодых солдат не сдалась второго мая, когда была объявлена капитуляция, и они все погибли...

Да, проблема очищения от нацизма сознания немецкой молодежи, вплоть до маленьких детей, — одна из труднейших и важнейших проблем Германии.

3 и 4 июня. В связи с ожидаемым прибытием в Берлин союзных главнокомандующих, населению приказано вывесить флаги четырех великих держав. Немцы усердно принялись за работу, окрашивая ткани и сшивая из них флаги.

Немало трудов нужно, чтобы изготовить сложный флаг США с его 48 звездами и 13 полосами. Но проблему нашего флага немцы разрешили легко: спорили с гитлеровского государственного флага расположенный в центре белый круг с черной свастикой — и получили красный флаг. Тысячи таких флагов висят в Берлине, но обмануться насчет их происхождения невозможно: его выдает темное, невыцветшее круглое пятно в самом центре.

Многие немцы таким же несложным приемом хотят изобразить «перестройку».

4 июня. В Берлине на улицах много кладбищ советских воинов. Они ограждены решетками, посыпаны песком. На могилах посажены цветы. Много и одиночных могил — на окраинах улиц, в пригородах.

Большое кладбище расположено в Кеппенике, в конце Бангофштрассе, на площади. Тут нашли вечный покой герои последних уличных боев. Гвардейцы-танкисты пали в момент победы. В центре кладбища поставлен боевой советский танк «Т-34». На любовно украшенных могилах — надписи с именами и фамилиями павших, с датами их геройской смерти...

Они лежат в чужой земле, вдали от родины. Родина никогда их не забудет. Я думаю о том, составлены ли точные списки всех кладбищ наших воинов, расположенных не на нашей территории? А их нужно взять на учет, поставить под тщательную охрану. И еще одно: взамен деревянных красных пирамидок на могилах нужно поставить мраморные памятники. Память о победителях не должна никогда изгладиться!

5 июня. От резиденции Жукова и советской центральной комендантуры протянулись к Темпельгофскому аэродрому линии; подтянутые, блистающие выправкой, прекрасным обмундированием, белыми перчатками, регулировщицы стоят через 15—20 метров. У окон домов, в

воротах теснятся немцы: они хотят увидеть полководцев, которые победили Германию.

На огромном поле Темпельгофа выстроен почетный караул с оркестром, собрались для встречи гостей заместитель маршала генерал армии Соколовский, комендант Берлина Берзарин, другие генералы, представитель политического советника при маршале, многочисленные корреспонденты и фоторепортеры.

В 10 ч. 45 м. над аэродромом появляются гиганты «Дугласы». Сделав круг, они приземляются один за другим. Из первой машины спускаются генерал Эйзенхауэр, Мерфи, политический советник при нем, сопровождающие его генералы и офицеры. Генерал армии Соколовский приветствует Эйзенхауэра от имени маршала, представляет ему генералов. Высокий, чуть сутулый, как все длинные и худые люди, Мерфи на хорошем немецком языке рассказывает, что позавчера вылетел из Нью-Йорка, спрашивает о Берлине, о степени его разрушения. Генерал Эйзенхауэр по нашей просьбе выступает перед микрофоном. Раньше, чем дать согласие, он коротко спросил:

— Для радио, в эфир?

— Нет, для записи.

Он произносит несколько фраз перед микрофоном, который держит наш «англо-американец» — М. О. Мендельсон:

«Это великая честь находиться здесь и лично приветствовать руководителей, командиров великой армии, которая сделала так много, чтобы поставить Германию на колени».

Эйзенхауэр — настоящий солдат, сухощавый, подобрашенный. Лицо еще хранит бронзовый загар Африки. Нос, губы, подбородок очерчены резко и сильно. Глаза острые, внимательные, впивающиеся в собеседника. Он обходит фронт почетного караула, вглядываясь в каждого бойца, потом пропускает караул мимо себя, просит позвать командира караула. Майор Демченко, молодой заслуженный гвардеец, печатая шаг, подходит к Эйзенхауэру, который говорит:

— Ваш почетный караул, ваши солдаты и офицеры символизируют дух победы, которую вы одержали, дух вашей армии!

— Очень рад, — отвечает Демченко, — передам бойцам!..

Эйзенхауэр и его спутники уезжают в ставку маршала Жукова.

В 12 часов прибывает на самолетах французский главнокомандующий Делатр де Тассиньи со своим штабом. Генерал говорит у микрофона:

— Я счастлив, что прибыл в Берлин для встречи с Эйзенхауэром, Жуковым, Монтгомери, и очень благодарен за оказанный мне прием. Обход почетного караула, церемониальный марш. Генерал говорит:

— Как замечательно дефилируют ваши войска!

Соколовский, улыбаясь, отвечает:

— Если бы они не умели так дефилировать, они не прошли бы от Волги до Берлина...

Делатр де Тассиньи смеется:

— О, да, да!

Улыбаясь и приветливо помахивая рукой, он уезжает в автомобиле...

Ждем англичан... Знакомство и беседы с американскими легчи-

ками «Дугласов», на которых прибыли Эйзенхауэр и Делатр. Обмениваясь сувенирами, до которых американцы — страстные охотники. Один летчик вынимает из кармана бумажный сверток, разворачивает его — длинная полоса в два, полтора метра из склеенных ассигнаций.

— У нас — клуб собирателей денег тех стран, где мы бываем. Вот, видите, Исландия, Норвегия, Голландия, Бельгия, Франция, Англия.

Он быстро пробегает пальцами по нескольким десяткам бумажек.

Рубли, трех- и пятирублевки охотно разбираются американцами, которые их тут же прикрепляют к своим свиткам...

Взаимные угощения сигаретами и «Казбеком», фотосъемки в совместных группах, дружеское общение, которое всегда устанавливается между американскими и нашими воинами.

Четверть второго. Над нами появляется самолет, делает круг, улетает. Англичане. Через несколько минут появляется группа «Дугласов», они приземляются, рулят, из переднего самолета выпрыгивает Монтгомери — «Монти», как его называют англичане.

Генерал Соколовский сердечно жмет ему руку и говорит улыбаясь:

— Вы, как всегда, в своем неизменном головном уборе.

Монтгомери смеется, дотрагиваясь до берета. Сказать несколько слов у микрофона он отказывается, замахав руками...

— Я очень сожалею, что не говорю по-русски.

— О, нам легко понимать друг друга и без переводчиков, отвечает Соколовский. — Наши солдаты прекрасно понимают друг друга.

— Да, конечно, но генералам труднее понимать друг друга.

— Они решают более сложные вопросы, — заключает Соколовский этот маленький диалог и, представив Монтгомери наших генералов, направляется с ним к почетному караулу. По окончании церемонии Монтгомери замечает:

— Очень молодые солдаты! Каких возрастов?

— От двадцати пяти до тридцати лет.

Монтгомери выражает свое восхищение замечательной выправкой и выучкой почетного караула и отбывает с аэродрома.

Венденшлосс — живописный пригород Берлина. У самого озера — офицерский клуб. Большой зал продолговатой формы, с дверями, выходящими с одной стороны прямо в сад, а с другой — в крытую галерею.

Посреди зала — большой круглый стол, из имперской канцелярии. Вокруг него, на равном расстоянии, стоят четыре кресла, и каждое окружено несколькими стульями. Позади каждой такой группы — стол для секретарей и технического персонала делегаций. В центре стола четыре флажка — СССР, США, Англии, Франции. Большими национальными флагами украшены колонны по бокам зала. Микрофон и звукозаписывающие аппараты, юпитера, кинокамеры — вся обстановка международной конференции.

В саду собираются генералы, офицеры, журналисты. Из Москвы прибыла большая группа иностранных корреспондентов. Они впервые в заново занятом Берлине. Жадно расспрашивают обо всем: какой паек у немцев, много ли осталось в Тиргартене деревьев, какие рестораны уже открыты, разговаривают ли с немцами наши офицеры...

Появляется в саду генерал-полковник танковых войск Катуков,

вязывается беседа с обступившими его нашими журналистами.

— Мы показали немцам, как нужно водить танки,— говорит Катуков.— Гудериан шел на Москву, да не дошел, а мы пришли в Берлин.

— Катуковская галерея,— говорит кто-то, указывая на грудь генерала. Катуков смеется и рассказывает:

— Вот какой занятный случай у меня был. В Залещиках, в Карпатах, вручал я орден Славы старому брусиловскому солдату. И он сказал: «Товарищ генерал, я получил в 1916 году Георгия в этой самой избе... Да и хзьяйка тут все та же...» И хзьяйка подтвердила!

Приезжает Берзарин. На берегу озера беседуют группы генералов, и каждый — это глава славной, героической истории нашей победы.

Семь часов. Прибывают Жуков, Эйзенхауэр, Монтоммери, Делатр де Тассиньи, советники союзных правительств — Вышинский, Мерфи, Стренг — небольшой человек, неожиданного для англичанина холерического темперамента, с маленькими седыми усиками, в очках.

Жуков приглашает занять места. Фоторепортеры, как стая изголодавшихся волков, набрасываются на делегатов. Они влезают на стулья, становятся на колени, подсовывают аппараты прямо к лицам... Кинооператоры в отчаянии: невозможно снять ни одного общего плана; в объективе — только спины фоторепортеров.

Маршал Жуков приветствует гостей-союзников и приглашает приступить к подписанию декларации о поражении Германии и о взятии на себя верховной власти правительствами четырех союзных стран.

Начинается подписание декларации, текст которой для ознакомления журналистов положен на секретарском столе.

Юпитера потрескивают, кинокамеры жужжат, перья скрипят.

Маленькое замешательство среди секретарей, и Жуков объявляет:

— Текст на французском языке еще не приготовлен, и поэтому придется отложить его подписание на завтра.

Делатр де Тассиньи учтиво приподымается, склоняет голову набок в знак согласия. Жуков объявляет заседание оконченным и приглашает на короткое закрытое заседание, которое и происходит в боковой галерее.

Тем временем из зала круглый стол вынесен, расставлены длинные столы «покоем». Когда все занимают места, Жуков подымает первый тост в честь Эйзенхауэра, поздравляя его с высшей советской наградой с орденом «Победа», которым сегодня наградил союзного верховного главнокомандующего Президиум Верховного Совета СССР.

Эйзенхауэр горячо благодарит и подымает ответный тост за Жукова, за Красную Армию...

Маршал говорит:

— У нас очень мало времени, так как наши гости должны сейчас же улететь, поэтому я вынужден провозглашать тосты один за другим.

Он поздравляет фельдмаршала Монтоммери о орденом «Победа» и говорит:

— Пейте, пейте до конца!..

Монтоммери отвечает тостом, и опять Жуков ласково, но твердо говорит:

— У нас так не полагается. Пейте до дна, до дна...

Он поздравляет Делатра де Тассиньи с высшим военным орденом — Суворова 1-й степени. После ответного тоста Делатра Эйзенхауэр про-

износит прощальный тост, и он, Монтгомери, Жуков, Вышинский делегации покидают зал.

6 июня. Декларация о поражении Германии и о взятии верховной власти в Германии четырьмя союзными державами несколько раз передается берлинским радио, она напечатана и в газетах, расклеенных на улицах.

Старик-парикмахер, открывший «салон» в своей даче, так как его парикмахерская в Берлине уничтожена еще в марте, брест месье под звуки радио, передающего декларацию пункт за пунктом.

— «Капитуляция вычеркнута из немецкого словаря», говорили нам, произносит он после длительного молчания.— Я все потерял там, в Берлине. Двадцать второго апреля еле выбрался из города, когда ваши уже обстреливали мой квартал. Что ждет нас впереди?— Он уныло машет рукой.

В городских кварталах люди толпятся у расклеенных газет, прочитывая декларацию, и молча отходят от стены... Теперь воочию видят они, что принесла им война!

7 июня. Пресс-конференция у маршала Жукова. Иностранные журналисты, неутомимо рыскавшие два дня по Берлину, собрались у маршала, чтобы получить ответы на заданные ему в письменной форме вопросы. В ожидании маршала они делятся впечатлениями с советскими коллегами. Странное дело: их усилия были в основном направлены на то, чтобы найти факты, опровергающие информацию, которую давали наша печать, наше радио о Берлине! Продукты по карточкам за май полностью выданы в Берлине. Американцы высказали на аэродроме, сразу после прилета, какую-то немку, которая пожаловалась им, что не получила по карточкам продуктов...

В таком же стиле протекает работа иностранных корреспондентов в Берлине... Они старательно отыскивают все плохое, отрицательное,— а его в разрушенном англо-американскими бомбами городе более чем достаточно!..

Выходит Жуков, все встают, приветствуют его. С ним Вышинский. Маршал отвечает на вопросы, рассказывает, как было организовано и как протекало заключительное сражение войны, сражение за Берлин. На большой карте он показывает фазы этого исторического сражения.

Корреспонденты спрашивают Жукова вопросами о его биографии, о его семье. Он рассказывает о своем военном прошлом, которое началось еще во время первой мировой войны.

— Женат уже четверть века, имею дочь. Семья приедет сюда, как только это будет возможно...

8 июня. Окончился первый месяц со дня капитуляции Германии. Напав на Польшу, Гитлер 1 сентября 1939 года громко заявил:

— Может быть все что угодно, но только одного никогда не будет: капитуляции...

Гейбельс во время сталинградского разгрома немцев истерически вопил с трибуны Спортпаласта:

«Из немецкого языка навсегда вычеркнуто слово «капитуляция»... Поговорите сегодня с рядовым берлинцем. Он воскликнет:

— Как ужасно, что капитуляция пришла с таким опозданием! Но что сделал этот берлинец для ускорения капитуляции? Ничего!

И вот этого факта немцы в разговорах стараются не касаться! А если разговор заходит, они говорят...

— СС. Гестапо. Гиммлер...

Но все же сознание, что ответственность лежит на всех немцах, начинает проникать в немецкие головы. Проходит первая, чисто животная радость, порожденная окончанием войны. Люди начинают думать о будущем... Как выйти из нынешнего хаоса, как вернуться к сколько-нибудь нормальной жизни?

На эти вопросы отвечают выходящие в Берлине газеты, отвечает работающее уже девятнадцать часов в сутки радио.

И мы, наблюдатели берлинцев с начала уличных боев, видим, как формируется и распространяется понимание того, что нужно совершить крутой перелом. Для немцев начинается период осознания уроков и последствий поражения, период практических действий для коренного переустройства их жизни.

9 июня. Английское радио передало отзвывы о Гитлере и других главарях шайки, сделанные Зеппом Дитрихом, обергруппенфюрером СС, начальником личной охраны Гитлера, его любимцем и другом.

Этот неоднократно награжденный и обласканный «фюрером» вырождок теперь так «благодарит» своего хозяина:

— Вы думаете, что Гитлер пал в борьбе за Берлин, как объявил Денитц? Ерунда! Он никогда не решался выходить из бомбоубежища. Все знали, что он — трус и законченный дурак.

О Геринге:

— Геринг — очень ленив. Клоун. Типичная тыловая свинья...

О Гиммлере:

— Гиммлер старался во всем подражать Гитлеру. Его жажда власти была столь велика, что он не мог насытиться. Он воровал все, что только мог. У всех СС ежемесячно из жалованья вычиталась известная сумма, чтобы Гиммлер мог хорошо жить. У меня удерживали сто пятьдесят марок. Этот прохвост разыгрывал из себя второго фюрера.

О Гейдрихе, который много лет был правой рукой Гиммлера, а в мае 1942 года был казнен чешскими патриотами:

— Гейдрих — подлая свинья...

Коллективный портрет гитлеровской шайки, нарисованный одним из ее сочленов, хорошо знающим тех, о ком говорит! А заодно это и портрет самого Зеппа: подлого, трусливого, жестокого негодяя, точь-в-точь такого, как Гитлер, Гиммлер, Геринг!...

Завтра — отлет в Москву.

Прощаясь с полковником Прокофьевым, напоминаю ему, как еще в начале марта он показывал нам эскизы трибун и триумфальных арок в Берлине... Эскизы воплощены в действительности! Советский план — это руководство к действию...

10 июня. В жизни побежденной Германии начинается новый период. Маршал Жуков, как глава советской военной администрации, подписал приказ о разрешении деятельности антифашистских политических партий и свободных профсоюзов в советской оккупационной зоне.

...Наш самолет отрывается от земли. Сделав круг, ложимся на курс: на восток, в Москву, домой!

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Е. УСИЕВИЧ

РОМАН О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Брусиловский прорыв—это одно из «чудес» военной истории, то есть событие неожиданное столь же для русского и союзного командования, сколь и для австрийского и германского. Чем же была обусловлена неожиданность этого события? Почему крупная победа армии огромной страны совершенно не предусматривалась ни ее командованием, ни союзниками, ни противником? Чтобы понять, надо учесть обстановку России того времени: отсталые промышленность и транспорт, примитивное сельское хозяйство, все более разваливающиеся под тяжестью войны,— это одна сторона дела; другая — назревший кризис всей социальной и политической системы.

Выродившаяся и пережившая себя монархия, потерявшая авторитет во всех слоях общества; окончательно устарелый и развращенный феодально-бюрократический государственный аппарат; сильная германофильская группа при дворе, в министерствах и генералитете; трусливая и близорукая буржуазия, больше всего боящаяся народа и потому связанная компромиссами с царизмом, — буржуазия, к тому же окончательно развращенная военными спекулятивными прибылями; и, наконец, — буржуазная, идейно-шаткая интеллигенция. Таково было состояние правящих кругов и буржуазных интеллигентских групп.

Народ, лишенный и тех малых прав, которые он вырвал прежде у царизма, подвергался безудержной эксплуатации, видел бесшабашный разгул спекулянтов и варварски-нелепый способ ведения войны, при котором не жалели и не экономили лишь жизни солдат. Одна часть народа не

вникала в цели войны, воспринимая ее только как неожиданную беду, дрягая же, в особенности рабочий класс, который война застигла в период нового революционного подъема, когда уже вновь появлялись баррикады на улицах Петербурга, — была настроена против войны, зная, что она ведется вопреки его интересам, в интересах его врагов. С каждым новым месяцем войны народ становился все более враждебен к войне и тем правящим слоям, которые ее вели.

Таково было положение в тылу. В армии дело не могло при таких условиях обстоять сколько-нибудь лучше.

Во главе ее стоял бездарный, невежественный, ко всему безразличный главнокомандующий — царь, который к тому же больше всего опасался на родного движения, а в вильгельмовской Германии видел естественную опору российской монархии.

Рядом с ним стоял генерал Алексеев, человек реакционнейших политических взглядов, неспособный прижиться даже к капиталистической думской оппозиции, связанной с Антантой, добивавшейся того, чтобы выиграть ведущуюся в интересах крупного капитала и помещиков войну и ограничить самодержавие («ответственное министерство», то есть ответственное перед Думой). Такая политическая позиция генерала Алексеева (несмотря на то, что он был образованным военным) мешала выдвижению способных генералов и, наоборот, содействовала выдвижению интриганов и бездарностей, позволяла германофильским придворным кругам ставить

во главе целых фронтов и армий политиканов, саботировавших войну. Военное ведомство безнаказанно занималось совершенно фантастическим воровством и хищениями, делаясь добычей с великими князьями и министрами. Армия же была плохо вооружена, раздета, разута, полуголодна, имела разваленные тылы.

Офицерство этой армии, набранное в большинстве из запаса, было — при всей храбрости своей — недостаточно подготовлено в военном отношении. Это объяснялось прежде всего кастовостью офицерского корпуса, мешавшей в мирное время подготовке значительного числа офицеров запаса. Вообще же прослойка образованных людей, из которых можно было бы готовить офицеров не только по званию, но и по умению, была в стране очень незначительной.

И все же, даже в таких невероятных трудных для ведения войны условиях, русская армия оказалась могущественным фактором в разгроме Германии в войне 1914—1918 годов. Неся огромные потери, русская армия нанесла ряд жестоких поражений Германии и Австро-Венгрии, сорвала германские планы разгрома Франции, Англии и Италии. Эта сила русского сопротивления казалась непонятной и союзникам и врагам.

После двух лет войны союзники попережнему рассчитывали на то, что немцы вынуждены были держать большие силы на Востоке, занимая фронт большой протяженности. Германский и австрийский главные штабы к 1916 году считали русский фронт неспособным на какие бы то ни было активные действия. И «вдруг» — этот фронт ожил, нанес страшной силы удар, разгромил противника на четырехсотверстной полосе и вынудил его ослабить нажим на решающем направлении под Верденом. Этим он спас Францию, Париж от непосредственно нависшей над ним угрозы, спас весь фронт Антанты и дал затем союзникам время подготовить наступление на Сомме.

Это был знаменитый Брусилловский прорыв — одно из грандиозных сражений, в значительной мере предопределивших разгром Германии в первую мировую войну.

Это было знаменательное историческое событие и во внутренней жизни нашей страны — один из тех кризисов которые позволяют яснее уви-

деть основные тенденции общественных сил, действующих внутри запутанного и, казалось бы, непроницаемого хаоса.

В самом деле, совершенно ясно, что военная стойкость народа невозможна без патриотизма, без привязанности народа к своей стране. Где же, в каких классах царской России существовал патриотизм, какого рода был этот патриотизм, каково было его содержание?

В придворных, в помещичье-дворянских и капиталистических кругах русского общества его нечего было искать. Там речь шла только о своеобразных интересах различных групп, ради которых одни считали более удобным зависеть от Германии, другие — от капиталистических монополий Англии, Франции и других стран, третьи продавались и тем и другим одновременно. В высших слоях общества были в редкость люди, которые сохранили живые воспоминания о национально-культурных идеалах, сложившихся прежде чем гниение монархии и империализма успело разложить официальную русскую общественность.

Что касается широких демократических слоев — трудовой интеллигенции, крестьянства, пролетариата, — то война ускорила происходивший среди них процесс политической дифференциации. Правда, мелкобуржуазные слои были вначале — в 1914 году — охвачены шовинистическим угаром; однако следовавшие одна за другой ошибки командования, военные неудачи и выявившая себя с полной очевидностью гнилость самодержавного государства очень скоро отрезвили их.

Крестьянство на первых порах покорно приняло войну как нечто неотвратимое. Однако усилившаяся эксплуатация уже не только крестьянского труда, но прямая торговля жизнью и кровью солдат довольно скоро показали крестьянству подлинную суть войны.

Пролетариат же, за исключением самых отсталых слоев сразу воспринял войну как враждебную себе. Пролетарская большевистская партия была тем великим историческим фактором, который помог массам понять их подлинные интересы и сделать революционные выводы из объективных исторических условий. Таким образом, демократические массы становились все более сознательными и

активными противниками войны. И, однако, именно здесь, в народных слоях, проявились те силы, которые обусловили стойкость русской армии. Люди из народной среды показали чудеса храбрости и только благодаря им возможны были военные успехи России, которые, однако, вследствие общих условий, не могли привести к победе.

Что же было основой дисциплины и боевой солидарности солдат и демократических офицеров в царской армии? Что было основой их национального и патриотического чувства?

Вполне понятно, что именно в демократических слоях тыла жило стремление помочь своим мужьям, братьям, сыновьям на фронте, помочь беженцам, разоренным войной, и сделать все возможное, чтобы приостановить продвижение австро-германцев, множась неслыханные бедствия. Лишь постепенно эта непосредственная форма народной солидарности уступала более сознательным и активным ее формам, которые становились все более революционными.

На фронте процесс осознания истинного характера войны и определения своего места в ней был чрезвычайно сложным, — и потому, что было немало фактов, затемнявших истинное положение (например, предательство и шпионаж в пользу немцев со стороны придворных кругов), и потому, что совместное участие в боях создает особые отношения между людьми: озлобление против врага, взаимную поддержку и выручку сражающихся на одной стороне и связанных общей участью людей, если даже один из них — солдат, настроенный антивоенно, а другой — офицер, посылающий его в бой, но и сам делящий с ним опасность.

Еще до свержения монархии и буржуазии в русской армии сложились две силы: одна — антинародная и антинациональная, зародыш будущей белогвардейщины. Сюда входило не только заведомо и сознательно контрреволюционное, скажем, монархическое, офицерство, но и значительная часть офицеров, воображавших себя «демократической» интеллигенцией, но зараженных реакционными предрасудками и разращенных привилегией. С другой стороны в армии уже развивались элементы и той силы вооруженного народа, которая через лозунг превращения войны империалистиче-

ской в войну гражданскую выросла в Красную Гвардию, свергнувшую кпитализм, а затем в Красную Армию — отстоявшую в вооруженной борьбе национальную независимость всех наших освобожденных народов от германских и прочих интервентов. К этому лагерю примкнули и лучшие люди из генералитета и офицерства.

Брусиловский прорыв произошел летом 1916 года, то есть накануне того исторического момента, когда совершилось окончательное размежевание социальных сил и разразилась открытая вооруженная борьба между ними. В политической жизни окончательное принципиальное оформление позиций произошло уже раньше. В 1916 году Лениным были написаны основные работы об империализме, в частности об империалистических и национальных войнах. В том же году разразилась забастовка на Путиловском заводе, вследствие которой многие рабочие были отправлены на фронт.

Но на поверхности много еще было неясного и запутанного. Везде ощущалось то напряжение, которое сопровождало поляризацию сил, однако смысл происходящего был неясен большинству самих участников, и формы политического обмана и самообмана встречались самые причудливые.

Грандиозные бои на Юго-западном фронте явились в этой обстановке событием, которое могло многое осветить. Возбужденные успехом Брусилова надежды — после предательства генерала Эверта и др. — быстро сменились горьким разочарованием, а пробужденная национальная гордость — ощущением позора. Общество было потрясено и возмущено массовой бойней, напрасными жертвами. Слишком ясными и очевидными стали для всех бездарность государственного аппарата, «верховного» командования, и те надежды, какие возлагала реакция на обескровление народа.

Все это усилило смятение в умах русской интеллигенции. Обострялась легальная оппозиция весьма трусливых буржуазных партий. С думской трибуны раздавались давно неслыханные с нее речи. Буржуазия, видя неизбежный крах царизма, готовилась взять власть в свои руки и не допустить народ до восстания.

Большевистское подполье, в свою очередь, готовилось к решительной борьбе,— рабочие массы были доведены до состояния, близкого к революционному взрыву. В атмосферу, наполненную испарениями крови и гноя, уже врывался свежий ветер народного восстания.

Таков момент, выбранный С. Сергеевым-Ценским для исторического романа «Брусиловский прорыв» — момент, который нельзя определить иначе, как канун пролетарской революции.

В романе можно ясно увидеть намерение автора проследить судьбу великой исторической традиции, хранившейся в лучшей части русского офицерства, — традиции защиты национальной независимости.

Хранителем ее является генерал Брусилов, талантливый, образованный, энергичный и дальновидный полководец, человек недюжинного ума. Брусилов верит, что его призвание — служить родине и народу. И вот в той среде, к которой он единственно мог принадлежать по своему положению, он мог найти себе лишь немногих друзей, в общем же оказался одиноком и изолированным.

Один из немногих, кто мог бы его понять и оценить, — генерал Алексеев, выдвинувшийся не по знатности или богатству, а по деловым качествам, оказался нестоек, в погоне за карьерой кривил душой, угождал перед царем и придворной знатью. Он предал Брусилова в решающие моменты, поступился интересами армии, пошел на то, чтобы понапрасну губить миллионы русских людей.

Мы знаем, что позднее, после свержения царизма, Алексеев станет одним из организаторов белогвардейщины, продающих родину иностранцам ради спасения привилегий дворянства и буржуазии. В романе Сергеева-Ценского мы видим Алексеева еще, так сказать, на пути к этому предательству, которым запечатлено его имя в истории. В Алексееве в ту пору еще видны некоторые хорошие задатки: он превосходит генералитет царской ставки умом и знаниями, он даже иногда делает попытки улучшить положение армии и ведения войны; однако он отступает всякий раз, как опасается вызвать недовольство у кого-нибудь из сильных мира сего.

Писатель рисует Алексеева пре-

красным семьянином, знакомит нас с его симпатичной, простой и милой женой. Но Сергеев-Ценский здесь не отступает от истины, хорошо известной из истории, и мы ясно видим, что Алексеев продал свою честь и честность,— потому что, кто продал их наполовину, тот расстался с ними целиком. Зная, что единственный человек, способный повести наступление, это Брусилов, но желая угодить и царю и бывшему командующему Юго-западным фронтом, генералу Иванову, который ради спокоествия, клеветца на свои армии, объявлял фронт неспособным к наступлению, генерал Алексеев распределяет основные роли между бездарным Куропаткиным и гермаофилом Эвертом. Брусиловский же фронт он учитывает лишь по энергичному требованию Брусилова, но и тут заявляет:

«— Я ничего не могу возразить против вашего, Алексей Алексеевич, желания принять в наступлении участие и своим фронтом. Но только я считаю долгом предупредить вас, чтобы вы не надеялись напрасно: мы ничего на ваш фронт дать не можем — ни тяжелых орудий, которых у нас в резерве в обрзз, ни больше, чем вашему фронту приходится получить по разверстке снарядов для тех орудий, какие у вас имеются. Это настоятельно прошу иметь в виду».

Таким образом Алексеев оставил без достаточных средств ведения войны единственного командующего, способного и выражающего готовность воевать и вести наступление. И позднее, к гла наступление Брусилова уже началось и дало первые успехи, когда, силой обстоятельств, направление главного удара определилось на Юго-западном фронте,— Алексеев павнодушно смотрит, как командующие соседних фронтов оттяжками, саботажем проваливают наступление, как бесцельно растрачиваются талант и энергия Брусилова, как умирают тысячи людей, ринувшихся в наступление под командованием Брусилова.

Брусилов не хочет посредством придворного искательства добыть себе почести, карьеру. Он честолюбив, но в том смысле, что, чувствуя в себе силу, ищет и задачу себе по плечу, и рад, когда ее получает. Он бывает счастлив, когда его заслуги отмечают благодарностью, но с горечью видит, что успех у «верховного главнокомандующего» царя неовместим

с честью и личным достоинством, и что взаимоотношения с другими командующими фронтами у него, Брусилова, не могут быть иными, как враждебными. Добиваясь улучшения состояния армии, он прослыл в ставке, в среде командующих фронтами генералов, заносчивым, сварливым, карьеристом, даже завистником. И, лишенный всех других связей с современной общественной жизнью, Брусилев замыкается в исполнении своих профессиональных обязанностей.

Во всяком случае, так изображен он С. Сергеевым-Ценским. Автор изображает Брусилова только в обстановке его военной деятельности, передает только те его мысли и чувства, которые связаны с чисто военными успехами и неудачами. К этой характеристике прибавляется, правда, одна деталь, так сказать, из личной жизни Брусилова: еще прежде чем Брусилев сам появляется в романе, один из персонажей, в случайном разговоре, ни с того ни с сего сообщает, что новый главнокомандующий увлекается спиритизмом и занимается столоверчением. Впрочем, никаких следствий из этого ни для характера Брусилова, ни для его поступков автор не выводит, так что для чего вообще об этом упомянуто — неизвестно. В другом месте романа сказано, что Брусилев сочувствовал деятельности «Земгора»¹. Но характеристика отношения Брусилова к политическим груп-

пам и партиям его времени в романе не развита.

Повторяем, в романе С. Сергеева-Ценского мы видим только Брусилова — одаренного военного профессионала, честно выполняющего свое дело и верящего в мужество русского солдата. Разумеется, уже в этих качествах есть отзвук традиций славных русских полководцев. Однако, сталкиваясь с такого рода изображением героя, мы не прибавляем решительно ничего к тому, что всякому из нас известно об этом генерале по историографии, и узнаем слишком мало о том, что могло бы объяснить его поведение в период борьбы за советскую власть и после ее установления.

Это — первое разочарование, которое постигает читателя романа «Брусилевский прорыв».

Допустим, что Брусилев, не находя в своей среде людей по сердцу и будучи отрезан своим положением от «низов», ограничил себя своей чисто профессиональной сферой. Мы верим в такое стоическое отречение. Но в то же время мы знаем, что Брусилев был человеком ума, притом очень живого, восприимчивого ума. Мы знаем также, что он жил в пору острой политической борьбы. Пусть неоформленные внешне, пусть, может быть, невысказанные, но были же, не могли не быть у него свои мысли о народе, о современном обществе и его судьбе?

Брусилев не был автоматическим служакой-исполнителем. Мы знаем его дальнейшую судьбу. Знаем, что, несмотря на давление всей своей среды, он не принял участия в белогвардейщине. Мало того, в момент нападения Пилсудского на Советскую Россию в 1920 году он пришел в Красную Армию, был в числе ее выдающихся военачальников и умер на посту крупного руководителя строящихся вооруженных сил социалистической страны. Эти общественные поступки, конечно, не случайны в его биографии.

Для того чтобы сохранить достойную позицию в буре гражданской войны, чтобы пройти этот свой путь к признанию советской власти и службе советскому народу, Брусилев, несомненно должен был еще раньше иметь какое-то свое отношение к народу, к проблемам, которые решал народ в ходе войны. Ничего этого

¹ Земгор — сокращенное название «Комитета земского и городского союзов», образованного для объединения действий Земского союза и Союза городов — организаций русских сельскохозяйственных и промышленных капиталистов. Созданные в 1914 году для организационной и экономической помощи царскому правительству в войне, эти союзы, под влиянием военных неудач, все более становились в оппозицию к самодержавию, требуя (вместе с так называемым «прогрессивным блоком» буржуазных партий в Государственной Думе) ответственного перед Думой министерства. После февральского переворота председатель Земского союза князь Львов встал во главе Временного правительства. В послеоктябрьский период Земгор организовал контрреволюционный саботаж, содействуя Деникину и интервентам.

романе С. Сергеева-Ценского нет. Это, разумеется, чрезвычайно снижает ценность книги, потому что решающее значение для исторического романа имеет именно то, насколько этот роман и его герои отражают проблемы народной жизни, хотя бы и преломленные в сознании людей из другой среды.

Несколько детальнее развит как характер, другой персонаж романа — генерал-лейтенант Гильчевский, реально существовавший человек, командир 101-й пехотной дивизии, входившей в Юго-западный фронт. Мы не будем здесь разбирать, насколько правильно изображена Сергеевым-Ценским действительная роль Гильчевского в военных событиях; некоторые военные историки считают, что Гильчевский в своих мемуарах свою роль сильно преувеличил и что Сергеев-Ценский воспринял эти мемуары некритически. Но нас Гильчевский интересует не с точки зрения его военного значения в первой мировой войне, а как персонаж романа.

Автор рисует нам Гильчевского как хорошего исполнителя приказов Брусилова. Он храбр, инициативен, знает и любит военное дело, практически сметлив; он выдвигает подчиненных офицеров по действительным их достоинствам и понимает, что значит беречь солдата, не уклоняясь в то же время от выполнения воинского долга. Гильчевский — человек импульсивный, несколько неуравновешенный. Его начальник штаба, спокойный и выдержанный Протазанов, является необходимым дополнением к нему. Без него Гильчевский иногда бывал бы не в меру и во вред делу горяч, иногда же впадал бы в преждевременное уныние. Но в общем в изображении Сергеева-Ценского — это превосходный командир, хотя и обладающий несравненно более заурядным умом и характером, чем Брусилов.

Гильчевский и его роль в романе интересны тем, что по самому своему положению в армии он не мог не быть ближе к солдатской массе, чем командующий фронтом Брусилов. Вот тут и выясняются чрезвычайно интересные обстоятельства, которые можно проследить на ряде эпизодов романа.

Гильчевский, как честный профессионал, жалеет солдат, когда они гибнут в бою. Но знает он солдата только и единственно с профессионально-военной точки зрения.

Когда автор желает показать личное отношение Гильчевского к солдатам, то «человеческий подход» к ним выражается лишь в одном: генерал сыплет поговорками. Прием чрезвычайно традиционный, но все-таки только прием, то есть обдуманый способ уловления «простых душ». Как показал еще Лев Толстой, этот прием далеко не всегда доказывает действительное знание солдата и подлинный интерес к нему. Задумываться же по настоящему о том, что происходит в солдатской массе, Гильчевский не хочет и не может. Это ему просто не приходит в голову даже в таких случаях, которые, казалось бы, должны были заставить задуматься даже самого не склонного к размышлениям человека.

В романе изображается, например, такой эпизод. В дивизию Гильчевского приходят новые пополнения, которые ему не особенно нравятся.

«У моей матери, — говорил он своему начальнику штаба, полковнику Протазанову, — было маленькое домашнее хозяйство и, между прочим, водились коровы. Она сама их, конечно, доила и по части коров, как я потом по части лошадей, кое-что понимала. Так вот, помню я это еще с детства, говорила она своей соседке: «Ты хочешь корову себе приобрести, а того не знаешь, какую. Ты ей на имя глядишь, — она, моя мать, так и говорила: не «вымя», а «имя», — а ты бы ей еще и в глаза поглядела: как если глаза у нее тяжелые, нелюдимые, ту корову не покупай, — она тебе и доенку ногой может из рук выбить, а то когда в углу прижмет, то и рогами забрухтает...» Вот я это мамшино наставление и вспомнил, когда на наших маршевиков смотрел: тяжелый какой-то у многих, действительно «нелюдимый» взгляд».

Казалось бы, удивляться тут нечему. То, что происходило в России, в тылу, откуда приходили эти люди с «нелюдимым» взглядом, было известно всякому. И генералу было над чем призадуматься. Но это ему и в голову не приходит даже тогда, когда «нелюдимость» пополнения очень быстро обнаруживается не только по «взгляде».

«Так, переходя от одного к другому, подошел Гильчевский и к рядовому с тяжелым взглядом. Это был рослый малый со сжатыми губами и с желваками под скулами; держал

в правой руке ствол винтовки, как дубинку, глядел он на генерала явно ненавистно.

— Как фамилия? — спросил Гильчевский, сразу насторожась.

— Маслаков, — протиснул тот сквозь зубы.

— Отвечать не умеешь! — слегка поднял голос Гильчевский, беря в то же время ствол его винтовки за нижний конец, и разглядел, что он забит землею.

— Кэ-эк это т-э-эк не умею? — с выдохом, с запалом, протянул Маслаков, глядя не только ненавистно, но и вызывающе.

Предчувствуя недоброе, Гильчевский крепко держал обеими руками гладкое железо, но вдруг Маслаков сильно дернул ствол к себе и тут же сделал им выпад вперед, в грудь генерала.

Очень острый момент этот не ускользнул от зорких глаз тех, кто окружал Гильчевского, и первым подскочил к нему на помощь Протазанов — человек крупных и крепких мышц, потом адъютант дивизии, и командир полка Кюн, и Антонов, и Шангин, и другие...

Маслакова свалили наземь, связали ему солдатскими поясами руки.

Когда его уводили под конвоем, он совсем не казался обескураженным: напротив, он старался идти браво, поднимая голову и презрительно и часто поплеывая, как будто случилось с ним все именно так, как ему хотелось.

В то время как Гильчевский уходил из четырнадцатой роты, он ничего не сказал прапорщику Обидину, но посмотрел на него долгим тяжелым взглядом.

На другой день Обидин был переведен в другую роту.

Только и всего? Перевод командира роты, в которой случился инцидент, это единственный вывод из такого случая? Ведь инцидент далеко не повседневный. И просто странно, что генералу не приходит в голову задать себе вопрос: что поставило солдата в настолько непримиримую позицию к войне и ведущим ее командирам, что, идя на верную смерть (покушение на генерала во фронтовой обстановке — это гораздо более верная смерть, чем десяток кровопролитнейших боев!), он высоко поднимает голову и ведет себя так, как будто случилось именно то, чего он хотел. Еще более странно, что ав-

тор тоже ничего более не сообщает о Маслакове, так что мы даже не знаем, кто собственно направил штык в грудь генерала — доведенный ли до отчаяния крестьянин, которого угнали от разоренной и голодающей семьи, от правлений ли на фронт за забастовку рабочих, или еще кто-нибудь. Автор ни словом не обмолвился и о впечатлении, которое поступок Маслакова произвел на других солдат. Получается, что вина здесь во всем лежит, действительно, на прапорщике Обидине, тем более что автор неоднократно разоблачает его как пораженца.

Однако применить это слово в том смысле, который оно имело в годы империалистической войны, к прапорщику Обидину никак нельзя. В изображении самого автора это просто хлипкий, слабодушный трус и шурурик, не имеющий никаких убеждений, дрожащий за свою жизнь и готовый на все ради ее спасения. Уже отправляясь на фронт, прапорщик Обидин робко высказывает надежды на сепаратный мир. Приехав на фронт, он начинает со страха и отвращения к солдатской массе, а кончает отчаянным высказыванием, что, мол, ему совершенно безразлично, будет ли Россия поглощена Германией и сделают ли из нее германскую колонию: он не видит в этом ничего страшного, лишь бы остаться в живых. И при первом же случае Обидин поднимает руки вверх перед немцами.

Прапорщик Обидин — единственный, кто в романе прямо говорит о желательности поражения царского правительства в войне. И с такой-то вот мотивировкой!

А между тем о «пораженцах» и «пораженчестве» уже тогда в России много говорилось и писалось, с ним велась отчаянная борьба со стороны различных буржуазных и мелкобуржуазных псевдосоциалистических течений. Пораженчество имело вполне конкретное, сформулированное Лениным революционное содержание. Пораженцы были самыми твердыми и мужественными людьми, решительными революционерами. Поэтому роль единственного выразителя пораженчества, отведенная автором столь жалкому слизняку в романе — эпохее о 1916 годе, совершенно неправомерна и непропорциональна. Нечего говорить, что возлагать на этого труса

ответственность за поведение Маслакова нет никаких оснований.

Между тем роль Обидина в романе очень велика. Именно его противопоставляет С. Сергеев-Ценский главному герою своей книги — прапорщику Ливенцеву, несомненно должностящему олицетворять собой как раз те силы русского общества, которые, благодаря своему подлинному патриотизму и своей близости к народу, были той социальной базой, которая порождала Брусиловых, делала возможными победы, вроде брусиловской, и составляли основу военного отпора немецкому империализму.

Прапорщик Ливенцев — офицер военного времени, интеллигент-математик. По своему положению в армии (командир роты) он повседневно сталкивается с солдатами, живет в их среде, непосредственно наблюдает их, знает их политические настроения. А по своему положению главного героя романа он больше других рассуждает, и автор больше и подробней, чем о других персонажах, рассказывает о его внутренней жизни.

Сергеев-Ценский изображает Ливенцева как следующее звено в цепи исполнителей замысла Брусилова. Ливенцев — храбрый, делный и порядочный офицер. Но еще большее значение, чем разумные его поступки как командира роты, имеет в романе его отношение к проблеме народа на войне. Ведь мы читаем не репортаж с поля боя, не очерк, а исторический роман, то есть произведение о людях, о русском народе.

Автор говорит о Ливенцеве, что он любит солдат, любит народ, любит Россию. Ливенцев много думает о мужестве и стойкости народа на войне. Как же объясняет он себе эту стойкость?

«Никому из них не хочется умирать, но все в его роте, в его батальоне, в его полку и в другом полку рядом — несколько тысяч людей очень твердо знают, что в каждый новый момент могут быть убиты или искалечены, однако же они не бегут в ужасе куда попало от одной этой мысли: инстинкту самосохранения противостоит в них другой инстинкт — сохранения своего жилища; миллионы же их жилищ с семьями в них — это их родина; они — граждане родины, пославшей их на свою защиту, — в этом их ценность для них

же самих, хотя бы они этого и не представляли ясно, в этом их гордость самими собой; это повышает вес каждого в собственных глазах».

В этом несомненно есть истина. Но истина еще очень неразвита и весьма суммарная. Потому что ведь в эти представления солдат включались и реальные представления о том, как живут их близкие в этих оставшихся позади жилищах. А там, в этих «мильных» жилищ, которые составляли родину, как известно, было ругающее недовольство, уже переходящее в 1916 году кое-где в открытый протест против властей и войны. И, таким образом, представление об оставшихся позади жилищах вызывало не только готовность продолжать войну; оно же вызывало и «нелюдимый» взгляд Маслаковых. Об этом Ливенцев не думает. Маслаков — это, и по его мнению, нечто исключительное, быть может, преступное и взлелеянное трусостью Обидина. Надо думать, что, будь Ливенцев на месте Обидина, оказавшись в его роте такой Маслаков, Ливенцева не пришлось бы переводить в другую. Он бы вовремя сигнализировал начальству о настроениях Маслакова. Но задуматься о Маслакове глубже, попытаться понять причины, вызывающие среди солдат антивоенные настроения, и Ливенцев, очевидно, не попытался бы.

Не задумывается он и о другом. Хорошо, разумеется, когда понятие о родине включает в себя конкретные представления о своем доме, о своем городе, селе, о друзьях. Но если понятие о родине исчерпывается мыслью о своем селе и доме, это означает, что общество, в котором человек живет, ему чуждо. Ливенцев в своих разговорах с солдатами натывается и на это:

«...все слова застывали на языке Ливенцева, когда его подмывало сказать им горячо и ярко о родине, о том, какая святая возложена на них задача — защищать своей грудью родную землю».

Он думал, что его поймут если не все солдаты его роты подряд, то хотя бы младший командный состав и, собрав вводных и отделенных унтер-офицеров в одной землянке, пошел было с ними беседу о том, как приходили уже не раз завоеватели на русскую землю, но уходили с рабскими зубами, а вот теперь такими завоевателями России хотят стать немцы.

Но первый же из вызванных им на разговор взводных, бородатый и расторопный и тем похожий на Старосилу. Мальчиков, хитровато щурясь, сказал уверенно:

— До нас, ваше благородие, немец не дойдет, мы вятские.

И никто из других унтеров не рассмеялся при таких смешных словах,— значит они даже и не показались им смешными. У всякого из них родина была своя: у кого Вятка, у кого Рязань, у кого Саратов, у кого Барнаул на реке Оби, у кого Семипалатинск, у кого Кяхта на границе с Китаем, причем саратовец не имел решительно никакого понятия о Кяхте, а рязанец о Семипалатинске, и каждый по-своему понимал само слово родина.

Оставалось только напомнить каждому, что он обязан был делать при штурме неприятельских окопов...

Человек, близкий к народу и думающий о народе, задумался бы о причинах такой чуждости народу понятия о Российской империи как о родине, попытался бы найти эти причины в объективной действительности царской России. Но прапорщик Ливенцев об этом не задумывается. Он настолько замкнут в своем интеллигентском превосходстве, что видит в отношении солдат к царскому государству только невежество и недомыслие, доходящее до чудачества, и ставит это наблюдение в один ряд с такого рода другими его наблюдениями над солдатами:

«— Ну-ка, Дьяконов, как ты думаешь, для чего человек живет на свете? — спрашивает прапорщик Ливенцев.

— Для чего живет? — повторил степенный Кузьма Дьяконов, человек широкий, не слабый. — Да как сказать, ваше благородие, для чего человек живет...

— Ну, да,— для чего, как полагаешь?

— Полагаю так, что как бы ему хорошо поесть, да вот еще как бы, конечно, получше ему одеться,— вот для этого он, человек, и живет.

Очень серьезное лицо было у Дьяконова Кузьмы, когда он говорил это,— заподозрить его в малейшей тени насмешки над ним Ливенцев не мог, но, пораженный таким ответом, спросил:

— А что же, по-твоему, значит «хорошо поесть»?

— Ну, известно, ваше благородие, значит, чтоб настоящая пицца была,— убежденно-спокойно сказал Дьяконов (голос у него оказался теплого типа).

— Не понимаю, что за «настоящая пицца», — какой смысл ты вкладываешь в эти слова,— уже начиная улыбаться, сказал Ливенцев.

— Да вот, к примеру, хоть об себе мне вам доложить, ваше благородие,— безулыбочно начал объяснять Дьяконов.— Жил я до мобилизации под Керчью,— город такой есть...

— Знаю я Керчь. Ну? Селедка там ловится.

— И селедка, и пузанок, и разная там всячина: бычки, судаки, лещи, прочие.

— Чем же это не пицца? — спросил Ливенцев с любопытством, но Кузьма только головою повел.

— Какая же это пицца, ваше благородие,— искренно недоумевал он, так как для него-то дело было вполне ясно.

— Что же ты там делал, под Керчью? Хозяйство у тебя там было?

— Да как вам сказать, было, конечно... Корову баба держала, молоко там, сливки, творогом индюшат кормила... Курей штук двадцать, кролы... Ну, опять же огородишко там у нас,— летнее дело — кавуны, дыни там, редиска, морковка, картофля,— все зрящее, а что касается настоящей пицци — нема-а...

А другой ополченец, Завертяев Тихон, в подобном разговоре с ним Ливенцев «вредными вещами» назвал как-то картины. Он до войны служил в богатом доме лакеем, и там его заставляли каждый день обтирать пыль с картин, развешанных на стенах,— вот из-за этой пыли картины у него и стали вредными вещами; сказать же, что это были за картины, он не мог, так как это ему, по его словам, было «совсем без надобности», — картины и картины... «А кому из гостей интерес был на них смотреть, те смотрели».

Вот что такое народ в представлении прапорщика Ливенцева. По существу говоря, тот народ, который он любит,— для него чистейшая абстракция. Люди же из народа, которых он встречает, для Ливенцева — странные полудикари, или то самое, что искренно воображавшие себя «демократами» буржуазные интеллигенты называли сперва народом-богоницем,

лютом святой скотинкой, потом, когда святая скотинка» отказала в повиновении и проявила свою человеческую сущность, — стали бранить всяческими, вовсе даже не интеллигентскими словами.

Но пока перед Ливенцевым было то, что еще с грехом пополам он мог подводить под понятие «богоносцев», и он считал своею обязанностью хорошего командира общаться с ними. Для того чтобы сговориться с солдатами, Ливенцев считал необходимым снисходить к их уровню, подделываться под их мышление и язык. Ливенцев не совестился подлаживать людей, которых ему нужно вести на смерть, на самые простецкие приемы, хотя сам перед собой он изображает это подлаживание в весьма облаго-роженном виде:

«Он спрашивал это для себя лично, чтобы иметь понятие о людях, которых придется когда-нибудь ему вести на окопы противника: как же он будет вести на смерть тех, кого совсем не знает? И как они могут идти за ним, когда его не знают? Обоюдное знание это казалось ему гораздо более необходимым, чем знание ими разных мелочей службы».

И вот как прапорщик Ливенцев приступает к знакомству и дружбе со своими солдатами:

«Поэтому он становился искренно рад, если вдруг оказывалось из распросов, что бывал сам в той или иной местности, откуда родом его новый подчиненный, или даже просто читал, слышал о ней. Так, один, Селиванкин, оказался из села Ижевского Рязанской губернии.

— Постой же, братец, село Ижевское, это, кажется, Спасского уезда? — начал припоминать Ливенцев.

— Так точно. Спасского! — радостно ответил Селиванкин.

— И там ведь у вас все бондари, насколько я знаю, — должно быть, и ты бондарь?

— Так точно, бондарь я! — еще радостнее отозвался и прямо заснял Селиванкин.

— Ну, значит, мы с тобой земляки, выходит, Селиванкин!»

Но и волжанин из Большой Глушицы под Самарой — Демагаров тоже был назван им своим земляком, хотя он сам никогда не был в Большой Глушице, а только случайно слышал о ней.

Подобных «земляков» из опрошенных им оказалось около тридцати человек, и он знал наперед, что когда опросит таким образом всю роту, то окажется их не меньше двухсот; всегда ведь можно было что-нибудь припомнить о той или другой местности, вроде: «А-а, это у вас там битюгов разводят?» или: «Знаю, знаю, у вас там паточный завод Попи-зовкина». Когда один оказался из села Березайка и Ливенцев припомнил, что когда-то слышал: «Там возле села и станция Березайка, кому надо — вылезай-ка!» — то березовец заулыбался во все свое широко, заросшее сорокалетнее лицо: ведь это ему было знакомо едва ли не с детства».

Может ли быть большее высокомерие, чем эта уверенность, что к душе «человека из народа» вполне подойдет и такая примитивная отмычка? Что этого фамильярничанья свысока достаточно для того, чтобы повести за собой на смерть этих «нищих духом»? Притворство, применяемое Ливенцевым для уловления душ, доходит подчас до симуляции религиозности...

Во всем этом Ливенцев проявляет себя как человек, «интеллигентность» которого сводится к утрате природной умственной простоты. Его голова полна доморощенной философичности, обрывками плохо понятых книг. В общем, это зощенковский тип «интеллигента, утомленного своим средним образованием». Не более того.

Эта оценка Ливенцева подтверждается таким примером: Ливенцев размышляет — стали бы люди восвать, если бы земля не была прекрасна, если б на ней не было холмов, деревьев, рек, если бы мир был похож на огромный пустой бетонный бассейн? И пришел к догадке о связи войны с красотой природы. Эта мысль чрезвычайно занимала Ливенцева в период острых и тяжелых боев.

«Охватившее Ливенцева накануне ощущение всепоглощающего могущества земли, какова она есть, с ее высотами и равнинами, таинственностью леса и текущей воды, не только не покидало его теперь, но оно даже выросло. И теперь над ним, где-то гораздо выше обычных представлений о жизни и смерти, билась мысль, чтобы выявить какую-то из-

вечную связь человека с землей и в смятении внести ясность.

Что тут можно понять? Какое отношение к войне имеет это кустарное упражнение в декадентской стилистике?

Конечно, можно бы сказать, что ведь эти упражнения никому и не мешают, что они частное и личное дело прапорщика Ливенцева, что они сами по себе, а его патриотизм и любовь к народу — сами по себе. Но нам кажется, что этот философствующий прапорщик (любящий довольно некстати вспоминать о том, что он математик, — для доказательства этой своей квалификации он даже множит тысячу на четыре и ослепляет публику сообщением, что линия есть след движения точки на поверхности) — фигура далеко не симпатичная и отнюдь не невинная.

Из чего состоит патриотизм Ливенцева? Для собственного употребления у Ливенцева имеется псевдо-философская декадентская декларация на тему об извечной связи человека с красотой земли, что-то такое, что «выше обычных представлений о жизни и смерти», и прочее, что включает в себя что угодно, только не понятие о народе и о жизни народа. А для солдат у Ливенцева есть все способы, начиная с балагурства и барского похлопывания по плечу и кончая расстрелом, лишь бы заставить их идти в бой ради победы в империалистической войне, то есть ради интересов, чуждых и враждебных народу.

Вот эта-то фигура и является основным героем произведения, изображающего исторический момент кануна социалистической революции в России. Ливенцев и представляет в романе «Брусиловский прорыв» те «здоровые силы» в стране, которые поддерживали ее мощь (?).

Для того чтобы это могло получиться, нужно было не увидеть самого важного в изображаемой действительности, не заметить подлинных движущих сил истории.

Безотрадная картина состояния царской России, тыла и армии написана автором довольно верно и точно. Сцены в царской ставке и описание военных операций во время брусиловского прорыва — интересное и лучшее всего в книге Сергеева-Ценского. Читатель ясно видит перед собой те темные силы, которые об-

ращали в ничто все усилия Брусилова и ему подобных людей в армии. Но читатель знает, что накануне социальной революции в России страна уже кипела возмущением и в самой армии были мощные силы, противодействующие царю, его придворной и генеральской клике. И вот в качестве такой противодействующей силы нам показывают прапорщика Ливенцева¹. И это искажает всю картину соотношения общественных сил в России и ее армии.

Прапорщик Ливенцев — это тип, существовавший в действительности. И он не исключение, он представляет собой некогда очень распространенное в определенной сфере и психологическое и политическое направление. Какое?

Прапорщик Ливенцев думает о войне:

«Теперь ему казались странными даже чужие шутки по поводу целей войны: он твердо знал, что война велась во имя преобразования России, не ошипанной, не обдерганной, не кургузой России, а такой, какой создавалась она в силу исторической необходимости».

Программа совершенно ясная. Но чья это программа?

Большевики устами Ленина уже за год до этого определили содержание этой войны следующим образом:

«Европейская война, которую в течение десятилетий готовяли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточно-европейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националисти-

¹ Что касается генерала Брусилова, то, как мы уже говорили, он остался в романе не раскрытым именем как общественный человек. Мы совершенно не знаем, что он думает, какие общественные слои его поддерживают или ему сочувствуют.

ческое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны» (В. И. Ленин, Собр. соч., т. XVIII, стр. 61).

Из этого сопоставления ясно, что Ливенцев выражает взгляды, как раз противоположные взглядам таких людей, которые должны были по-настоящему преобразить Россию, создав ей ее нынешнюю мощь и славу. Ливенцев — это заурядный сторонник «войны до победного конца», один из тех элементов, против которых вели ожесточенную борьбу подлинные борцы за преобразование России. И для противоборства темным силам, изображенным С. Сергеевым-Ценским, он совершенно не годится. Это скорее бессознательный пособник империализма, по недоразумению восбравший себя демократом.

Нам могут возразить, что автор сознательно изобразил такого именно героя, чтобы показать, как действительность разбивает его иллюзии, и тем яснее и образнее раскрыть эту действительность. Ведь примерно таким же иллюзиям подвергались до войны и в начале войны 1914 года Телегин и Рошин в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам»; один из них после некоторых колебаний, другой после долгого, извилистого, полного трагических ошибок пути пришли к народу и пошли с ним. Но в произведении А. Толстого этим героям в пору их убеждений противостоят народные массы, рабочие и солдаты, крестьяне с их подлинными интересами и подлинными стремлениями а не с разговорами о «пищии» и о «вредных вещах картинах». Алексей Толстой почти с самого начала показывает, как близость Телегина к народу облегчает его путь, и как оторванность от народа Рошина — куда меньшая, чем у Ливенцева — толкает последнего на бездорожье.

Сергеев-Ценский совсем по-иному оценивает своего героя. Он не только изображает Ливенцева в качестве естественного вожака темных и беспотковых масс, которые без него бог знает чего бы наделали; он еще путем авторского комментария пытается подкрепить, обосновать и разъяснить взгляды Ливенцева.

Сергеев-Ценский делает это посредством анализа положения Рос-

сии в то время. И оказывается, что все беды происходили почти исключительно от немецкого засилья¹. Если бы ликвидировать это засилье, то Россия бы расцвела и благоденствовала.

«Они (немцы) сумели довести закабаление России перед войной до того, что им принадлежала ровно половина всего ввоза в нее товаров, они же были и крупнейшими покупателями русского хлеба и прочего сырья. Все химические заводы в России принадлежали немцам. Почти всей металлургической промышленностью в ней владели немцы. Три четверти ткацких фабрик в России были немецкими. Почти все электрические предприятия и газовые заводы основаны были на немецкие деньги. Нечего говорить о пивоваренных заводах, — их нельзя было даже и пред-ставить без немцев.

На немецкие капиталы основан был судостроительный завод в Николаеве, работавший по нашему кнопику из Берлина так, чтобы деятельностью его был вполне доволен кайзер Вильгельм. Заправили этого завода умудрялись в договорах на постройку судов ставить двойные цены против самых дорогих из существующих в мире. Также половина акций Путиловских заводов была скуплена перед войной немецкими заводчиками; то же было и с кавказской нефтью.

Еще не начиналась война, а уже многие крупные банки в России получили приказ летом 1914 года скупать и прятать муку, сахар, крупу и другие продукты, чтобы создать голод в России. Приказ этот шел от немецких банкиров, для которых эти русские банки были своим кровным делом.

Сотни миллионов рублей вложены немцами в русские частные железные дороги, и служили на них за-

¹ Заметим, что вопрос о влиянии иностранного капитала в царской России вовсе не сводится к сплошному немецкому засилью, как изображает здесь автор. В частности, судостроительный завод в Николаеве, о котором здесь упоминается, был построен французскими капиталистами и принадлежал сперва французам, затем перешел в руки русского акционерного общества, связанного, однако, с «Лионским кредитом». Завод этот до революции назывался «Французский завод».

ведомые ставленники для того, чтобы в нужный для хозяев момент сковать параличом эти дороги.

Усиленно ширилось перед войной немецкое землевладение на западе, на юге, на юго-востоке России, на Кавказе, в Крыму.

Рядом с давними немецкими колониями, как грибы после дождей, выростали новые и новые. Даже генерал Гинденбург, будущий главнокомандующий германскими вооруженными силами на восточном фронте, одновременно приобрел несколько тысяч десятин земли на Волге. Казалось бы, совсем не под межу это пришлось прусскому юнкеру, родовое имение которого было близ Танненберга, но слишком горячила голову всем немцам — генералы они были или банкиры, заводчики или мелкие лавочники — идея овладеть Россией вплоть до Урала.

«Только тяжелый меч войны и мог разрубить все хитрые узлы, которыми была крепко завязана русская сила у всех почти ее родников, — развязать их терпеливо не было уже возможности, слишком далеко зашло дело кабалы. Но рука России, поднявшая этот меч, была обессилена разъедающей язвой дряхлого самодержавия» (подчеркнуто мной. — Е. У.).

Таков авторский исторический комментарий. Но если бы это было так, то пришлось бы признать империалистическую войну 1914—1918 годов справедливой и необходимой войной за национальные интересы русского народа. Если бы это было так, то прав был бы прапорщик Ливенцев, но неправы были бы большевики. Если бы это было так, то выход из положения был бы не в свержении власти русской буржуазии и русских помещиков, возглавляемых русским самодержавием, а лишь в доведении войны до победного конца, для чего достаточно было бы несколько ограничить власть царя, сменить командование, создать, скажем, министерство и еще крепче сковать народ.

Но мы знаем, что это было не так, что С. Сергеев-Ценский ошибается, доискиваясь причин закабаления русского народа в одном лишь немецком засилье. Само это засилье было

следствием отсталости русского капитализма, разъедаемого дополнительно феодальными пережитками, следствием антинародности крупных капиталистических и помещичье-дворянских групп нации. Мы знаем, что победа царизма в войне не только не преобразила бы Россию в нечто высокое и мощное, но еще больше способствовала бы закабалению народа, укрепив самодержавное государство тюрьму своего народа, тюрьму всех других угнетаемых им народов, за оставление которых под властью империи воевал и прапорщик Ливенцев.

Русский народ, свергнув с себя оковы рабства, освободил угнетаемые царизмом народы; он всегда ненавидел рабство и, именно благодаря этому, и сейчас спас человечество от грозившей ему гибели. Ленин писал:

«Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам»¹.

Именно такого рода «гордость» свойственна прапорщику Ливенцеву, который одобрял и поддерживал войну во имя защиты России — «такой, какой она создавалась в силу исторической необходимости». По определению же Ленина, эта война велась для того, «чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей»¹. Гордость, свойственная Ливенцеву совершенно не была свойственна русскому народу, готовившемуся в это время силой прекратить позорную и бессмысленную войну народов и превратить эту войну в войну против своего правительства, против помещиков, капиталистов и их пособников.

Вероятно, отдаление в двадцать лет создало у автора некоторую аберрацию, вследствие которой он перенес на войну 1914 года целый ряд мыслей, которые были навеяны войной 1941 года. Это привело его к

¹ Ленин, т. XVIII, стр. 81.

очень серьезному искажению исторической действительности. И на это, отмечая все то положительное, что есть в произведении, следует указать прямо. Некоторые критики не заметили заключающейся в романе вредной стороны и приняли совершенно всерьез прапорщика Ливенцева и его «идеологию».

Выходящая во время войны легальная меньшевистско-ликвидаторская газета «Рабочее утро» писала, что «в данной общественно-политической обстановке рабочий класс не может взять на себя никакой ответственности за оборону страны». То есть что мы, мол, вполне понимаем необходимость ведения этой империалистической войны, да вот царское правительство плохо ее ведет. А дали бы нам волю... И Ленин отвечает «Рабочему утру»:

«Не правда ли, ведь это — сплошь перлы! Но в этих перлах, кроме безграмотности и репетитовского вранья, есть совершенно трезвая и правдивая, с точки зрения буржуазии, дипломатия. Чтобы влиять на рабочих, буржуа должны наряжаться социалистами, эсдеками, интернационалистами и т. д., иначе влиять невозможно. И «Рабочее Утро» наряжается, подкрашивается, румянится, прихорашивается, делает глазки, ни перед чем не останавливаясь! Мы готовы подписать хоть сто раз и циммервальдский манифест (почечина тем из циммервальдцев, которые подписали этот манифест, не борясь с его робостью и не делая оговорок!), и какую угодно резолюцию об империалистской сущности войны, и любую присягу в своем «интернационализме» и в своей «револю-

ционности»: («освобождение страны» в подцензурной печати = революция в нелегальной), — лишь бы... лишь бы нам не мешали звать рабочих к участию в военно-промышленных комитетах, т. е. к тактическому участию в грабительской, реакционной («оборонительной») войне»¹.

Вот что говорили народу большевики. Они не говорили, что царское помещичье-капиталистическое государство должно погибнуть потому, что не умеет довести до конца войну, которую надо вести. Нет, они призывали свой и все народы превратить эту войну в войну гражданскую против своих правительств, затеявших преступную и враждебную интересам народа войну.

Они говорили о том, что эта война является лишь продолжением и завершением преступной политики помещичье-капиталистического государства и, следовательно, не должна ничего менять в отношении к нему. Они говорили, что позиция «защиты» этого государства есть измена интересам народа. Вот что говорили большевики. Разумеется, это не имеет ничего общего ни с позициями Ливенцева, ни с позициями прапорщика Обидина, изображающего в романе «Брусиловский прорыв» «пораженца» и из шкурных соображений готового на сепаратный мир с империалистической, с хищнической вильгельмовской Германией. Оба прапорщика — это не представители глубоких революционных и демократических течений, а только буржуазно-интеллигентская накипь на волнуемом море народной жизни.

В этом заключается основной порок романа С. Сергеева-Ценского.

¹ Ленин, т. XVIII, стр. 81.

¹ Ленин, т. XVIII, стр. 334

Л. КРУПЕНИКОВ
ОБЗОР ЖУРНАЛА „ЛЕНИНГРАД“

(№№ 1—12, 1945 г.)

Такой журнал приятно брать в руки: добротная бумага, четкий шрифт, тонко выполненные заставки и концовки, включающие в себя элементы классического ленинградского пейзажа, прекрасные иллюстрации—рисунки, фотографии, репродукции с картин ленинградских художников. Одним словом, на внешнем облике журнала печать высоких культурных традиций города, имя которого он носит.

«Борьба Ленинграда с фашистскими ордами—это столкновение сил прогресса с силами варварства. Это было столкновение реакционного застоя с действительно прогрессивным городом, с самым прогрессивным в мире населением. И победил Ленинград, победил прогресс...»¹ В этой борьбе и победе сыграл свою роль и журнал «Ленинград». Облик журнала в 1942—1943 годах определялся насущными нуждами боевой жизни города-героя. Преобладала публицистика, короткий фотоочерк, антифашистская сатира, плакат. Статьи и очерки Н. Тихонова, А. Фадеева, Вс. Вишневского, В. Саянова, памфлеты И. Груздева и А. Дымшица, очерки о боях на Ленинградском фронте и на Балтике. Статьи о славном прошлом Ленинграда, о Петре, о возникновении Кронштадта, о Кутузове, об адмирале Макарове. В отделе прозы печатались «Ленинградские рассказы» Н. Тихонова, рассказы А. Крона о балтийских морях, первые попытки отображения «ленинградской темы» намечались в рассказах Розена, Дружинина, Катерли. В журнале ощущалась та высокая целеустремленность, которая пронизывала всю жизнь Ленинграда в период блокады. К единой цели—выстоять и победить—были направлены все помыслы журнала, этой цели был подчинен весь публикуемый материал—и статьи, и корреспонденции, и рассказы, и многочисленные статьи и отчеты о выставках ленинградских ху-

дожников, продолжавших работать, несмотря на блокаду, и рецензии на спектакли, созданные в полуразрушенных, холодных театральных залах. Журнал показывал стойкость и благородство сил прогресса и гневными словами клеймил фашистскую реакцию.

Полный разгром немцев под Ленинградом и окончание 900-дневной блокады выдвинули перед журналом новые задачи. Призывно-агитационный, публицистический характер журнала блокадной поры должен был в известной мере видоизмениться. Раскрытие значения ленинградской эпопеи, показ характеров защитников и жителей города, показ стойкости, самоотверженности, душевной красоты советского человека—ленинградца,— вот что должно было сделаться главной темой журнала—органа ленинградского отделения Союза советских писателей.

Однако весь прошлый год журнал находился в состоянии некоторой растерянности. Он старался подражать газете, печатал очерки, которые в связи с чрезвычайно неаккуратным выходом в свет очередных номеров журнала теряли подчас единственное свое достоинство—актуальность. Потом появилось подражание «Огоньку», возник и исчез отдел спорта, отдел памятных дат, печаталась устаревшая хроника искусств. Журнал утерел свое прежнее лицо и на протяжении целого года тщетно пытался обрести новое. Страдали от этого в первую очередь читатели. Но и писатели Ленинграда не могли, конечно, быть удовлетворены. В конце прошлого года обновленная редколлегия принялась за перестройку журнала.

С первого номера 1945 года в подзаголовке журнала стояло уже не «общественно-политический, литературно-художественный журнал», а только «литературно-художественный». Это не означало, конечно, что будет полностью отсутствовать публицистика, статьи на общественно-политические темы, но говорило о том, что беллетристика займет главное место.

¹ М. И. Калинин, речь на торжественном заседании, посвященном вручению Ленинграду ордена Ленина 27 января 1945 г.

Оперативность, которая должна быть присуща тонкому двухнедельному журналу, позволяла надеяться, что в нем найдут отклик новые живо-трепещущие вопросы, выдвигаемые жизнью и, в первую очередь, все то новое, что связано с переходом страны и города на рельсы мирного развития. Иначе говоря, были основания предполагать, что мы увидим новое преломление «ленинградской темы» в литературе.

Эту тему не следует понимать узко, локально. В известных строках Асеева говорилось:

Это имя —
как гром и как град —
Петербург,
Петроград,
Ленинград!

К современной ленинградской теме примыкают две эпохи, определяемые двумя предшествующими наименованиями города.

Возникновение города и его основатель, блестящие победы России при Петре и Екатерине Второй, декабристы, Пушкин, Гоголь, Достоевский, 1905 год — все это объединено в слове «Петербург»; эпоха Октября, бессмертный образ Ленина, штурм Зимнего дворца, создание первого Совета Народных Комиссаров, борьба 1919 года, приезд Сталина, разгром Юденича—вот что на века связано с Петроградом.

И, наконец, последнее двадцатилетие, включающее Сталинские пятилетки, отмеченное славным образом Кирова, героическим периодом блокады и разгромом немцев,— это двадцатилетие связано с именем «Ленинград».

В обозреваемых нами номерах журнала «Ленинград» в этом году больше всего повезло Петербургу. Первые главы нового романа Ольги Форш «Бессмертный город» воссоздают перед читателем время царствования Павла. Трудно судить по двум отрывкам о замысле всего произведения. Самое начало—подготовка к празднику в Павловске, украшение плаца—знакомит нас с одним из главных героев романа—Карло Росси, учеником живописца Бренна, безродным юношей, не знающим своего отца. Луной ночью спешит Карло Росси к своему великому утешителю, медному всаднику Фальконета. Мелкие

обиды, интриги, бесправное положение—все это ничто в сравнении с тем великим, к чему звал этот всадник. Карло Росси чувствует себя усыновленным им: «—Отец! — И Карло ощутил всем своим существом, что несокрушимая, все преодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней его стала ему второй природой».

Хороший язык, яркие пластические картины Павловска, ночного Петербурга, сдержанная манера изображения, за которой чувствуется подлинное знание изображаемого материала,— все это привлекает внимание к новому историческому роману.

Петербургскому периоду посвящена и «Легенда для пушкинистов» Всеволода Рождественского. Нашему народу дорого все, что связано с именем Пушкина. Хорошо написанный рассказ Рождественского о приключениях пушкиниста, отправившегося в Англию для поисков исчезнувших писем Наталии Николаевны к Пушкину, прекрасно показывает эту любовь к памяти поэта, бережное отношение к каждой мелочи, касающейся Пушкина, готовность отправиться хоть на край света, если там можно будет обнаружить какой-нибудь документ, проливающий новый свет на жизнь и творчество поэта. Надо говорить: формально «Легенда для пушкинистов» не имеет отношения к Петербургу. Но ленинградская тема не может и не должна ограничиваться географической чертой города. «Легенда для пушкинистов», как и все, связанное с Пушкиным, имеет отношение и к петербургскому, и к ленинградскому периодам.

Воспоминания народного артиста Юрьева «Зритель старого Петербурга» рисует нам зрителей конца XIX века, законодателей вкуса—богатых балетоманов, неприглядную картину закулисных интриг. Балерины, ставшие известными благодаря своим «высоким покровителям», пышность балетных спектаклей, бедность и запущенность драматического театра, вытеснение серьезного репертуара сомнительными комедиями—такова картина петербургского театра, ярко нарисованная Юрьевым.

Можно назвать еще целый ряд статей, очерков и рассказов, относящихся к петербургскому периоду: статьи Орлова «Петр Первый», очерк Рашковской «Грибоедов в Петербурге»,

очерк Виглин «Аничков мост» и т. д.

Петроградскому периоду уделено небольшое место, но то, что опубликовано, очень интересно. Это «Воспоминания о В. И. Ленине» Б. Короткова, который с Октябрьских дней 1917 года работал в приемной Ленина в Смольном, а затем, в 1918 году, в Кремле. Б. Коротков, почти ежедневно видевший Ленина в один из самых бурных периодов борьбы за советскую власть, приводит много захватывающих эпизодов и ярких деталей, дополняющих и вносящих новые штрихи в бессмертный образ вождя. В одном из эпизодов автор рассказывает о всепобеждающей силе ленинских слов. Однажды ему пришлось сопровождать Ленина в одну из петроградских казарм, где офицеры вели контрреволюционную агитацию, прелятствуя солдатам организоваться.

«На трибуне из составленных вместе скамеек,— рассказывает товарищ Коротков,— размахивал руками офицер. Он поносил большевиков последними словами. Завидев в дверях нас, невоенных, офицер насторожился.

Ленин пошел прямо к трибуне, а за ним.

Офицер, не сводивший глаз с Владимира Ильича, вдруг взвизгнул:

— Вот он, большевистский главарь! Ага, он сам здесь! Держите немецкого шпиона!..

Я схватил Владимира Ильича за руку. Тяну его обратно, а он тащит меня вперед.

Спокойно улыбаясь, Ленин продолжал идти навстречу офицеру.

— Я сам его прикончу! — крикнул офицер, соскакивая с трибуны. Он бросился на Ленина, но натолкнулся на солдатские руки. Солдаты отшвырнули офицера в сторону. Те же несколько солдат пошли вперед, прокладывая нам в толпе дорогу.

Вот, наконец, трибуна. Ленин всходит на трибуну. Ленин начинает говорить.

У меня отлегло от сердца: лишь бы прозвучало ленинское слово, а уж против него не устоит никто.

Ленин едко, заставляя смеяться весь зал, вышутил и разоблачил все наговоры врагов на большевистскую партию и советскую власть.

Словно взял Владимир Ильич каждого из этих солдат за руку да и вывел их трясини на твердую дорогу.

К концу речи Владимира Ильича гремело и трепетало вокруг.

— Да здравствует Ленин! Да здравствует партия большевиков!

Ленина прямо с трибуны подхватили на руки и тащили и донесли до своего автомобиля».

Многие эпизоды, рассказанные Коротковым, повествуют об исключительной заботливости Ленина о своих сотрудниках, о чуткости, с которой Владимир Ильич относился к своим многочисленным посетителям: «Здесь преобладали рабочие солдаты, крестьяне, матросы. Многие приходили грязные, оборванные, смущаясь своего вида или своего неумения, как им казалось, говорить,— но достаточно было человеку вступить в кабинет к Владимиру Ильичу, чтобы он почувствовал себя равноправным собеседником самого руководителя государства. Покоряла человека простота Ленина. Она сказывалась во всем: и в приветливой улыбке, с какой Ленин привставал из-за стола, и в рукопожатии, и в том, как он спешил сам подставить стул посетителю и как близко-близко усаживал его рядом с собой».

Этими интересными и содержательными воспоминаниями исчерпывается материал, посвященный петроградскому периоду — периоду Октября и первых лет советской власти.

Какое же отражение на страницах журнала ищходит Великая Отечественная война, героическая оборона Ленинграда,— борьба и жизнь ленинградцев в дни войны и в дни завоеванного мира? Нам кажется — очень бледное и неполное.

Начнем с изображения войны.

Рассказ З. Аграненко «Командант Штольцмюнде» в котором показан один день работы советской комендантуры в занятом Красной Армией немецком городке,— типичный очерк. И несмотря на живость изложения и ряд интересных деталей, он теряет значительную долю своих достоинств именно из-за своего переименования в рассказ.

Это не значит, что журнал должен отдавать предпочтение очерку. Нет, для литературного журнала естественно тяготение к рассказу, к небольшой повести. Редакция, видимо, это понимает и, вероятно, испытывая некоторый страх перед очерком, старается по возможности вытеснить его со страниц журнала. Но переименова-

нием очерка в рассказ или новеллу цели не достигнешь. И, скажем, очерк Вс. Рождественского «Колокола Софии» производит куда более сильное впечатление, чем многие так называемые «рассказы». Когда читаешь, как новгородцы, несмотря на обстрел наступавших немцев, прятали в водах Волхова колокола Софийского собора, когда вместе с автором присутствуешь при извлечении уцелевших колоколов после освобождения Новгорода Красной Армией, — испытываешь и гордость за мужественных людей, спасающих колокола Софии, и радость по случаю спасения одной из древнейших реликвий народа, и боль, вызванную страшной картиной разрушения города-музея — древнего Новгорода. Читателю передается та подлинная эмоциональная взволнованность, с которой написан этот очерк.

Короткие рассказы Александра Розена, объединенные общим заголовком «Моя батарея», — это, несомненно, рассказы. В них — законченный сюжет, реальные, запоминающиеся люди; сам рассказчик — командир батареи, от лица которого ведется повествование; девушка-связистка Маша Лебедева, десятки раз исправлявшая под обстрелом порыв связи на линии; шофер Левкин, непрерывно возящий снаряды на батарею мимо «чортовой развилки», пристрелянной немцами.

Будни войны, нечеловечески тяжелый ратный труд в дни нашего наступления, сметка и находчивость, проявляемые рядовыми бойцами при выполнении боевого задания, и, главное, убедительный показ поведения человека в боевой обстановке — бесспорные достоинства небольших рассказов А. Розена, не претендующих на сколько-нибудь значительные обобщения. Однако, хотелось бы предостеречь автора от однообразного построения сюжета. Во всех трех рассказах, например, используется один и тот же прием повтора. Левкин неоднократно по ходу рассказа повторяет: «Ох, не надеюсь я на резину». Этими же словами кончается рассказ. Ход другого рассказа пять раз перебивается фразой: «порыв связи на линии», и эта фраза, как уже заранее ожидает читатель, завершает рассказ. На повторах, хотя и не дословных, построен и рассказ «На берегу реки». Многократное повторение опасного действия, опасность которого заранее известна, во много раз увеличивает

значительность подвига, но когда подобные случаи встречаются подряд в трех коротких рассказах, это уже ощущается как однообразный литературный прием.

Рассказ Вс. Восводина «Настоящий крестьянин» интересен тем, что образ героя, летчика-штурмовика Калетаева, раскрыт через восприятие его майором немецкой разведки Зейтцем. Самолет Калетаева был подбит над территориями, занятой немцами. Поисковые партии не обнаружили летчика. Майор Зейтц организовал усиленные розыски, стремясь во что бы то ни стало изловить Калетаева, наводившего ужас на немцев. И вот к майору приводят неизвестного, одетого в потрепанную одежду, имеющего при себе справку районной больницы на имя крестьянина Петрова, возвращающегося после болезни домой. Сложный словесный поединок Петрова-Калетаева с немецким майором раскрывает перед нами выдержку и находчивость летчика. Староста-предатель предлагает майору проверить — действительно ли Петров крестьянин. Петров выдерживает проверку — он великолепно действует косой, выкашивая при охранных кусок луга, он без запинки излагает значение всех народных примет, о которых спрашивает у него староста. Глядя на этого сложного крестьянского парня, майор вспоминает немецкого асса, капитана фон Флятау, носителя старинной дворянской фамилии, сбитого на днях летчиком Калетаевым. Что общего может быть между этим крестьянским парнем и прославленным штурмовиком Калетаевым? И Зейтц отпускает Петрова, заставив его расписаться в своих показаниях. Майор быстро понимает свою ошибку, случайно сверив подпись Петрова с запиской, написанной Калетаевым, найденной в кабине сбитого штурмовика, — и то, и другое написано одним почерком. Старый немецкий разведчик вне себя, — он долго не может понять, как его провели. Ведь это же был настоящий крестьянин. Действительно, летчик Калетаев — это крестьянин, который, так же как его отец и дед, потом своим поливал родную землю, а затем стал летчиком и пошел защищать эту свою землю от непрошенных гостей. Он связан с землей и знанием полей и примет, и близкой с детства полковой работой, и несокрушимым стремлением отстоять ее в борьбе с врага-

ми. Образ летчика Калетаева несо-
мненная удача автора.

О работе советской разведки на
фронте повествует «рассказ военного
следователя» С. Хмельницкого, напи-
санный в приключенческом жанре.
Этот интересный рассказ, читающийся
с неослабеваемым вниманием,— к со-
жалению, единственное произведение
указанного жанра. Главным достоин-
ством рассказа является то, что увле-
кательный приключенческий сюжет
строится здесь не в ущерб правди-
вому изображению военной обстанов-
ки и действующих лиц.

Придется остановиться еще на од-
ном рассказе, имеющем, казалось бы,
отношение к военной тематике: дей-
ствие его происходит летом 1942 года
в Москве и, спустя два года, на фрон-
те, на берегу Прута. Это рассказ Н. Ни-
китина «Тоня». В подзаголовке ска-
зано: «Рассказ приятеля». Рассказчик,
с которым произошли описываемые
события, тоже писатель, но, несмотря
на это, мы склонны считать, что от-
вечать за все изложенное в этом
сочинении должен не мифический пи-
сатель — приятель автора, но сам ав-
тор — Н. Никитин.

Рассказчик прибыл на короткий
срок в Москву с фронта, познакомил-
ся в писательской столовой с девуш-
кой Тоней и в тот же вечер был
у нее в гостях. Здесь, в обществе
хозяйки дома — тониной матери и ак-
тера Рындины, он застал своего
старого знакомого — журналиста Гусева.
Рассказчик сообщает, что ему все тут
было как-то непонятно — и разгово-
ры, и неясные взаимоотношения двух
этих мужчин с хозяйкой, взаимоот-
ношения, как можно догадаться, до-
вольно неприглядные. Рассказчик вы-
ясняет впоследствии, что у хозяйки
есть муж, инженер, работающий на
Урале, что сама она — бездарная ак-
триса, занимающаяся халтурой, кото-
рую ей устраивает ее старинный по-
клонник Рыдин. Все эти неприятные
и малоинтересные подробности не
имеют никакого отношения к рассказу,
героиня которого Тоня. Тоня находит-
ся тут же, причем то исчезает куда-
то, «взмахнув юбкой, как флаг»,
то снова появляется, неизвестно по-
чему покачиваясь. Журналист Гусев
несет пошлейший вздор, необходимый
автору только для того, чтобы сооб-
щить некоторые подробности о хо-
зяйке и Тоне и завить рассказчику,
что тот плохо пишет (с чем, впрочем,

нельзя не согласиться). Гусев кричит
ему: «Видеть? Понимать? Если ты
видишь, это еще не значит, что ты
понимаешь». Эта фраза необходима
автору. Как мы увидим в дальней-
шем, она «стреляет». Гусев опера-
ции над своей физиономией: «Гусев
усмехнулся, каким-то движением сжав
свое серое, истертое, точно резника,
лицо». Из слов Гусева мы успеваем
узнать, что Тоня — тормозной кондук-
тор и сопровождает эшелоны, идущие
на фронт.

Так и не объяснив созданную им
неясную обстановку, рассказчик со-
брался было уходить, но Тоня «по-
смотрела мне в глаза и сказала: —
А разве вы не ночуете у нас?

Вот как все это было. И я остался».

И в то время как хозяйка дома
бранилась из-за чего-то с актером
и Гусевым, наш герой отправился
с Тоней на балкончик. Не теряя вре-
мени, он... «обнял Тонию... почувство-
вал теплоту ее плеча, влажную кожу».
При этом, оказывается, он ничего не
забывал. Ни того, что война, ни того,
что завтра нужно будет послать
письмо и деньги жене, эвакуирован-
ной с детьми в Казань. Но хоть он
ничего не забывал, но он, оказывае-
тся, в то же самое время «...ничего не
помнил, и жизнь воспринималась, как
в юности, без всякой мысли о бу-
дущем, о завтрашнем дне». О юно-
сти автор говорит: «...Юность была
у Тони, у меня ее все-таки не
было». В этом он убедился почему-
то только через два дня и почему-то
именно после того, как во время тре-
воги (ночью!) спустился вместе с
Тоней в метро из своего номера
в гостинице «Москва» (видимо, Тоня
нанесла ему ответный визит). Вслед
за тем, как он убедился в отсутствии
юности, он расстался с Тоней и вер-
нулся на фронт.

Через два года на фронте, на бе-
регу реки Прут, герой предавался
разным ироническим размышлениям,
ход которых был прерван вызовом
к редактору военной газеты. Редак-
тор предложил срочно написать за-
метку о паровозной колонне и дал
соответствующий материал. Это было
письмо начальника колонны, в кото-
ром сообщалось, что поездная бригада
под бомбами растаскивала горящий
состав. У Тони Петровой, героине-
ски спасшей паровоз, обе ноги были
перевиты осколками, и она умерла.

Рассказчик уверяет, что его «оглушила эта бумажка». Но все-таки через полчаса он подал редактору небольшую статью. «С тех пор мне все время вспоминается Тоня. Прав Гусев (вот когда он понадобился — для эффектной концовки!)... Как много, как много самого важного в жизни я до сих пор не понимаю», — восклицает рассказчик. Так кончается этот рассказ, вызывающий чувство если не возмущения, то досады.

Неизвестно, что понимает мифический писатель — герой рассказа и друг автора, но сам автор явно не понял того, что подобного рода «рассказы» лучше не печатать. Не поняла этого, к сожалению, и редакция журнала.

Ленинградской теме в журнале пока что положительно не везет. Здесь опубликовано немалое количество таких рассказов о Ленинграде, которых лучше бы не было.

Поражает однотипность сюжетов большинства рассказов.

Возьмем, например, рассказ Е. Катерли «В отпуску». Сержант Саша Симаков получает после ранения отпуск и едет на три дня в родной Ленинград, где живут его мать и жена Лизанька, работающие портнихами на швейной фабрике. Мать, которую он застаёт дома одну, сообщает, что Лиза вернется только в выходной, так как работает очень далеко и работа срочная. «— Разве она с фабрики ушла? — Нет, зачем ей с фабрики уходить? С фабрики работа...» Читатель уже догадался, в чем дело. Но Саша Симаков не понимает, а мать, конечно, для удобства автора, не успевает сообщить об этом сыну, хотя они и разговаривали несколько часов. Наутро Саша отправляется разыскивать Лизу и попадает в полуразрушенный жилой дом. Он видит девушек, которые работают над восстановлением дома, но, несмотря на это, думает, что здесь швейная мастерская, в которой работает его жена. Вся эта путаница нужна только для того, чтобы вызвать у Саши отчаянную ревность, когда он поднимается в квартиру, где должна быть Лиза, и не видит здесь ни одной швейной машины. Лиза обманула мать — это ясно. И «ревнивые мысли с такой силой закипели в душе Симакова, что ему сразу стало жарко». Но вот он услышал где-то в глубине квартиры голоса, — квартиру кто-то

ремонтировал. Наш герой «пошел на голоса». В полуразрушенной комнате сидели чегыре девушки и пятая (видимо, для нагнетания трагического впечатления) стояла около остатков пианино и дергала струну, издававшую тонкий жалобный звук».

Ревность Саши Симакова достигает апогея; одна из девушек, в которой он узнал свою Лизаньку, «...всклипывала и сморкалась. Может быть, она плакала, а может быть, у нее был насморк». Но герой быстро понял, что она плакала, потому что ее обманул какой-то Митенька, и девушки советуют ей забыть его, не гоняться за ним и т. д. И тут Саша «с грохотом отшвырнул полавший под ноги кусок штукатурки и, как грозное привидение, шагнул в комнату».

Происходит бурное объяснение, в результате которого бестолковый Саша в конце концов все-таки понимает, в чем дело. Оказывается, девушкам необходимо сделать на потолке падуку, а они не умеют. Митенька же — парень, который обещал им помочь и обманул. Примиренный ревнивец от радости обещает жене не то что падуку — лепной карниз сделать (Саша по довоенной работе, к счастью для автора, штукатур). И сержант Саша Симаков, приехавший после ранения отдохнуть и поглядеть с близкими, все три дня лепит карнизы и делает прочую штукатурную работу. Ему не удается нигде побывать, не удается пройтись по Невскому, не удается почитать. Только на обратной дороге в часть сумел он, несчастный, вздремнуть немного.

Удивленные однополчане сначала поражаются, наконец, осененные догадкой, нескромно и с завистью в голове спрашивают: «— Молодая жена, значит, спать не дала?»

— Вот именно, молодая жена...»

В этом рассказе есть все что угодно — и фальшивая, надуманная ситуация, и пошлые рыдающие струны роаяля, и спекуляция на теме восстановления Ленинграда. Отсутствует лишь одно — реальная жизнь.

Ситуации подобного рода прельщают и других авторов, — примеры заразительны. В рассказе П. Журбы «На лесах», опубликованном в конце прошлого года, мы присутствуем при аналогичной встрече летчика Лагретия с его невестой Надей, славной каменщицей. Неожиданная встреча

происходит на лесах восстанавливаемого дома. Одна из кладниц, более догадливая, чем автор, предлагает архитектору отпустить Надю до конца смены. Надя, конечно, отказывается, а летчик тогда говорит: «Добро. Давай и я тебе помогу». И жених с невестой в трогательном единении кладут кирпичи.

Так легко и просто (несмотря даже на припадки ревности) встречаются люди после многолетней разлуки, пройдя сквозь небывалые испытания и страдания. Им вовсе не нужно побыть наедине, нет необходимости поделиться выстраданным и пережитым за годы войны. К чему? Берется в руки кувалда или кирпич и начинает лепиться красивый карниз. Полная безмятежность, полное отсутствие чувств и мыслей.

В рассказе В. Кетлинской «Белые ночи», выгодно отличающемся от многих других рассказов, ситуация: героиня приезжает в отпуск с фронта, долго ищет девушку, которую он любил, и совершенно неожиданно встречает ее на работах по разборке разрушенного дома. Женя, героиня рассказа, сама просит подруг отпустить ее с Федором. Своенравная, много до войны фантазировавшая девушка, которая изводила и мучила когда-то Федора, многое испытала и поняла за время блокады. Женينو представление о героизме и об идеале героя, того единственного, который может стать настоящим спутником жизни, освободилось от наивности и ходульности. И, познакомившись с ней, мы верим ее словам: «Ты думаешь, я не знаю, что такое героизм? Это вот то самое, от чего пот и ломота в пояснице,— кирпичи таскать, долбить землю, мокнуть и мерзнуть, и не иметь дома, и не иметь хлеба, и не знать отдыха, и не иметь кому пожаловаться...» Такое понимание героизма открылось перед Женей, как и перед тысячами других ленинградцев, перенесших блокаду, выстоявших и победивших. У Жени появилось и иное представление об идеале ее героя: «Человек мне нужен, понимаешь? Мой простой, и застенчивый, и неуклюжий человек, а не хвастун с молодецкой выправкой». Благополучная «диккенсовская» концовка рассказа с посещением загса поспешна и снижает значение рассказа. Поэтическое настроение белых ночей Ленинграда ис-

пользуется автором в качестве каталогизатора чувств героев¹. Не будучи этих ночей, сближение и взаимное узнавание людей со сложными характерами должно было бы, повидимому, сильно затянуться.

Понимание этого неадекватного изменения в характерах людей, разлученных войной и встречающихся после многолетних и не схожих жизненных испытаний, хорошо показано в рассказе И. Бражнина «Поезд отходит». Здесь, увы, опять знакомый сюжет: герой приезжает с фронта в отпуск на три дня (можно подумать, что ленинградские писатели, как школьники третьего класса, пишут сочинение по известному учебнику «напишите рассказ к этой картинке»). Совершенно случайно он встречается с женой и на лесах, а у себя в доме. Виктор и Таня прожили в эти годы настолько трудную и сложную жизнь, что каждый из них по-своему изменился, у каждого появились новые, неизвестные другому черты. И в эти три дня, пока они были вместе, они чувствовали отчуждение и только постепенно узнавали, открывали под новыми чертами старые, «свои» знакомые и близкие черты. И только в вагоне, перед самой минутой расставания, они снова окончательно «узнали» друг друга.

Этот рассказ, так же как и некоторые упомянутые выше, заставляет остановиться вот на каком вопросе: авторы и их герои часто вспоминают довоенную жизнь. Испытания, выпавшие на долю советских людей в годы войны, действительно беспримерны. Но даже в сравнении с этими испытаниями наша довоенная жизнь не носила того розово-сиропного характера, который придают ей авторы рассматриваемых рассказов. В самом деле, из чего складывалась жизнь героев этих рассказов до войны? Танцы, посещение концертов, билеты на «Эсмеральду». Героиня рассказа «Поезд отходит», Таня, приходила домой, «входила в теплый обжитой мир, погружалась в него с привычной радостной беззаботностью». Единственные неприятности были связаны с мелкими любовными неудачами. Не жизнь, а райское блаженство! Так примитивно и скучно рисуют авторы

¹ Кстати сказать, рассказ иллюстрирован прекрасной гравюрой «Белые ночи» художника Юдовина.

картину человеческого счастья. Абажуры, «квартирка, как картинка», тишь да благодать. Ни забот, ни борьбы, ни стремлений. Неверно все это. Советский народ победил в этой тяжелой, кровавой войне, потому что он прошел огромную школу борьбы за социализм, за построение нового общества. Умалаять значение этой борьбы и связанных с нею трудностей не только неверно, — подобное изображение по существу искажает и перспективу нашего будущего. Получается, что необходимо лишь оштукатурить стены, окрасить их масляной краской, водрузить на место упавшие абажуры и починить рояли — и вместо скорбного звучания порванных струн вновь польются мажорные звуки. Не для такого чахлого «счастья» боролись и погибли советские люди. Победа открывает перспективы небывалого расцвета нашей родины, но за этот расцвет нужно будет еще побороться, а не сидеть в теплом обжитом миреке, погрузившись в него «с привычной радостной беззаботностью».

Стоит остановиться на языке героев рассматриваемых рассказов. Как выше упоминалось, исторический роман Ольги Форш «Бессмертный город» отличается ярким, исторически точным языком. Хорошо написаны и исторические рассказы о Суворове Л. Раковского и «Легенда да пушкинстов» Вс. Рождественского. Современной же тематике и здесь не повезло. В рассказе П. Журбы с претенциозным названием «Память сердца» герои опять встречаются после трех лет разлуки. Капитан Долин знакомится на фронтовой дороге с лейтенантом Соней Рубиной. Именно знакомится, потому что, строго говоря, они почти не были знакомы. Правда, в декабре сорок первого года, под Ленинградом, Долин задержал неизвестную девушку, но она убежала и отправилась на минное поле собирать капусту. На обратном пути, с мешком капусты за плечами, она добралась до землянки боевого охранения, где был Долин. Тут выяснилось, что она с группой девушек работает на постройке дзотов. Соня отправилась к себе. Больше они не выдались. Потом Долин, вернувшись в свою часть после ранения, узнал, что Соня еще несколько раз ходила за капустой и ее бригада построила дзоты досрочно. Это известие нашло у Долина сле-

дующий волнующий отклик: «Соня пулковская, — вздыхал Долин, — вот это да. Не какая-нибудь круть-верть с кучеряшками. Такая в обиду не даст и сердце согреет». Сделав этот невразумительный вывод о качествах Сони, герой три года не вспоминает ее и вот теперь вновь, встретив ее, не знает, что сказать. А сказать действительно нечего. Поздоровались и попрощались. Машина Сони тронулась в путь. А капитан Долин «стоял, багровел от напряжения и не знал, какое самое нужное слово еще сказать». Но догадливая Соня, внезапно перейдя на «ты», крикнула самое нужное: «Пиши ПП 21605». Вот каким трудным языком заставляет автор говорить своих героев и примерно таким же языком описывает их душевное состояние.

В рассказе Е. Катерли «В отпуску» ревнующий герой говорит: «Я не это ожидал дома встретить, а получился — один обман».

Он круто повернулся и, запихаваясь о доски и кирпичи, пошел обратно».

Яркий пример литературной неряшливости являет коротенький рассказ Н. Григорьева «Светлый день», занимающий всего лишь треть странички журнала. Редакцию, видимо, прельстила тема. Действительно, это единственный рассказ, посвященный непосредственно переходу на мирный путь развития. Читатели с нетерпением ждут произведений, посвященных этой волнующей теме. И вот что им преподносят.

Автор сообщает, что он прогуливался в летний день по сельской дорожке, любуясь стеблями ржи, которые блестяли, «как струны арфы». Вдруг он увидел, неизвестно где находившиеся (это не объяснено) какие-то тусклые отсвечивающие плоскости, которые он принял за грани большого камня. Тут бы ему присмотреться получше, да не получился бы нужный эффект. На помощь автору приходит пчела. «Внимание мое рассеялось ударившей меня в щеку пчелой». От такого удара, можно, конечно, забыть о тусклых плоскостях. Но они о себе быстро напомнили, — перед героем появляется огромный танк «Тигр» с фашистским крестом на броне. Автор шарахнулся в сторону, хотел бросить несуществующую гранату, но во-время вспомнил что война окончилась, а тут кто-то еще крикнул:

«Маруська, помалу тяни, не гектары нашешь». Тут наш герой «мгновенно вскочил и, прихрамывая, вышел из своего убежища». Почему вскочил? Ведь нигде не сообщалось, что он падал. Читатель помнит только, что герой шархнулся в сторону. И о каком убежище идет речь? Все эти несообразности размещены на нескольких строчках. Наконец выясняется, что «Тигр», перешедший на рельсы мирного развития, помогает натягивать провода для линии высоковольтных передач, разрушенной во время войны. Маруська-трактористка вела этот танк. Неожиданно для читателей и, вероятно, для окружающих, испугавшийся было герой снял кепку: «Я обнажил голову перед русской женщиной». Все.

К сожалению, и в критическом отделе язык часто оставляет желать лучшего. Так, например, в статье о пианисте Софроницком музыкальный критик Л. Баренбойм, считая главной заслугой пианиста приход к мудрой простоте, пишет об этом отнюдь не просто: «Он (Софроницкий) скупно пользуется красочной гаммой фортепиано. Порой даже кажется, что он отвергает звуковую колористику. Вместо красок — четкие контуры, на которые падают разные оттенки света и тени... Он почти не пользуется «волнообразной» динамической линией, состоящей из мелких фаз подъема и спада. Динамика пианиста подчеркивает соотношение больших звуковых пластов... Ритмический пульс его стал устойчивым. Софроницкий почти не отклоняется от ритмической пульсации». Эта псевдоученая «колористика» абсолютно непонятна читателю.

В отделе критики, опубликовавшем ряд интересных статей по истории русской литературы, опять-таки не

везет современности. Ей посвящают лишь короткие серые рецензии типа аннотаций, не ставящие никаки серьезных проблем, касающихся современной литературы.

О поэтическом отделе журнал «Ленинград» сказать, к сожалению, почти нечего. По сравнению с высоким уровнем ленинградских поэмы и стихов, появившихся в минувшее трехлетие, стихи, опубликованные в этом году в журнале, редко радуют читателя. Отдельные удачи (четверостишие Ахматовой, стихотворения Вл. Лифшица: «Не знал, о чем тебе спрощу», «На бахче», финские стихи «Из походной тетради 1940 года» Н. Тихонова) не в состоянии окрасить общий бледный фон.

Редакция журнала делает пока что только первые шаги на пути превращения «Ленинграда» в подлинный литературно-художественный двухнедельник города-героя.

Появление ряда удачных рассказов и очерков, творческое содружество с ленинградскими художниками, приведшее к прекрасному художественному оформлению журнала, — это, бесспорно, заслуга журнала, но заслуга явно недостаточная.

Главная тема журнала — героизм и стойкость советского человека — ленинградца, выкованные в защитниках и жителях города-героя, города русской военной и военно-морской славы, колыбели Октябрьской революции, — эта тема не нашла еще в журнале «Ленинград» сколько-нибудь достойного разрешения.

Высокий уровень ленинградской культуры и ленинградского искусства должен проявиться в содержании, а не только во внешнем оформлении журнала.

БОРИС БЕГАК

«КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ»

Обзор

В самые тяжелые дни Отечественной войны против немецких захватчиков советские литераторы помнили о своем испытанном оружии — о грозном смехе. Чувство идейного превосходства нашего народа над вра-

гам, глубокое сознание правоты нашего дела и твердая уверенность в грядущей победе над механизированной людоедской ордой — вот что питало сатиру военных лет — публицистическую сатиру большого диапазо-

на, — от гневной инвективы, разоблачительного памфлета, до насмешливого народного анекдота или злой эпиграммы — «кокоченной летуны», по определению Баратынского, неизменно норовящей вцепиться в глаза подлому уроду.

Советская сатира утвердила свое право на место в боевом строю еще в годы гражданской войны. Многие было сделано и в период военных операций 1939—1940 годов. И все же большинству наших писателей именно в годы Отечественной войны пришлось осваивать в этом жанре законы оперативности, непосредственного отклика на событие или явление. Рождались и гасли однодневки, которым мешала выжить не только быстрая смена событий, но подчас и литературная «скороспелость». Иные — мастера с большим опытом — могут быть, впервые нашли себя в новом для них жанре политической сатиры; другие нашли новые боевые пути и перспективы в знакомой им сатирической работе; третьи, даже не будучи профессиональными писателями, впервые обратились к оружию смеха, против которого, по замечанию известного художника-сатирика Бориса Ефимова, бессильны самые тяжеловесные танки.

В истории советского искусства останется сатирическое содружество художников Кукрыниксов и писателя С. Маршака, особенно окрепшее в суровые годы Отечественной войны.

Работа С. Маршака в годы войны — это замечательный пример того, как перевооружение писателя обогащает его творческие возможности. Талант С. Маршака, приобретя какую-то новую грань, не деформировался, а лишь обогатился. Прежняя смысловая четкость, прозрачность поэзии, ясность строфической структуры, словесная и рифменная изобретательность, ирония и свежесть каламбура остались достоянием С. Маршака. Но добрая ирония и насмешка детского писателя перешли в иные качества, переродились в острый, злой и тонкий политический памфлет. Заострился и усовершенствовался стиль его поэзии.

Конечно, неизбежная спешка газетной работы мешала Маршаку с одинаковым мастерством разрабатывать в своих поэтических сатирах каждый, взятый, как тема, факт международной информации. Среди маленьких фельетонов поэта есть летучие одно-

дневки, но есть и устойчивые образцы сатиры, которым злободневность не помешала, а помогла пережить отраженное ими явление или событие и остаться в литературе.

В противоположность сатирическим стихам Демьяна Бедного, предпочитавшего обходному маневру яростную лобовую атаку, политическая сатира Маршака проникнута презрением, уничтожающей иронией. Эта сатира характерна стремлением найти ахиллесову пяту врага, по горьковскому завету — преобразить страшное в смешное и выставить это смешное на посмешище народа. Спокойная уверенность в победе над захватчиками питает злую иронию Маршака в самых трудные моменты борьбы. Идиотизм расистских и селекционных теорий гитлеровцев («Сверхскотство»), кровожадное лицемерие тирольского шпика («Людоед-вегетарианец»), пышная брехня нацистской пропаганды («Тысяча и одна ложь»), воспитание молодых прохвостов («Аттестат зрелости»), сверхтотальные мобилизации («Шнабель и его сыновья»), обреченность фашистских притязаний на всемирное владычество («Лягушка и глобус»), марионеточность гитлеровских сателлитов — неудачливых соратников «крестового похода» («Вся Европа») — вот узловые темы сатиры Маршака, переходящей в сочетании с рисунками Кукрыниксов со страниц «Правды» на красочный плакат. Спокойная, но убийственная для вражеской «философии» ирония простых и метких определений Маршака эффектнее звонкой пощечины:

Гитлер читит благоговейно
Не Эйнштейна и не Гейне,
А корову и быка,
Потому что у коровы
Светлый ум и дух здоровый,
А от Гейне и Эйнштейна
Ни телят, ни молока...

(«Сверхскотство»)

Неожиданность и свежесть сатирических находок придают особую остроту пародии и политическому памфлету («Два у Шнабеля сына, как и он, два кретина...»), характерны для сатиры С. Маршака и многозначительный каламбур («...И правда, это лишь цветочки, хоть и в железной оболочке...»), заостренный, но все же с отпечатком прежнего Маршака, озорной неологизм («...И вот пришел

Шехерезад и прочитал ему доклад...»).

Сама фактура прежнего насмешливого стиха Маршака по-новому претворяется и оживает в форме политического памфлета, помогает и плакатному и эстраднему и даже вокальному звучанию строки. Вспомните хотя бы сатирическую песню «Чистота арийской крови», музыку к которой написал композитор Листов.

Эпиграмма, анекдот, сатирический портрет, известные нам и по прежнему творчеству Маршака, широко используются в преобразованном виде Маршаком — политическим поэтом, не мешая, однако, этому разносторонне талантливому писателю продолжать свою работу по переводам английских песен и баллад, сонетов Шекспира чудесной лирики Китса... Наоборот, как и ранее в детских книжках, так и в политических своих памфлетах Маршак плодотворно использует культуру балладной и песенной строфы. Свойства фольклора русского и английского, всегда привлекавшие мастеров детской литературы, — пословица четкость и лаконичность, каламбурное озорство, острота и ясность — по-новому оживают в политической сатире Маршака. «Блиц-фрицы», изданные для детей, наглядно подтверждают эту связь между Маршаком-детским писателем и Маршаком-памфлетистом.

Свое слово в жанре политической сатиры сказал Сергей Михалков, сатирическими стихами которого отмечены значительные периоды «Окон Тасса», газетная стихотворная публицистика. Сложные сатирические стихи Михалкова получили распространение и на эстраде. Они весьма остроумно иллюстрируют знаменитую сталинскую характеристику немецкой стратегии:

...Всем хорош устав немецкий,
Все в приказах учено,
Чтоб разбить народ советский,
Пунктов всех достаточ... но...

В колесе немецком — палка:
Наша сила и смекалка.
И на этом колесе
Немцы будут аккуратно
На Берлин катить обратно,
Но докатятся не все...

(«Дефективная стратегия»)

В этом развернутом каламбуре — сила придумки, свойственная лучшим образцам сатирического жанра.

Волк, придя из лесу, врал:

— Я охотника задрал!

Верьте слову! Видит бог! —

И от раны тут же сдох.

Этой басни смысл и толк

Пусть поймет фашистский волк.

(«Волчки враки»)

Так писал в первый год войны испытанный мастер боевой сатиры — Лебедев-Кумач, культивировавший любовный слух эпиграмматической и басенной форм.

Басни в эти дни писали многие. Старинное лукавство басенного иноязычия насытилось яростным политическим смыслом боевого дня. Однако настоящая удача тут была не частой, и никому так не оказалась сродни басенная форма, как испытанному ее мастеру Демьяну Бедному.

В басне издевается он над бесстыдной моралью захватчиков, «возмущенных» тактикой русского народа («Волк-моралист»), в басне раскрывает свойства немецкой грабьармии. Верный своей всегдашней тяге к народным формам сатиры, Демьян Бедный в своей незатейливой аллегорической сказке о битве двух петухов, написанной еще в начале войны, уверенно предсказывал победу над мракобесами («Победа»). В стиливых традициях некогда знаменитого плакатного «Манифеста барона фон Врангеля» Демьян Бедный пишет сатирическую балладу о возмездии фашистским мародерам («Драй петухо»). Как и в гражданскую войну, многие его строки служат прямой стихотворной иллюстрацией к сатирическому плакату. Первостепенное значение в его фельетоне военных лет снова приобретают исторические аналогии и цитаты, а в стихотворную ткань фельетона вплетается подлинный документ, подкрепляющий мысль поэта. Такова, например, роль дневника немца в Камеруне — дневника, недвусмысленно рассказывающего о колониальных зверствах «цивилизаторов» за пятьдесят лет до их разбойничьего похода на Восток («Раса господ»).

Подлинный документ живет в разоблачительных статьях Алексея Толстого, выдающегося русского беллетриста, проявившего себя в дни войны страстным публицистом, глашатаем правды.

Живые типы довоенной и военной Европы, письма немецких солдат и

письма, адресованные немецким солдатам, следы фашистских зверств, виденные общественными глазами писателя — общественного деятеля, — вот источник выступлений Алексея Толстого. «Это все не фантазия, не бредовое видение, а чистая правда», рассказанная в его гневных публицистических статьях-фельетонах. Именно эта правда — материал для созданных Толстым уничтожающих памфлетных характеристик «люднишек квадратного ума, воспитанного Мартином Лютером и озверенного Гитлером», люднишек, которым мир человеческого равенства неизбежно «представится пустым, без восторгов преклонения и подчинения, люднишек, которые шли на неслыханные преступления ради гигантской гвиной сосиски, замазавшей сладчайшим видением в пустой, как выжженная пустыня, немецкой совести».

С большой силой сарказма рисует Толстой отталкивающие черты отцов и детей гитлеровского рейха («Русский и немец»), вкладывал в этот сарказм свое незаурядное знание Европы. Метко определяя гитлеровскую стратегию как «клочок сена, привязанный на палке перед мордой осла», писатель клеймит дегенератов, которые «волчьим бичом фашизма» гонят немцев «назад в пещеры, на обглоданные кости», гонят их в бездну, куда немцы бегут с историческим ревом», с достойной удивления торопливостью («Разгневанная Россия», «Вера в победу»). Толстой — публицист, негодующие выступления которого неоднократно принимали формы иронии, злой насмешки, сарказма и памфлета — в самые трудные для русского народа дни безошибочно предсказал, что Гитлер проиграет войну «катастрофически, с ужасающим шумом и позором» («Вера в победу»), что, глядясь в карты, которые раскинула перед властвующим выродком старая ведьма — его судьба, он со страхом видит, что «вместо бубен лежат перед ним пики — черные и зловещие» («Векковая сила»).

Весьма большой разоблачительный смысл приобрел документ в сатирической работе Ильи Эренбурга.

С публицистической сатирой Ильи Эренбурга мы познакомились давно, в первые годы его литературной деятельности. Но как мало похож его ранний роман-памфлет о похождениях мексиканского философа, скептика Хулио Хуренито, на публицистические

памфлеты 1941—1945 годов. Гораздо ближе к существу этих памфлетов роман «Падение Парижа».

За памфлетными характеристиками персонажей романа угадываются прототипы «тех, кто предал Францию», — фигуры профессионального торговца совестью — министра Поля Тесса, маститого социалистического лидера Огюста Виара, сухого, мрачного и немолчаливого прямолинейного организатора военного заговора — Бретейля, хамелеоноподобного, быстро меняющего хозяев, редактора газеты Жолио.

Горьким и патетическим словом памфлетист Илья Эренбург преследует и бьет фашизм. Повседневная политическая работа писателя дает Эренбургу возможность широко оперировать необходимой документацией — немецкими письмами, дневниками, приказами. Так, простой перевод аккуратно составленного немцем списка собственных злодеяний становится основой фельетона или очерка Эренбурга. От очерков, собранных теперь в трех томах сборников «Война», до жутких правдивых анекдотов цикла «В фашистском зверинце» — Эренбург остается писателем одной темы — темы непримиримой ненависти и глубокого презрения к извечному врагу культуры — к фашизму.

Для памфлетов Эренбурга характерна широкая кругозора и связанная с нею богатая ассоциативность. Документ, положенный в основу памфлета, оживает на фоне других материалов, привлеченных по смежности, по сходству или по грубому контрасту между документом и действительностью. Эренбург-памфлетист не злоупотребляет каламбурами, он расширяет каламбур до философского обобщения: «В фашистском зверинце мне жаль только зверей», — говорит он о пожаре в берлинском зоопарке.

Памфлетную характеристику писатель создает несколькими резкими и внезапными штрихами. «Вспомни, как они пришли к нам», — пишет Эренбург в предисловии к сборнику памфлетов, ранее печатавшихся в «Красной звезде»:

«Шли высокорослые и плюгавые, с квадратными тупыми головами, с глазами, как будто сделанными из мутного стекла, с топотом и гоготом, шли пивовары, конторщики, сутенеры, метафизики, деятели, вешатели,

сверхчеловеки, колбасники, павианы; шли эсэсовцы с черепами на руках; перемещалась серозеленая саранча; пригали немки, похожие на слонящих гиен; ползли гады из дивизий «Адольф Гитлер», душегубы, приват-доценты с мордами жаб, кричающие и квакающие палачи.

Какими же путями доходила до читателя наша военная сатира? Основными руслами ее распространения была общая и фронтовая пресса, плакат, листовка, песня. В журнале «Крокодил» мы встречаем острые фельетоны Рыклина и Бермонта, военные новеллы Михаила Зошенко, сатирические сказки и скетчи Леонида Ленча, стихи Антокольского, Твардовского, Безыменского, Кирсанова, Маршака, Уткина, Лебедева-Кумача и других. «Крокодил» печатал так же выдержки из сатирических страниц фронтовых газет, образцы зарубежного юмора, анекдоты, рассказанные пленными немцами.

Появился журнал «Фронтальной юмор»; сборники фронтового юмора и сатиры выходили в приложении к журналу «Красноармеец», в изданиях, предназначенных для эстрады, в изданиях политических управлений фронтов. Обычно такие сборники подводили итог сатирической работы писателей во фронтовых газетах. Так, например, сборник М. Слободского «Четвертая страница» заключает в себе основное, что было создано по этому фронтовиком еще в газете бывшего Западного фронта — «Красноармейская правда». Ленинградец Александр Флит в мирное время писал дружеские литературные пародии. Во время войны он стал острым сатириком, активным работником газеты Ленинградского фронта «На страже родины», где создал отдел «Прямой наводкой». Стихи Флита, печатавшиеся ранее во фронтовой газете, собраны в книжке «Шрапнель». В другой газете того же фронта — «Боевая красноармейская» — под псевдонимом «Иван Муха» писал ленинградский поэт-сатирик Владимир Иванов, газетные стихи которого были изданы затем под общим заглавием «Стихи бойца Ивана Мухи, от которых фритц не в духе».

Писатель Михаил Левитин редактировал сатирический журнал полуправления Карельского фронта «Сквозняк», характерный конкретной

своей — северной темой. Он сгруппировал вокруг себя солидный актив авторов и художников — бойцов и офицеров Карельского фронта. Постоянный герой «Сквозняка» — боец Костя Перцев; герой армейской газеты «За честь родины» — отважный боец Тимофей Сибиряков, чьи смелые выдумки и военные хитрости основаны были на реальных случаях из фронтовой жизни.

Иван Муха, Костя Перцев, Тимофей Сибиряков, или другой подобный им типичный персонаж, воскрешают собой давнишнюю традицию русского военного лубка, плаката, журнального и газетного юмора. До высоты большого художественного обобщения этот жанр поднял Александр Твардовский, который провел своего возникшего во фронтовой газете «Красноармейская правда» Василия Теркина по всем дорогам войны вплоть до Берлина.

Теркин — это совсем не тот утрированный герой прежнего «квасного» лубка, который, по иронической характеристике Твардовского, «русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил». Живой и естественный, Вася Теркин стал другом наших фронтовиков, его острые изречения, как свидетельствуют письма, вошли в лексикон бойцов и офицеров, Теркин перешел в плакат, возникал на всех участках фронта и всюду встречал горячие симпатии бойцов, потому что воплощенное в нем сплетение неизбывного юмора с героическим духом было и осталось чисто суворовской чертой русского бойца, помогающей ему драться за родину и побеждать в бою.

Интересна и другая фигура, созданная в дни Отечественной войны, — русский бывалый солдат Фома Смыслов, герой популярных листовок, которые огромными тиражами выпускало Главное политическое управление Красной Армии.

Листовки, автор которых Семен Кирсанов, выходили с иллюстрациями, изображающими их мнимого автора — рассказчика Фому Смылова, воплощающего народную солдатскую мудрость, жизнерадостность, народный героизм.

Создается типичный образ: «Росту Фома невысокого, карий взгляд, говорит он маленько окая, на вологодский лад. Первый в роте по части доблести, очень сведущ в военной

области... Козью ножку курит, говорит всерьез, а когда балагурит — то смех до слез».

Тематика бесед Фомы Смылова определялась тематикой боевого дня. Стилизованная шутка и насмешка пронизывают разговоры «бывалого солдата»: «Будь не карасем, а щукой — ошупай врага и застукай», — сказано Фомой о бдительности; «Дело не столько в стуже, сколько в советском оружьи», — говорит он о пресловутом факторе погоды; «Подпусти психа, угости лихо: подпустил-коти, пусть психует на небеси!» — издевается Смылов над «психической атакой» врага.

В репертуаре эстрадных бригад первого периода войны аналогичную роль сыграли написанные Арго в сходном жанре «Беседы деда Нефедя».

Многие формы военной сатиры возникли в непосредственной полемике с вражеской пропагандой. В духе письма запорожцев турецкому султану составлена была листовка балтийских матросов на Ханко. Тот же стиль воскресила затем пересыпанная перцем крепких эпитетов листовка орловских партизан, выпущенная в ответ на предложение обер-бургомистра Орла Каминского нашим бойцам сдаваться в плен немцам. С этими листовками живо перекликались стихи и озорные частушки специальных партизанских номеров «Орловской правды»:

Пси́на лает, ветер носит.
Нас Каминский в гости просит.
Мы приедем в гости,
Поломаем кости...

Надо, кстати, заметить, что партизанская тематика занимает в нашей сатире большое место. Естественно, что основное внимание уделено здесь военной хитрости и изобретательности партизан, их неуловимости для немцев, внезапности налетов на вражеские расположения, посрамлению отважными народными мстителями надменного, глупого и жадного врага.

Наиболее верное решение подобных сатирических сюжетов находили поэты Демьян Бедный, Исаковский, Уткин. Удачную поэтическую формулу нашел Иосиф Уткин в популярном сюжетном плакате о знаменитых отрядах «Деда» — в виде резюмирующего ответа на недоуменный вопрос врагов:

— Дед ли это или деда?
Сколько ж у него людей?

А в ответ несет паленым,
А в ответ слова звучат:
— Дед один,
но миллионы
У него в стране вучат!..

Народную, крестьянскую и солдатскую сатирическую сказку культивировал и «Крокодил», и фронтовая печать, и эстрада. Иные из стилизаций удачно сохраняли речевые особенности фольклора, приобретая вместе с тем своеобразие памфлета. Таковы басни Демьяна Бедного, некоторые песни Исаковского, плакатные загадки Уткина, сказки Леонида Ленча («Фриц-автомат», «Комар», «Несостоявшаяся сделка»), Льва Кассиля («Русский огонек»), Н. Колесникова («Про гитлерище поганое и его хвост»).

Многочисленны во фронтовой печати и стихотворные сказки памфлеты, вроде выпущенной на Ленинградском фронте современной сказки в стихах Владимира Иванова «Про бойца и три вещицы, от которых дохнут фрицы».

В богатом подлинном красноармейском фольклоре этой войны, который по мере возможности записывался и обрабатывался корреспондентами и даже самими бойцами, враг не столько страшен, сколько смешон. Таковы поговорки, сложенные в боях, частушки и эпиграммы, созданные «в минуту, свободную от боев», разговоры в немецких блиндажах, «подслушанные и собранные разведчиками-панфиловцами».

Эти вещи настоящие и бесхитростные. Стилизовать их невозможно и не нужно.

Проблема народности нашей военной сатиры была связана с проблемой стилизации.

Европа помнит время, когда чех Ярослав Хашек создал своего «Бравого солдата Швейка», неподражаемого, неповторимого и непревзойденного в сатирической литературе двадцатого века.

В 1941 году американский писатель Филиппс печатал в нью-йоркской газете «Частные письма рядового Пэрки» — нечто вроде попытки пересадить Швейка на заокеанскую почву. Советский писатель Слободской сделал иначе. Он попытался воскресить подлинного Швейка, книга о котором была сожжена на гитлеровском костре,

и послать этого Швейка на русский фронт. Это оказалось очень сложным делом. Швейк оказался лишенным основного. Ведь подлинный Швейк — весь на иронии, на недомолвках, на ухмылке человека, понимающего подкладку происходящего. Швейк Слободского более прямолинеен, чем это допускает обстановка. Его издевка, тонко маскируемая у Хашека мнимо верноподданническими чувствами, у Слободского часто идет в открытую и тем самым вулгаризируется.

И все же на долю «Новых приключений бравого солдата Швейка» выпал немалый успех, вполне объяснимый и популярностью героя, и злободневностью сюжетных положений и типов, и изобретательностью советского сатирика.

Даже комический фильм о новом Швейке, где от Швейка осталось мало, вызвал интерес зрителя.

Такую сжатую сатирическую форму, как антифашистски направленный анекдот, постоянно применяет фронтовая печать. Многочисленные анекдоты о гитлеровцах мы встречаем в каждой фронтовой газете, в «Крокодиле», в юмористических разделах журналов, в сборниках фронтовой сатиры.

Антифашистский анекдот культивировала и прогрессивная зарубежная печать — американская и английская, и подпольная пресса оккупированной немцами Европы. В начале войны в одном из нью-йоркских издательств вышел сборник анекдотов о Гитлере и его приспешниках. Составитель сборника, американский журналист Лэслоу Фодор, воспользовался обширным материалом — записями американских корреспондентов в гитлеровской Германии, туристов и эмигрантов-антифашистов. Любкой анекдот этого сборника был зеркалом настроений, таимых от всеведущего гестапо, меридом истинных ощущений, рождаемых гитлеровским режимом не только у борцов против него, но и у людей, одураченных им и начинающих постигать истинную подоплеку вещей. Анекдоты эти стали новой гротескной иллюстрацией к миниатюрам Бертольда Брехта о страхе и отчаянии в «третьей империи», к памфлету Эриха Вайнера об истории с остротой, подтачивающей непрочный трон рейхсканцлера, — остротой, за которой не в состоянии поспеть бешеная погоня гитлеровских жандармов.

Высокие боевые традиции знаме-

нитых «Окон Роста» гражданской войны продолжил коллектив «Окон ТАСС». Сатирический жанр в «Оконах» сочетался с героическим. Когда вышел юбилейный — тысячный плакат «Окон ТАСС», поэт Лебедев-Кумач адресовал его Маяковскому, чья мысль о пере, приравненном к штыку, никогда еще не находила столь прочной и мощной реализации, как в эти грозные дни.

В тех номерах «Окон», где авторами сатирического текста были Демьян Бедный, Маршак, Лебедев-Кумач, Жаров, текст становился равноправным изображению, а порою даже перевешивал его.

В осажденном Ленинграде работал коллектив художников, создавших цикл изобразительных памфлетов «Боевой карандаш».

В драматургии сатирические образы дал Л. Леонов. Его «Нашествие» не только сюжетно, оно и портретно. Зловещим гротеском веет от фигур гестаповца Шпурре, городского голытьба Фаюнина, ползучего Кожорышкина — от всех этих потрясающих вариаций «гигантской человеко-жабы — фашизма».

Со всем много порядком сатирическая струя в пьесе Корнейчука «Фронт». Типы ретроградов и подхалимов в военной среде, ядовитые пародии на лакировщиков и штампы в очерках фронтового корреспондента, сталкивание смешного и грустного в характеристиках персонажей и в ситуациях — все это подчинено пронизывающей пьесу идее выдвижения молодых полководцев — той самой сталинской идее, которая столь блестяще оправдала себя в ходе Отечественной войны. И характерная для «Фронта» подчеркнута критическая оценка внутренней обстановки на определенном этапе войны не в меньшей мере свидетельствует о моральной силе Красной Армии, чем антифашистская сатира наших литераторов.

Раскаты грозного смеха мы слышим в разных уголках советской страны. «Короткие новеллы», немногими сатирическими штрихами рисующие эпизоды Отечественной войны, пишет украинец Петро Панч. Насмешливые стихи создает белорусский писатель Кондрат Крапива («Трофеи фрица»). С аллегорической сатирой выступает литовский автор Петрас Цвирка («Серебряная пуля»), с поэмой — памфлетом — эстонец Иоганнес

Барбарус («Всадник без головы»). Над басней работает таджикский поэт Ллахути («Муравей и солнце»), над стихотворным анекдотом—армянский поэт Наира Зарьян («Случай в зоопарке»).

Жанрово разнохарактерные, все эти и многие другие сатирические вещи перекликаются тематически и сюжетно, все они; одинаково направленные против общего врага, усиливают ощущение творческой и боевой дружбы народов Союза, закаленной в огне войны.

В работах художников-сатириков и сатирических поэтов-антифашистов почти всегда присутствует историческая ретроспекция. Нужно ли пояснять, насколько взгляд в глубь истории расширял в эти решающие дни горизонт мастера и повышал убедительность сделанного им?

Свою, глубоко интересную и сильную, интонацию нашел в эти дни поэт Павел Антокольский, сохраняющий в сатире, как и в героике, историческую ретроспекцию прежних лет.

Антокольский умеет дать убийственное обобщение, подлинный сатирический портрет врага:

Парня выбрали по росту, между
самых низколобых,
На год заперли в казарму, снам
проверили в мозгу.
Ровно год скучал и ждал он, с разницей
своточью бок о бок,
Не писал домой открыток и оттуда—
ни гу-гу.
Силу парня разъедала тошнотворной
скуки язва,
Рядом с ним, как волки в клетке,
терлась тысяча парней.
Был «Германией Великой» этот полк
отборный назван,

Чтобы дух закалки бравой укрепить
в парнях верней.

(«Баллада о парне из гитлеровской дивизии»)

Свинные рыла преступных поджигателей всемирного пожара так же часто возникают в строках военной сатиры, как и обобщенные портреты гитлеровского громады, претендента на мировое господство избранной расы. Эпиграммы и анекдоты, сказки и скетчи, памфлеты и фельетоны, карикатуры, плакаты и песенки о Гитлере и Гимmlере, Геббельсе и Геринге, Лее и Риббентропе, составляют значительную долю сатирического материала Отечественной войны. Наши шаржи по существу не являлись гротеском, ибо слишком неправдоподобно жуток был объект.

Весомость, значение сатирического жанра хорошо понимали советские литераторы. Московское совещание писателей по вопросу о юморе и сатире в дни Отечественной войны, состоявшееся в июле 1943 года—факт знаменательный. Сталинские премии, выданные представителям этого жанра, подчеркивают значение боевой сатиры. Наши сатирики сделали в войне большое, благородное дело, они вонзили в тело врага свой остро отточенный меч. И потому мастера советской сатиры по справедливости могут отнести к себе слова, которые сказал Маршак, применительно к обновлению крокодильской тематики:

А наших снайперов война
Так славню закалила,
Что будет всем врагам страшна
Улыбка Крокодила!

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ГОДЫ ВОЙНЫ

(1939—1945)

Литература и народ

Война началась через год после Мюнхена (сентябрь 1938 — сентябрь 1939 г.).

Мюнхенская сделка внесла деморализацию в общественную жизнь Франции. Народ чувствовал, что его предали, увидел свою страну ослабленной, растерявшей дружеские связи в мире, отступившей перед агрессором. Передовые люди сознавали, что достигнут какой-то предел, за которым может последовать катастрофа. Это ощущалось и в литературе. Как раз в 1938, «мюнхенском», году исполнилось 20 лет со времени окончания первой мировой войны. Критики и публицисты, подводя на этом злобешем рубеже итоги двадцатилетия, приходили к заключению, что поколение, выступившее в литературе между двух войн, не оправдало возлагавшихся на него надежд. Анри Пейр в книге «Писатели и произведения XX века» (1938 г.) писал: «Послевоенное поколение скрывало в себе глубокое разочарование, отсутствие веры в себя и в свое творчество, что привело к провалу стольких надежд и банкротству столь редкостных дарований».

Они хотели «не отдаваться ничему, культивировать свою тревогу, отвергнуть какой-либо выбор, ибо их учили, что выбирать — значит отказаться от того, что не выбрал». Это была литература «без эпического и трагического чувства, в ней не было героя и веры в героическое».

Переходя к объяснению «неудачи», Пейр признавал, что «литература этой эпохи осталась литературой классовой, буржуазной, литературой развлечения и не проникала в народ». Если народ не всегда теряет от этого, — иронизирует автор, — то литература теряет несомненно.

«Почему народ в наших произведениях не изображается с таким пониманием, любовью и правдивостью, как у Толстого и у Чехова?» — спраши-

вает Пейр. Впрочем, он не дает ясного ответа на этот интересный вопрос.

Пейр принимает упрек Ильи Эренбурга в том, что французская литература ограничена в изображении жизни.

Жан Шлонберже, выдающийся французский публицист и критик, в ряде статей, написанных в 30-х годах, и позже, в первые годы войны (сборник «Jalons» — «Вехи») видит главный порок современной французской литературы в ее отдаленности от жизни народа и от действительности. Литература, и не только литература, но вся культурная жизнь двадцатилетия, была лишена «центральных ценностей». «Народ не пойдет на баррикады, чтобы защищать эту культуру». Писатели-пессимисты склонны унижать человека; их излюбленный жест: «Вот оно каково, ваше человечество!» Термином «мизерабилизм» (от слова *misérable* — жалкий, отверженный) Шлонберже определяет тенденцию изображать человека как нечто сложное, но жалкое, низменное, разрушать цельный образ человека. Особо утонченный мизерабилизм свойственен светской литературе, которая «с улыбкой» доводит психологический анализ до того, что человек предстает разъярым, без воли и сердца. Эта тенденция иногда прикрывается, — пишет автор «Вех», — этикеткой «революционности», желанием якобы «разоблачить», но под революционностью здесь понимается нигилизм. «Отличие этой мизерабельной литературы от подлинно революционной литературы в том, что в первой отсутствует всякая творческая надежда».

Знаменательно, что и Шлонберже — либеральный писатель, как и Пейр — консервативный историк литературы, противопоставляет светскому нигилизму, разоблачению ради разоблачения — русскую литературу, ее способность к утверждению положительных ценностей и человеческого достоинства.

Тургенев своими «Записками охотника», — говорит Шлонберже, — способствовал уничтожению рабства именно

потому, что он «показывал крепостных как людей, способных ощущать все чувства, которые считались привилегией высших классов».

Критикуя псевдонародную литературу — так называемый «популизм» — за лишенное всяких горизонтов изображение бедности и страданий, приниженого положения человеческой массы, Шлонберже пишет, что подобная литература «неубедительна для пролетариата».

Пессимистическая литература «берет под подозрение» идею человеческого счастья, как нечто низменное, ограниченное, антиинтеллектуальное.

Шлонберже выделяет нескольких писателей, в частности Кассу, умеющих понять цену человеческого счастья и борьбы за счастье, но в общем приговор его остается суровым.

Конечно, эта критика не дает полной картины литературного развития в годы 1918—1939. Она не видит (своеобразная форма того же неверия) значения писателей, отстаивавших «центральные ценности», верных реализму, и тех, кто сумел возвыситься над традицией светскости и мизерабилизма.

Но основная мысль критиков верна: именно отрыв от народа, противопоставление искусства действительности характеризовали буржуазную литературу, продолжившую после войны традиции декадентства и идейного «релятивизма». Эта литература старалась опорочить любую действительность, как действительность. Она снимала ответственность за социальные уродства с капиталистической действительности. «Общественная реальность» — проще говоря, жизнь народа — изображалась как что-то принижающее человека и враждебное художнику.

Художник выговаривал себе право «игры» материалом действительности и такой же игры идеями, как простыми формами восприятия действительности. Он исключал моральный фактор и отказывался от «выбора» идей, освещающих человеческую судьбу, иными словами, — от признания каких-либо положительных ценностей.

Конечно, старшее — начала века — поколение «отрешенных» писателей, последних символистов, подготовило этот тип героя. У г-на Теста, писал Поль Валери, — не было мнений. Я угадывал в нем ум, способный... осветить или заледенить одню, со-

греть другое, утопить, возвысить... Он был существом, погруженным в свои перемены».

Но поколение писателей, выросшее изуродованным после первой мировой войны, лишило г-на Теста его безобидности. Оно пошло за Андре Жидом, герой которого коллекционировал свои поступки, совершая любые, вплоть до бесцельного убийства (так называемый «бесцельный жест»).

Этот герой — у Монтерлана, у Дрие ля Рошеля — был представлен как искатель моральных и интеллектуальных приключений. Он не мог верить, он мог только «иметь интрижку» с той или иной идеей. Если идея была хорошей и чистой, он старался ее «исчерпать», загрязнить, чтобы снова погрузиться в привычный мир. Это была литература, которая пыталась выдать идейную всеядность и эминовую пестроту за «многогранность».

Так шел процесс упадка, за который буржуазная литература расплатилась глубоким кризисом, банкротством.

Социальные причины этого кризиса литературы, и не только литературы, будут ясны, если мы вспомним данную Сталиным характеристику общественного порядка в Европе между двух войн.

В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом Сталин говорил «о старых европейских капиталистических странах, где всё еще живет дух барства феодальной аристократии». Развивая эту мысль, Сталин указывает: «Несмотря на то, что феодализм, как общественный порядок, давно уже разбит в Европе, значительные пережитки его продолжают существовать и в быту и в нравах. Феодальная среда продолжает выделять и техников, и специалистов, и ученых, и писателей, которые вносят барские нравы в промышленность, в технику, науку, литературу»¹.

Дух «барства»: светский нигилизм, пренебрежение народом и одновременно прислуживание к барству, так называемый «аристократизм духа», — такова была литература, которая связала свою судьбу с жизнью и моралью «200 семейств». Антидемократ-

¹ И. Сталин, Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б), Партиздат, 1934 г., стр. 160.

тическая литература затрудняла сплочение массы писателей вокруг передовых мастеров культуры, связанных с народом.

Феодално-светской литературе был нанесен сильный удар в дни подъема народного движения, после провала фашистского путча 1934 года. В период Народного фронта лучшие деятели литературы и искусства сплотились, чтобы вместе с народом защитить культуру от фашизма и бороться за обновление Франции. Этот период был периодом подъема творческой деятельности многих писателей. Мы имеем в виду Мартена дю Гара, Ж. Кассу, Ж. Бернаноса, Ж.-Р. Блока, Л. Гийю и многих других. Народный фронт был взорван изнутри — Блюмом, Даладьё, творцами Мюнхена, виновниками «невмешательства» в испанскую трагедию. Так же «изнутри» взрывалось объединение литературы людьми вроде Ж. Ромэна, распространявшими капитулянтскую заразу. Блок, Арагон, Бернанос, Муссиак, Кассу и другие в период испанской войны и Мюнхена вели упорную борьбу с деморализацией, грозившей загубить Францию, борьбу за честь и достоинство французского народа, за верность его лучшим традициям. Война помешала развернуть эту борьбу.

К началу войны французская литература пришла в состоянии кризиса.

Война, объявленная осенью 1939 года, не способствовала ликвидации этого кризиса. Она вызвала к себе двойственное отношение в литературе. С одной стороны, это была война с гитлеровской Германией, с агрессором. С другой стороны, каждый честный француз не мог не видеть, что судьба страны находится в руках реакционеров, мюнхенцев и просто фашистов, что война началась под знаком империалистических интересов. Под вывеской «требований войны» шло преследование лучших людей, настоящих патриотов.

Вот почему обычные характеристики настроения народа были: «мы пошли на войну, стиснув зубы», «французы мочка, без радости, но с решимостью выполнить долг пошли на войну» и т. п. Достаточно перелистать комплекты журнала «Нувель ревю франсез», чтобы убедиться в этом.

Интересно, как два весьма разных писателя, Луи Арагон и католик Жорж Бернанос, выразили, каждый

по-своему отношение народа к начавшейся войне. Они оглядывались в прошлое, вспоминали 1914 год.

«В иронический заголовок Александра Дюма — «Двадцать лет спустя» вписана вся наша жизнь», — с горечью говорит Луи Арагон в стихотворении «20 лет спустя».

Воскресают призраки двадцатилетней давности, «призраки среди бела дня» и вместе с ними «повторяется эра механических фраз».

Стихами «20 лет спустя» открывается первая военная книга Арагона «Crève-Coeur» («Нож в сердце»). С тех пор его голос уже не перестает звучать. В самые трагические дни лета 1940 года и позже, в дни, когда развернулось Сопротивление, поэзия Арагона доходила до французского народа через все рогатки.

На другом полюсе французской литературы и, можно сказать, на другом краю мира, в Южной Америке, французский писатель Жорж Бернанос написал свой первый отклик на события осени 1939 года: «Мы возвращаемся в войну». Он разоблачал самый мрачный, по его мнению, призрак: веру в то, что победа 1918 года была «настоящей».

«Победа нас не любила, и мы всегда это знали», — говорит Бернанос. Он описывает, как его поколение, вернувшись с фронта в 1918 году, увидело, что победа гуляет под ручку не с теми, кто дрался в окопах, а с «важными людьми».

«Двадцать лет такой семейной жизни — это много. Мы с ней (то есть с победой.—Б. П.) уже долгие годы не разговаривали... Она даже не откликалась, когда ее звали этим именем: Победа. Третьего сентября (день объявления войны в 1939 г.—Б. П.) мы нашли дом пустым. Она ушла, ничего не сказав и унося с собой обстановку».

Начало войны Бернанос сравнивает с вступлением в «пустой дом», потому что в нее «не вошла» Франция — вот смысл. «Важные люди... выбросили в окно наши юношеские воспоминания и наших мертвецов...» Остался чад, осенний дождь, смешанный с сажой. Таков был пейзаж осени 1939 года.

Писания Бернаноса также доходили до французков.

В свойственном ему апокалиптическом стиле Бернанос выступал против предателей. Он призывал понять,

что трагедия Франции была «в роковом разрыве между «избранными» и народом». Когда катастрофа совершилась, он стал одним из самых яростных разоблачителей Петэна и Виши. «Кто может слушать сегодня без смеха призывы к посмертному примирению коммунистических рабочих, расстрелянных людьми Виши, с их палачами! Вы хотите объединить убийц и их жертвы? Ну что ж, отправьте предателей в могилу, в которой лежат трупы расстрелянных патриотов».

Патриотический долг требует объединения всех французов — такова была позиция Бернаноса в эти дни. Бернанос, желая дать пример исполнения долга, пытался «сочетать» патриотические призывы и разоблачение реакционного духовенства со своей обычной мистико-феодалной проповедью.

Его стойкое, непримиримое отношение к коллаборационистам показывает, что и сейчас он остается верен патриотическому долгу. Однако он не отказывается от своих реакционных утопий. К Бернаносу могут быть отнесены слова Гейне: «Седые приверженцы старого режима, приходя в отчаяние от современной ситуации, видят свое спасение только в победе республиканцев. И для того чтобы посадить на престол Генриха V, с презрением к смерти запевают «Марсельезу». Гейне предупреждал таких людей, что они могут «расшибить себе лоб».

Будущее покажет, удастся ли Бернаносу избежать этой участи.

На двух примерах — Арагона и Бернаноса — виден размах движения, втянувшего в себя патриотические силы из самых различных слоев французского общества.

Это движение развернулось не сразу. После тяжелой полосы «оцепенения», последовавшего за капитуляцией, народ начал собирать свои силы.

Арагон этап за этапом передал в своей поэзии драму падения и дни возрождения Франции. Его стихи — «книга души», но человек здесь так тесно слит со своей родиной, что, читая эту книгу, видишь душу Франции.

В тяжелый, удушливый полусон — оцепенение лета 1940 года — врывается старинная французская песня. Как пловец, она рассекает «мертвую гладь

молчания» («Свободная зона»). Франция пробуждается. Облик ее, облик новой Франции, тайных паролей и песен, передаваемых из уст в уста, взрываемых мостов и героических смертей на рассвете раскрывается в книге «Французская заря», где Арагон показывает рождение Сопротивления — как рождение нового героического эпоса французского народа. То, что мы понимаем под словом «легендарный», говоря о партизанском подвиге, — дано как обобщающий образ в книгах Арагона. Поэзия его, вооруженная, как он сам говорит, «зрением партии», в дни смертельной борьбы прочно «осела» на благодатную народную, национальную почву и вместе с тем сохранила всю бурю и натиск новаторских исканий поэта.

Великолепны классические и средневековые реминисценции, которыми часто зашифрована у Арагона патриотическая мысль. Само «внедрение» их в остро современную стихотворную форму эффектно. Но бывают тут и эгоцентрические эксперименты мастера, «обрадовавшегося» благородному поводу для «игры» словом, образом, рифмой.

Поэзия Арагона, воспевшего «человека и оружие» среди обезоруженных и человеконенавистников, — важное явление не только литературы, но и всей идейной жизни Франции.

Пример этого поэта поучителен. Его творческая победа — это победа художника, одухотворенного самым прогрессивным мировоззрением нашего времени.

Не менее ярким примером верности художника своему гражданскому долгу служит творческая и общественная работа в дни войны Жана-Ришара Блока. Вдали от Франции он продолжал работать для своего народа, неразрывно связанный с его героической борьбой и вдохновляемый невиданным в истории героизмом советского народа. Когда оглядываешься на путь Ж.-Р. Блока в эти годы, вспоминаются стихи из подпольного сборника французских поэтов, озаглавленного «Честь поэтов». В этих стихах есть строфы, в которых выражена любовь французского народа к Советскому Союзу и вера в его спасительную для человечества мощь.

Поэт говорит французским ушникам:

Никто из вас не одинок.
Братья, мы видим два больших
крыла —
Их распростерла надежда.
Здесь называют Францией надежду,
там — Россией...
...С вами вместе сыны Волги.

И в других стихах — снова образ
Сталинграда:

...Так живет моя родина. Но блещет
звезда,
Тихо скользя от волжских туманов
К моим деревьям, забранным
в рабство, —
Звезда-мать, красная звезда,
Красная кровью замученных...

Жан-Ришар Блок был «здесь» и «там». В его творческой работе чувствуется биение «большого крыла» — борьбы советского народа.

Поэтому так дышал верой в победу его голос, доносившийся до французов из Москвы. Он знал, что «сыны Волги» несут освобождение его родины.

Не случайно образ Сталинграда встает в патриотической пьесе Ж.-Р. Блока «Тулон», посвященной героическому подвигу сынов Франции.

Включение фронта литературы в борьбу за освобождение Франции было одним из значительнейших событий в общественной и культурной жизни этой страны за многие десятилетия.

Именно на этом пути началось преодоление литературного кризиса. Во всяком случае было показано, что кризис преодолим, если французская литература использует эту, данную ей историей в трагические дни, возможность обратиться к «центральным ценностям» — к жизни и борьбе народа.

Основная масса литераторов Франции, включая старшее поколение — Роман Роллан, Мартен дю Гар, Дюамель, Вильдрак, Жюльен Бенда, — доказала свою верность родине и выстояла в дни суровых испытаний.

В самую тяжелую полосу «оцепенения», в июне 1940 года, в последнем свободном номере журнала «Нувель ревью франсез» редактор этого журнала Жан Полан выступил со статьей «Надежда и молчание». Полан с прощальнойностью, редко встречавшейся тогда на Западе, утверждал: «сила,

пошедшая на нас», не есть непобедимая сила. «Воспитанная для грабежа и побед, эта сила должна сдать при неудачах... Но вот мы стоим лицом к лицу с этой силой, а перед нами зияет бездна: рабство и рабство, одинаковые для рабочего, для крестьянина, для буржуа». Полан призывает патриотов не падать духом. «В нас вселяют надежду десять истязуемых народов: одни из них страдают молча, другие героически борются». «Только безумец может отчаиваться. Сплочение непременно осуществится при условии, что каждый поймет свой долг и будет его выполнять втайне. И в молчании. Молчание является также нашим долгом в отношении тех, кто сражается в пламени».

Лозунг молчания был вызовом немцам и оккупантам.

Конечно, были попытки со стороны предателей и «теплых» истолковать этот лозунг как формулу бездействия, примирения. Но как один из методов борьбы тактика молчания в определенных условиях была правильной. Молчание, например, Мартена дю Гара противостояло предательству Дриеля Рошеля, Поля Морана, Селлана, оглашавших Францию лакейскими воплями в честь Гитлера, уверявших, что литература «расцветет» при захватчиках. Молчание это имело силу именно в связи с «антимолчанием» — энергичной подпольной деятельностью, насыщавшей Францию десятками боевых изданий, листовок, брошюр, авторами которых были лучшие французские писатели.

В подполье, в сырых подвалах, где скрывались нелегальные типографии, на явках писатели встречались с руководителями и участниками движения, становились сами солдатами Сопротивления.

Возник подпольный Национальный комитет писателей, в который входили Декур, Полан, Арагон, Вильдрак, молодой писатель Веркор, впервые выступивший в те дни.

Писатели-патриоты старались использовать и «легальные возможности» — прессу, прибегая ко всевозможным уловкам, которые должны были донести их мысль до читателя. Возникла своего рода проблема «эзопского языка». В поэзии им мастерски овладел Арагон. Он ухитрился вложить боевой смысл в «Трактат о рифме» в 1940 году.

Некоторые критики проявили осо-

бый интерес к французской классике и риторике — например, к проблеме «литота», то есть эвфемизмов — риторических оборотов, которые позволяют «говоря мало, сказать много». Приводился знаменитый пример из трагедии «Сид» Корнеля, в которой Родриго, желая выразить Химене всю силу своей любви, говорит просто: «Знай, я не ненавижу тебя».

Читатель-француз, — разясняет Жан Шлонберже, — мог догадаться, что устами Корнеля здесь говорится о чувстве преданности родине.

Нелегальный журнал «Тетради освобождения» писал о подпольной борьбе писателей:

«Во тьме, среди опасностей французская мысль должна искать темы завтрашнего дня. Мы предоставляем трибуну лучшим из интеллигенции, которые вынуждены молчать. После войны мы откроем — кто наши соотрудники» (сентябрь, 1943 года).

Имена участников подпольной борьбы, соотрудников «Тетрадей освобождения», «Французской литературы», «Французского искусства» и других нелегальных изданий теперь известны. Известны и имена героев и мучеников: Жак Декур, редактор «Французской литературы», расстрелян немцами; Леон Мусинаж был подвергнут чудовищным пыткам; в гитлеровском концлагере погиб поэт Мак Жакоб.

Кровью оплатили свою борьбу за Францию писатели Пьер Юнк, Робер Деснос, Сент-Экзюпери.

Журнал «Франс либр» рассказывает о мученической смерти писателей и ученых — Жоржа Политсера и Жака Саломона. «Политсер, не проронив ни слова, перенес пытку и избивание кнутом в префектуре, в присутствии министра Пюше, выдавшего столько французам нацистским палачам» (Пюше был впоследствии присужден к смертной казни). Валентин Фельдман, автор книг «Народные университеты», «Современная французская эстетика», переводчик «Как закалялась сталь», был убит немцами за участие во взрыве электроцентрали. В течение шести месяцев его держали в кандалах.

Журнал «Французская литература» выходил под заголовком: «Основатель — Жак Декур, расстрелянный немцами». В ноябре 1942 года по поводу так называемого «Веймарского конгресса», устроенного гитлеровцами при участии коллаборационистов, жур-

нал писал: «Со времени первого конгресса в Веймаре нацисты усилили свои зверства в Советском Союзе, обрушиваясь не только на живых, но и на памятники культуры, посягая на память Пушкина, Толстого, Римского-Корсакова». Почти в каждом номере «Французская литература» рассказывала своим читателям о подвигах Красной Армии.

В авангарде подпольной литературы шла поэзия. Французская критика называет в числе «большой четверки поэтов, которые были душой Сопротивления», Луи Арагона, Пьера-Жана Жув, Поля Элюара и Пьера Эманюэля.

Последний принадлежит к более молодому поколению — ему сейчас тридцать лет. Элюар и Пьер-Жан Жув были известны задолго до войны. Произведения их дошли до нас пока только в отрывках. О каждом из этих поэтов можно сказать, что участие в борьбе обновило их поэзию. Стихи их в любой форме — от «литаний» до боевых песен, говорят об одном: о ненависти к врагу, о любви к истерзанной родине, о вере в народ Франции. Наиболее талантливый из этих поэтов — Поль Элюар. Его сборник «Поэзия и правда» выдержал несколько изданий.

В движении Сопротивления сформировались поэтические таланты Пьера Зегера и Лоис Масона.

14 июля 1942 года несколько французских поэтов встретились, чтобы сговориться о коллективном сборнике боевой поэзии. Сборник, названный «Честь поэтов», вышел сначала во Франции, позднее в Алжире (в апреле 1944 года). Все участники выступили под псевдонимами. В частности, там были помещены прекрасные стихи Жака Дестэна, который на проверку оказался Арагоном.

В предисловии к сборнику читаем: «Народ дал душу Уитмену, Гюго призывал к оружию, Рембо воодушевляла Коммуна, Маяковский, вдохновенный, был источником вдохновения, — поэты с огромным кругозором рано или поздно вовлекались в действие. Их власть над словом была неограниченной, и потому их поэзия не могла быть снижена соприкосновением с внешним миром. Борьба может только придать силы поэту. Настало время вновь сказать, провозгласить, что поэты такие же люди, как и все прочие...»

Этот призыв — очень любопытное свидетельство: участие в Сопротивлении действительно обновило французскую поэзию. Но как же она нуждалась в этом обновлении, если после испытаний войны, в условиях гитлеровского гнета, снова, как будто впервые, вожакам французской поэзии приходилось полемизировать с тезисами искусства для искусства, говорить о долге поэта перед народом и даже доказывать, что «поэт такой же человек, как и все прочие»!

Факт, способный поразить наших читателей и, во всяком случае, заслуживающий нашего внимания.

Если такие проблемы были актуальны даже для участников борьбы, то можно себе представить, как поразила боевой подвиг французской поэзии людей, более далеких от действия.

Профессор Сорбонны Гюстав Коэн в статье «Сопротивление через поэзию» с совершенной серьезностью и, повидимому, искренностью, пишет: «Я верил и часто говорил своим ученикам, что, за исключением сатиры, не существует актуальной поэзии и что необходим отход исторического события в туманы прошлого или переход впечатлений и чувств в область воспоминаний, чтобы могла совершиться поэтическая переработка, годная для будущего и для вечности. Профессор, говоривший так, — ошибся» — иронизирует сам над собой Коэн. Далее он признает, что «душа распятой Франции» выразилась именно в поэзии, что и заставило его переменить свои взгляды на поэзию и ее взаимоотношения с действительностью.

Как мы увидим в дальнейшем, проблема связи творчества и действительности, особенно связи творчества и мировоззрения, остается и сейчас острой для многих французских писателей.

Вокруг идей, которыми вдохновлялось движение Сопротивления, сплочена сейчас передовая французская литература. Журналы, выйдя из подполья, с гордостью хранят свои названия, служившие знаменем борьбы в годы нелегального существования. Таковы, например, «Французская литература» и «Полуночная хроника» — журнал, связанный с бывшим подпольным «Издательством полуночи». Термин «ночь», как образ подполь-

ного Сопротивления, вошел во французскую литературу.

Один из лучших — журнал «Поэзия 45», наследник боевых изданий, в которых участвовали поэты-фронтовики, впоследствии поэты Сопротивления.

Литература, посвященная темам Сопротивления, пользуется во Франции огромным авторитетом. Об этом свидетельствует, например, такой факт, как присуждение Гонкуровской премии Эльзе Триоле за книгу, тема которой подпольная борьба.

Большим успехом пользуется новая книга Андре Шамсона «Колодец чудес», разоблачающая лицо вишнейской Франции.

Морис Торез назвал Арагона «поэтом родины». После молчания начинается возрождаться литература, которая хочет действительно стать литературой родины, литературой обновленной Франции.

Литература, уходящая в небытие

Французский философ и педагог Дюркгейм в первые годы XX века писал: «Мы крайне смутно представляем себе задачу воспитания человека». Ибо неизвестно, «какова должна быть наша идея воспитания человека». «Классический гуманизм пережил себя, но никакая новая вера не пришла ему на смену». «Отсюда, — писал Дюркгейм, — скепсис, разочарование, опасный нравственный недуг».

Социалистическая идея, очевидно, не принималась Дюркгеймом в расчет. Однако лучшие из старых гуманистов, отходя от «классического гуманизма», который точнее будет назвать буржуазным гуманизмом, искали путей к «новой вере» в сближении с народом, а позже — в усвоении социальных и моральных идеалов, осуществленных в Советском Союзе — стране, где народ стоит у власти.

Все идеологии, выдвинутые в противовес этому прогрессивному движению за последние десятилетия, носили упадочный, антигуманистический характер. Если пятьдесят лет тому назад декадентство было в какой-то мере бунтарским, или, по замечательному выражению молодого Горького, явилось «розгами», которыми история секла буржуазное общество за его античеловечность, то позднее декадентство из розог было переделано

в венок, приобрело охранительный характер.

Малармэ еще мог написать: «В обществе, лишенном равновесия, художник вынужден уединяться, но, уединяясь, он может только строить собственную гробницу. Такой художник бастует против общества».

Через пятьдесят лет Поль Валери восторгался неравновесием падающего общества, как наилучшим фоном для существования художника. Валери писал в 1930 году:

«Индивидуум ищет приятной эпохи, где было бы для него больше всего свободы. Эту эпоху он находит к началу конца данной социальной системы. Тогда, в промежутке между порядком и беспорядком, наступает сладостное мгновение. Система еще держится, но будущее ее втайне уже исчерпано. Социальный организм неощутимо теряет перспективу. Это — час наслаждения и всеобщего потребления (consumption). Конец бывает почти всегда пышным и сладостным. На «иллюминацию» падающего здания «расходуется всё, что ранее опасались растратить...» «Феерическое пламя... причудливо освещает пляску принципов и ценностей. Нравы, заветы испаряются. Тайны и сокровища превращаются в дым».

Иными словами, общество теряет право на историческое существование, идеи, его охраняющие, лишаются убедительности, но остается «иллюминация», то есть искусство украшения и прикрытия падающего общественного здания — искусство, на которое не жалеют «расходовать все...» к удовольствию художников упадка.

Этот декадентский апокалипсис был характерен для «мирных периодов» — до первой мировой войны и даже после нее. Пляска принципов и ценностей стала тогда достаточно головокружительной, чтобы усладить эстетов «потребления», а пламя еще не совсем потеряло свой невинный, феерический характер. В мирные, так называемые «конструктивные» периоды капитализма релятивисты, декаденты могли более или менее безнаказанно снимать с капиталистического строя ответственность за социальный и духовный упадок. Более того, подобно Валери, они даже прославляли упадок, как благоприятствующий культуре. Но эта охранительно-оправдательная тенденция становилась тем опаснее, чем более страшные фор-

мы принимал упадок. Когда же сомнительные феерии стабилизационных лет рассеялись и выступил во всем своем безобразии кошмар нарастающей гитлеровской агрессии и мюнхенских подлостей, — вопрос об ответственности не мог не быть поставлен во всей остроте. И тогда на него был дан тот ответ, который приводит Шлонберже: «Вот оно, ваше человечество!» Этот неновый и вполне охранительный ответ осуждает природу человека во имя оправдания природы капиталистического строя. Уже за первые преступления фашизма западный мир расплачивался возникновением антигуманистической агрессии.

Временные военные успехи гитлеризма на Западе, побеждавшего не только жестокостью и обманом, но и предательством «двухсот семейств» внутри демократических стран, антигуманисты истолковали панически. И вместе с тем они готовы были торжествовать «победу» своей пронизательности, видели в разгуле фашистской сволочи аргумент в пользу мысли: «человек провалился».

Во Франции после 1940 года появилась литература, в которой эта тенденция выражена довольно отчетливо.

Вот что пишет критик Жан-Мари Суту в статье, озаглавленной «Французская литература с 1940 года». До войны существовала «некая литература, которая старалась обожестьвить человека». «Когда эта воля к обожествлению человека привела к разочарованию... гуманизм, по крайней мере временно, стал антигуманизмом». «Вшихло» стремление «поставить человека на место, рассматривать его как зоологический вид среди других видов». «Статуи Человек была сброшена с пьедестала и отправлена в перепахку вместе с другими довоенными памятниками».

Писатели этого направления — Морис Бланшо, Жорж Батайль, Камюз и другие создали «жестокую литературу», герой которой «если не ненавидит людей, то желает быть ненавидимым». С человеком у них обычно связаны «античеловеческие эпитеты». У них «предвзятое желание отказывать всему, что человечно, в метафизических и эстетических привилегиях» (?). Человеческое существование представляется им нелепым, бессмысленным. Человек «втянут в существование, солидарен с его абсурд-

ностью, с его нелогичностью и не способен судить об этой нелепости, ибо сам является ее частью». Эта литература, как указывает критик, написана «непонятно, монотонно», что объясняется демонстративным желанием таких писателей не входить в общение с людьми.

Произведения Бланшо, Камюза и других, судя по отзыву критика, не заслуживали бы особого внимания, если бы у этой тенденции не было своего представителя в лице популярного французского писателя Жана-Поля Сартра. Своими мрачными романами, в которых выражено «отвращение перед необусловленностью существования», Сартр был известен уже до войны. Его «психологические лабиринты» неопытно напоминают систему канализационных труб. Писательство Сартр совмещает с занятием философией, что придает ему в известных кругах особый авторитет, еще возросший после появления его философской книги «Бытие и ничто». Критика ввела в употребление даже термин «система Сартра». В литературе эта школа называет себя «экзистенциализм», от французского слова existence — существование. Основная идея Сартра, как ее можно понять из прочитанных нами отзывов, такова: человеческое существование как явление — абсурдно, неоправданно, ничем не обусловлено. Поэтому оно неразрывно с чувством отвращения. Мир не рассчитан на человека. Эти идеи Сартр стремится передать в своих книгах «Стена» и «Тошнота». Один из популярных афоризмов Сартра, взятый из последнего романа: «Я существую. Мир существует, и я знаю, что мир существует. Это все. Но мне это безразлично». Оригинальность Сартра, по мнению одного критика, — в том, что он приписывает этот характер нелепости, ненужности, бессмысленности не только человеку, но также и всему окружающему миру. «Именно сама по себе эта трамвайная скамейка или эти корни дерева непонятны». От них идет ощущение тошноты, абсурдности. «Деревья не хотят и не могут ни существовать, ни не существовать, и человек тоже нечто лишнее в мире».

Повидимому, особое отвращение вызывает в героях Сартра и в нем самом, как авторе «системы», существование других людей. «Ад — это другие» — такова тема пьесы Сартра

«За закрытой дверью». Поклонники Сартра считают, что ему удалось показать «реальность небытия» и преимущество последнего перед бытием: «сделать из человеческой реальности источник небытия в мире». До Сартра, — говорит один из его комментаторов, — старались доказать, что человек солидарен с полнотой мира, что он связан с ней, а не с небытием. Сартр же якобы разоблачил «мыслящий тростник», то есть человека, «который гордо утверждал себя перед миром». Для Сартра, — говорит этот критик, — человек есть существо «пустопорожнее», которое «непрерывно скользит между пальцами и отличается от других существ единственно тем, что течет, как дырявый горшок» (1). Психоанализ Сартра якобы имеет большое значение для литературы, особенно потому, что Сартр уделяет много внимания сексуальному.

Даже при беглом подходе к этой «теории» обесценения человека и человеческой солидарности трудно отделаться от мысли, что «система Сартра» представляет собой, быть может, бессознательную реакцию психики, спавшей перед тем чудовищным и страшным, что внес в наш мир фашизм.

Самого Сартра, очевидно, не беспокоит действие, которое может оказать его «система».

В период оккупации Сартр написал дошедшую до нас пьесу «Мухи» на тему мифа об Оресте. Орест возвращается к себе на родину и узнает, что Агамемнон, его отец, убит Эгисфом, захватившим трон, и что мать участвовала в преступлении, сестра же Ореста, Электра, — в рабстве в матери и отчима.

Общее впечатление от пьесы: государство превращено преступлением в лужу крови. Образ мух, неотступно носящихся над городом, подчеркивает этот замысел. Сила царя-преступника в том, что он вовлек в свое преступление весь народ, приучил его к крови. Но не народ сбрасывает иго, а одинокий герой — Орест (сильно стилизованный под современного французского интеллигента). Возмездие не приносит радости Оресту. Он не герой, он жертва предписанного ему судьбой поручения — возмездия.

Пьеса Сартра, очевидно, трактует в какой-то степени тему фашизма и даже не лишена достоинств, особенно

в той линии, которая показывает царство Эгисфа как разгул преступной деспотии, развратившей народ, погрузившей его в кровь и ложь. Понятно, писатель не так уж дополняет Сартра-философа, как это изображают его критики. Однако тут не столько протест против зла, сколько стремление показать зло разлитым, а человека — бессильным. Пьеса эта характеризует мироощущение людей, в сознании которых трагические годы Франции прошли как поток какой-то крошечной тьмы, полной крови и преступлений и не оставляющей места для надежды. Если Арагон, изображая героический облик Франции в годы борьбы с немцами, пишет, что эта борьба делала «среднего француза Гераклом», то Сартр представляет дело иначе. Он как бы хочет доказать, что человек не способен вместить в себя Геракла. Даже подвиг, пусть истолкованный как жертва, не освобождает его от чувства отвращения к жизни... Во всём — кровь.

Говорят, что самому Сартру его «отчаяние» якобы не мешает быть человеком действия, и даже действия, полезного для общественного движения. Вполне возможно. Существует поза людей, которые считают, что действовать без веры в победу, в настоящую победу Человека и Народа — признак мудрости особого рода, так называемого «стоического пессимизма». Они все еще решают проблему «действия и творчества». В действительности речь должна идти о проблеме творчества и мировоззрения. Идеи, которые одухотворяли французских писателей в их борьбе, не есть что-то вроде практического «руководства к действию», которое можно «отложить», когда переходишь к творчеству. В этих идеях воспроизведена определенная мораль, определенное мировоззрение, побеждающее в нашу эпоху успешной борьбы народов за достоинство и свободу человека.

Идеи, спасшие от беды Францию, могут спасти и французских писателей от гнёта старых традиций — традиций бездействия и равнодушия к человеческой судьбе. Это придется понять писателям типа «экзистенциалистов». Иначе их литература перейдет в небытие, к которому она так тяготеет в настоящее время.

В кругах французской литературной интеллигенции издавна существовало течение, которое претендовало на то, что оно представляет не интересы народа (этого оно не хотело) и не интересы господствующих классов (в этом оно не признавалось), а «интересы духа». При этом интересы духа роковым образом совпадали почему-то с намерениями привилегированных слоев и не совпадали с интересами народа. Социальная функция этой группы состояла в опорочивании от имени «партии духа» интеллигенции, связанной с народом. Эти писатели вели себя как жрецы или гадалки. Они вещали: вот это — в интересах духа, а это — измена духу.

Подобно продажной женщине, не представляющей себе любви «не за деньги», жрецы пробовали истолковать отношения народа и передовой интеллигенции на манер своих собственных отношений с господствующими классами, то есть как отношения продажности и несвободы. Стоило какому-нибудь писателю выступить в защиту народа и демократии, как он объявлялся «завербованным». Так объяснялись и антифашистские выступления писателей.

У самих жрецов были довольно сложные отношения с фашизмом. Представители так называемого «персонализма», например, любил отыскивать «положительные» стороны фашизма, приписывая ему «молодую силу», «энергию» и т. п. Фашизм пугал и одновременно привлекал их, как сила, активно противостоящая развитию демократии. Чем активнее боролся народ за это развитие, тем с большей тоской и завистью жрецы глядели по ту сторону Рейна и указывали на то, что буржуазной демократии не худо бы заимствовать там «социальную энергию». Естественно, что Советский Союз казался жрецам наиболее угрожающей их существованию силой. Само наличие страны, где интересы духа обеспечены властью народа, не могло не разрушать демагогию жрецов.

Уже цитированный нами Анри Пейр в своей книге называет персоналистов из журнала «Эспри»: «одна из французских групп с немецкими головами». Замечание верное. Германия после первой мировой войны была

рассадником упадочничества в Европе. С приходом гитлеровцев Германия стала очагом духовной заразы, от которой не убереглись многие в демократических странах. Антидемократическая «защита духа», антисоветская «защита Запада» — одно из проявлений немецко-фашистского влияния.

Можно было думать, что события войны, оккупация, Сопротивление изменят сознание этих людей. Но этого не случилось. Такие журналы, как «Фонтен» или «Арш», протезируемый Андре Жидом, возникли за пределами Франции. Из-за границы они и устраивали свои «суды» над интеллигенцией, активно участвующей в борьбе народа. Помнится, что в труднейший для Франции момент вышло специальное «миниатюрное» издание журнала «Фонтен», предназначавшееся для сбрасывания с самолетов над Францией.

Чем же порадовал журнал «Фонтен» французских интеллигентов, героически сражавшихся в подполье? Невероятно, но факт: журнал «Фонтен» в своих легучих и прочих изданиях вел моральную диверсию, разоружение интеллигенции, участвующей в борьбе с гитлеровской оккупацией. В частности, в «миниатюрном» издании «защита духа» толковалась в антисоветском стиле «защита Запада» и делались попытки противопоставить союзников Советскому Союзу.

Интеллигентам-подпольщикам журнал рассказывал о своей острой тоске по прежней Европе, когда «существовала литература, занимавшаяся чистой игрой ума». Журнал выражал свое недовольство тем, что движение Сопротивления ждет от писателей «свидетельства о человеческом сознании, о протесте человека против разгула темных сил и против варварства, которое грозит поработить мир».

«Можно, — пишет «Фонтен», — сожалеть об этом, но это факт: читатель ищет сегодня в писателе человека, человека, который принесет ему ответ на его беспокойство и на беспокойство эпохи». Стремление писателя выполнить свою высокую миссию журнал порицал как злокозненную «правдоверность».

«Фонтен» грозился писателям Сопротивления, что «литература возьмет реванш», что она «вновь будет создавать произведения, в которых интел-

лект и чувство будут играть самими собой».

Взять реванш — в этом, собственно, состоит деятельность жрецов в настоящее время: они видят свою задачу в том, чтобы не допустить в идейной жизни закрепления победы, не допустить новых социальных решений, подсказываемых опытом борьбы, сказать, что в интересах Франции — вернуться к довоенным категориям мышления.

Новый журнал «Парю», появившийся уже в последние месяцы, пытается уверить французов, что «движение подполья не стало искать новых путей обновления французского духа. Наоборот, они защищали ценности, которые до войны представляли наиболее живой аспект».

Верно, что движение подполья черпало силы в сокровищнице лучших традиций французского народа. Но неверно, что в этой сокровищнице могло быть место для тех сомнительных ценностей, которые пытается реабилитировать журнал «Парю». Нельзя, например, к таким ценностям причислять Андре Жида, который, по мнению журнала, представляет «особую позицию французского духа». «Особый дух» Жида состоит в том, что «у него нет не только политики, но трудно найти даже патриотическую позицию». Таким способом, — считает журнал, — Жид «защищает человека». Что у Жида нет патриотической позиции — это верно. Но политика у него есть. Она состояла в том, что в годы оккупации писатель Жид, как свидетельствуют его дневники, воспевал Гитлера, уверял французов, что без Гитлера отныне не могут быть решены судьбы Франции, и издевался над французским народом. В частности, он утверждал, что девять десятых французов приняли бы гитлеровский режим, если бы Гитлер накормил их.

Зато журнал «Парю» и некоторые другие издания крайне холодно относятся к Ромэн Роллану, настаивают на том, что он «не был великим художником» и что его художеству вредили идеи, в которые он верил.

Журнал «Фонтен» в поисках тормозов, могущих остановить развитие французской литературы, не нашел ничего лучшего, как воскресить сюрреализм, то есть одно из самых мах-

ровых проявлений декадентства в период между двух войн.

«Фонтен» рекламирует сюрреализм как «единственную последовательную попытку современного гуманизма», как «единственное освободительное движение человека, начиная с 1918 года». «Может быть, и в этой подмене гуманизма декадентством нет политики? Политика есть. Она дана в декларации бывшего сюрреалистского лидера Бретона, которую журнал печатает с восторженными комментариями редактора.

Бретон обращается к американской молодежи с призывом поверить, что «всякая великая идея искажается от соприкосновения с большой человеческой массой». «Великая» идея Бретона состоит в следующем: «Я думаю, что было бы неплохо убедить человека, что он вовсе не является, как он этим гордится, царем творения». Развенчав человека, Бретон с той же гнусной развязностью пытается развенчать одно из великих проявлений человеческого духа — Сталинград.

Смрадные «идеи» Бретона показывают, что какие бы ярлыки ни наклеивали духовные реставраторы на свой товар, они не могут скрыть того, что никакой «новой веры» у них нет, и никакой «партии духа» нет. Есть кучка отщепенцев, которые давно уже занимаются тем, что покорно переводят на язык «культурфилософских» дискуссий и декаданса политических замыслы антинародных сил на Западе.

Журнал «Фонтен», говоря о «партии духа» и о том, что эта партия должна проявлять бдительность в отношении демократического движения интеллигенции, вместе с тем порицает излишнюю «придирчивость» к коллаборационистам. Проговаривается этот журнал и тогда, когда истолковывает позицию «партии духа» в стиле «западного блока», изолированного от Советского Союза.

Развенчание человека и усердное разыскивание нацизма «внутри человека» имеет одну цель: жрецы духа хотят доказать, что гитлеризм — не порождение хищного германского империализма, а какое-то дьяволовое действие, какое-то «незримо разлитое во всем таинственное зло»...

«Фонтен» хочет переложить вину с гитлеризма на человека и тем послужить «торможению» истории.

Трудно найти более сервиллистскую, лакейскую литературу!

Характеристика «Фонтена» была бы неполна, если бы мы не упомянули о его паническом страхе перед идеями передовой науки, перед марксизмом, и о ненависти, диктуемой этим страхом. Конечно, «Фонтен» — это не самые опасные противники великого учения социализма. Все их вооружение состоит из слегка подновленной жреческой бутафории. Но от этого они не становятся менее вредными, ибо рассчитывают на тех, кто еще верит жрецам, кто не понимает, что эти люди, по старому немецкому изречению, «хотят выдать кусочек мяса за кусочек духа».

Те, кто служил врагу

Во французской печати была рассказана любопытная история одного парижского великосветского клуба. Этот клуб назывался «Le Club du grand ravois» («Клуб большого флага») и славился как место встречи людей высшего общества. После прихода немцев клубмены отказались от прежнего названия и обнародовали настоящее имя своего клуба: «Франко-германское общество».

В литературе подобные превращения происходили и проще, и сложнее. Проще потому, что персонажи вроде Дрие ля Рошеля, Селина, Поля Морана, Монтерлана довольно долго были известны своим служением фашизму. Сложнее потому, что французские нацисты, смертельно боящиеся народа, именно после захвата Франции всячески старались прикрыть свою работу для Абеца и немецкого генерала Штюльпнагеля множеством идеологических личин.

Подрывная идеологическая работа перед войной, и в первую голову Мюнхен, подготовили в частности коллаборационизм в литературе.

Католический писатель Маритен в книге «Сквозь бедствия» указывает, что центрами деятельности мюнхенцев были великосветские салоны.

Здесь блистал представитель «мюнхенской школы» литературы и жизни — Ж. Ромен, здесь Монтерлан мог узнать от Абеца о том, что «фюрер» восхищается его книгами, и здесь сам Абец, постоянный посетитель парижских гостиных, подготовлял почву своему будущему наместничеству и

Франции. «Абел и его помощник Вестрик еще с 1931 года установили связи с верхушкой французского общества» («Франс либр», 15 апреля 1943 г.). В Германию ездил Ж. Ромен.

Писатели-коллаборационисты оказали неоценимую услугу гитлеровцам. Геббельса не могли удовлетворить прежние идеи подчинения Франции Гитлеру, идеи «сближения» с гитлеровской Германией или, как говорил Ж. Ромен, «франко-германского брака». Коллаборационисты толковали эти идеи в соответствии с планами гитлеровского «нового порядка» — как «включение Франции в более широкую европейскую систему», а для любителей формул вытаскивали «защиту Запада» или что-нибудь в этом роде. Под флагом «европезма» скрывалась чудовищная, антипатриотическая, антинародная кампания коллаборационистов. Предлагалось упразднить родину, поскольку гитлеровская Европа есть понятие, «поглощающее национальную независимость».

Дрие ля Рошель писал: «Надо понять, что миновала эра родин, автономных и суверенных; с победой Гитлера победила Европа». Дрие уверял, что он предпочитает жить в этой Европе, чем во «второстепенной стране — Франции». Этому же господину принадлежит лозунг: «Европа против отечества».

Таким образом, в условиях немецкой оккупации обнаружилось самое нутро промозглого кабацкого космополитизма. Литература коллаборационизма почти ничего не выдумывала, она приспосаблила к своим целям все худшие традиции и лозунги декаданса периода между двух войн. Эстеты, космополиты философствующие снобы и принципиальные гомосексуалисты 20—30-х годов ратовали за «отрешенность» искусства от действительности, от народа.

Коллаборационисты объявили, что искусство «не нуждается» для своего процветания в национальной почве, они поэтизировали самый «процесс» предательства. Жак Шардон писал: «Французы, разве нет у вас вкуса к гибели, к забвению самих себя, к тому, чтобы перестать быть самими собой?» Коллаборационисты стремились отрыв литературы от народа превратить в некий закон, противопоставляющий интеллигенцию народу. Они призывали французскую интелли-

генцию уйти от народа под охрану немецких штыков:

«Нас пугали,— писал Монтерлан,— что с приходом гитлеризма ночь опустится на наш мир, но то, что для массы — ночь, для индивидуальности — светлый день».

В дни Народного фронта Монтерлан пробовал примазаться к «массе», позже — поражал парижские гостинные непристойными романами, в которых воспевал «шикарную» мужскую беспощадность к «слабому полу». После катастрофы, вдохновившись учением своих хозяев о «расе господ», он решил применить свою ницшеанскую похабщину к изображению трагедии французского народа. Он говорил, что испытывает «отвращение к побежденным», то есть к народу Франции.

Наблюдая толпы французских женщин и детей на дорогах, осыпаемых немецкими бомбами, Монтерлан уверял, что эти толпы напоминают ему шествие гусениц. «Однажды,— вспоминает Монтерлан,— я увидел такое шествие гусениц и, развлечения ради, помочился на них».

Вишнейская пресса переводила изящные эссе автора «Олимпийских игр» на популярный язык и объявляла, что французский народ — народ дегенератов и червей, что немцы — прирожденные победители, и т. п.

Это — о народе. Что касается индивидуальности, то Монтерлан, верный своим зоологическим вкусам, создал следующий образ «устройства» личности под гитлеровским игом. Монтерлан, сказывается, видел однажды лошадь, которая, сохраняя полное равнодушие, наблюдала, как шагают по набережной Сены немецкие солдаты. Сдержанность лошади поразила Монтерлана,— сам он, повидимому, не мог наблюдать такие сцены без восторга. «Позиция» этой лошади, писал он, и есть позиция «Дула», «вечности», для которой смена французских солдат немецкими на улицах Парижа не более чувствительна, чем смена одной волны другою в реке Сене.

Жак Шардон писал о беженцах: «Они останавливались в краю, полном дешевой еды, и провели там хорошие каникулы»; или: «Они делали вид, что им всего недостает».

Ленорман в очерке «Безнадежно больна?» характеризовал Францию как страну, в которой есть «тяготение

к бесплодной праздности, к тому, чтобы валаться в грязи...»

Коллаборационисты старались обосновать геббельсовский тезис о «неполноценности» французского народа, унижить Францию, убедить, что национальное существование Франции должно быть ликвидировано во имя гитлеровского «нового порядка».

В литературе, в театре идеи родины, образу единой Франции противопоставлялась пошлая, невежественная болтовня о «малых родинках», о региональном (областническом) искусстве.

Разобщить французоз, вытеснить безработную интеллигенцию из городов, превратить Францию в сборище беззащитных областей, без индустрии, без культуры — эту программу диктовал враг.

Коллаборационисты, следуя ей, не стеснялись в средствах. Имя провансальского поэта Мистрала использовалось для пропаганды «разъятия» Франции на «малые родины». Развал лучших театров Франции расценивался как спасительное «очищение» искусства от «городского духа», взамен чего предлагалось возрождать «искусство региональное, искусство ремесленников, общин», «театр клана, племени, деревни» как «отвечающий новому порядку».

Немцы рассматривали коллаборационизм как приводной ремень в системе порабощения Франции. Вот почему, не ограничиваясь физическим истреблением передовых деятелей культуры, они пытались запугать и прибрать к рукам «неприрученных» литераторов, художников, актеров. «Приручение» было как бы «первой степенью» в системе гитлеровского террора.

О некоторых демагогических трюках немецких оккупантов рассказывает журнал «Франс либр» в интересной статье «Искусство обесчещенности искусства, или о методах высшего германского командования (экономическая и политическая секция германского генштаба)» («France Libre», 15 апреля 1943 г.).

В Париже в 1941—1942 годах устраивались выставки, обычно без ведома художников, из старых картин; целью их было добиться соответствующего эффекта за границей, дискредитировать художников. «Для этих тевтонов устройство выставки в Тюильри равнялось взятию города, а падение художника Вламинка, ездив-

шего в Берлин, было равносильно разрушению какого-нибудь форта линии Мажино», — иронически пишет журнал. По мнению автора статьи, германский генштаб считал, что такая дискредитация ослабит международное положение Франции.

Абец пытался вернуть в Париж как можно больше артистов и художников, инсценировать их компромисс с немцами, рекламировать предательство.

В качестве примера автор описывает провокацию с известной французской актрисой Сюзанной Депре. Она не желала приезжать в столицу, оккупированную немцами. Через посредство режиссера Гитри, «работавшего» в немецкой комендантуре, Депре все же пригласили посетить Париж, якобы только для участия в спектакле в пользу одного престарелого театрального деятеля, который действительно погибал от голода. Депре сначала было согласилось, но, узнав, что обратного пропуска ей не дают, отказалась. Однако, с точки зрения немцев, дело было сделано: гитлеровская пропаганда разрекламировала гастроль Депре в Париже.

Подлость и страх — вот что характеризует фигуры коллаборационистов, хотя каждый из них по-своему пытался скрыть и то и другое. Как плохо это удавалось им, можно видеть хотя бы на примере печатного признания Дрие:

«Я не испытываю никакого удовольствия от того, что я совершенно одинок в своем образе мыслей и что я, почти единственный среди писателей, принимаю крайние выводы некоей европейской системы. Почти вся французская интеллигенция, французская поэзия против нас».

Конечно, это не только признание, но и трюк, рассчитанный на будущее: изобразить свое предательство как «убеждение», в надежде на недобросовестность или наивность судей.

Предатели оказались изолированными. Французская литература отвернулась от них, коллаборационисты испытали на себе гнев и презрение народа.

С другой стороны, они, за малыми исключениями, остаются до сих пор безнаказанными. Даже Монтерлан, даже Жиано, который вступил в гитлеровскую организацию писателей в Германии и открыто являлся с немецкими офицерами, даже Фабр-Люс,

проповедывавший в «НРФ» немецкие доктрины массового убийства, даже Селин, написавший при немцах «руководство» к устройству погромов — «Безделушки для резни».

Вопрос о наказании предателей, разбойников пера превращают почему-то в неразрешимую «проблему», в предмет дискуссии. Писатели братья Таро, участвовавшие в подпольном движении, ныне «пересматривают» свое отношение к изменникам... Журнал «Эспри» осуждает братьев Таро, объясняет им неприличие их поведения, удивляется и т. д.

Удивляться тут, собственно, нечему. Патриотическое движение захватило в годы оккупации даже реакционно думающих литераторов. Были к тому же моменты, когда некоторым лицам было трудно решить, что безопаснее: пойти на службу к немцам или дать какое-то, нередко тайное и не слишком обязывающее, доказательство симпатии к французскому народу.

Именно французский народ, его гнев создал атмосферу, в которой подлость задышалась от страха. На-

род и решит судьбу военных преступников от литературы. Но нельзя не видеть, что в любом капиталистическом режиме, режиме, не рассчитанном на морально-политическое единство граждан, борьба за идейный разгром фашизма требует от народа особых усилий.

Литературный коллаборационизм был крайним выражением деградации буржуазной литературы. Он означал, что во Франции в трагические годы нашлись писатели, последовавшие за кастой «двухсот семейств» до последних пределов ее падения. Их безнаказанное служение этой касте в нынешние дни, в освобожденной Франции, не менее опасно для французской культуры, чем был коллаборационизм в годы оккупации.

Сплочение лучших писательских сил вокруг демократических организаций освобожденной Франции — залог того, что французская литература будет освобождена от позорящих ее людей. Она имеет теперь все данные стать литературой родины, словом народа.

РЕДАКТОРЫ: Вс. ВИШНЕВСКИЙ (отв. редактор), Конст. СИМОНОВ,
Ан. ТАРАСЕНКОВ, Л. ТИМОФЕЕВ, Ник. ТИХОНОВ, М. ТОЛЧЕНОВ

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2.
Телефон К 0-52-93

Подписано к печати 10/XI 1945 г. А—21174 Печ. л. 11¹/₄. Уч.-изд. л. 15,45
В печ. л. 60 000 зн. Тираж 60 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 1898

6-я типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР.
Москва, 1-й Самотечный пер., д. 17.